Основан в 1955 году

Памяти Альфонсаса Ника-Нилюнаса и Ромуальдаса Гранаускаса

Номер, посвященный литовской литературе, называется “Рассеяние и собирание”. Это название довольно точно передает то, что произошло и происходит не только в литературе Литвы, но и в ее истории.

Литовцы — один из тех малочисленных народов, представители которого рассеяны по всему миру. Началось рассеянье еще в XIX веке, продолжалось и после 1918 года, когда Литва обрела независимость, — литовцы уезжали на заработки в Южную Америку, Канаду, Европу. Разбогатев, многие вернулись на родину (иные, как оказалось, лишь для того, чтоб в 1941 году их как кулаков депортировали в Сибирь). Больше всего литовцев покинуло страну в 1944 году; тогда же немало народу арестовали или отправили в исправительно-трудовые лагеря. Остальные просто жили в Советской Литве, с чьей литературой и был знаком советский читатель, не имевший понятия о том, что это лишь часть ее, причем не самая значительная: одни авторы писали в стол, другие выпускали книги в Германии и США, третьи вели дневники в ссылке.

Картинка живущего в Польше художника Стасиса Эдригявичюса на обложке нашего номера, изображающая трех братьев-литовцев, была нарисована в 1990 году, когда Литва опять стала независимой. Можно лишь догадываться о том, кто они, эти братья со смешными глазками-пуговками. Допустим, снизу, в красной рубашке, — тот, что в 1944 году остался на родине, на него положил голову брат-эмигрант, а сверху, в защитной рубахе, лежит “лесной брат” — непонятно, живой ли. И оба верхних давят на нижнего.

Давление закончилось четверть века назад, сменившись осмыслением и собиранием. Прошло уже достаточно времени, и пора попытаться понять, что получилось из исторического эксперимента, поставленного катаклизмами XX века в миниатюрной стране, где на 65 300 квадратных километров живут около 3 миллионов человек, говорящих на одном из двух живых языков архаичной балтийской группы.

И те, кого арестовали и вывезли, и те, кто отступил в Америку, Австралию, Канаду или Европу, сохраняли и в рассеянии свой редкий язык. Последними в Литву вернулись эмигранты, говорившие на довоенном литовском. Они привезли его в страну, где язык лагерей уже смешался с языком советского новояза. Три брата наконец смогли поговорить друг с другом, не опасаясь никого, но, несмотря на общий язык, разговаривать было трудно — слишком уж разнился жизненный опыт.

Очень скоро, к удивлению братьев, их дети и даже внуки — первое поколение независимой Литвы, опять рассеялись по миру. В Лондоне во многих семьях, как об этом мечтал еще Г. К. Честертон, за детьми нередко присматривают литовские няни, в Ирландии в некоторых городках ценники в магазинах уже пишут по-литовски,

Продолжение на третьей обложке

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

[3]
2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Литва: рассеяние и собирание

4 Юрате Сприндите *Вызовы постцензурной свободы.* Перевод Марии Чепайтите

10 Марюс Ивашкявичюс *Мистр.* Драма. Перевод Георгия Ефремова

Антология рассказа

51 Юдита Вайчюнайте *Из книги "Гостиница Мабре".* Перевод Далии Эпштейн

58 Ричардас Гавялис *Безрукий.* Перевод Татьяны Корнеевой-Мацейнене

77 Ромуальдас Гранаускас *Из книги "Жития святых".* Перевод Георгия Ефремова

93 Саулюс Томас Кондротас *Рождение нации.* Перевод Томаса Чепайтиса

101 Альвидас Шляпикас *Выпускной вальс.* Перевод Тамары Перуновой

106 Дануте Калинаускайте *Выселить призрака.* Перевод Тамары Перуновой

Антология поэзии

120 Антанас А. Йонинас, Гитис Норвилас, Гинтарас Патацкас, Томас Венцлова, Йонас Айстис, Генрикас Радаускас, Альфонсас Ника-Нилюнас. Переводы Анны Герасимовой, Георгия Ефремова, Владимира Гандельсмана

134 Мария Чепайтите *Литовский номер* "Синтаксиса"

Документальная проза

142 Альфонсас Ника-Нилюнас *Фрагменты дневника 1938–1975.* Перевод Марии Чепайтите

164 Миронас Гинкас *Через колючую проволоку.* Глава из книги. Перевод Александры Васильковой

182 Лионгинас Балюкявичюс *Дневник партизана Дзукаса.* 23 июня 1948 г. — 6 июня 1949 г. Фрагменты книги. Перевод Александры Васильковой

200 Витаутас Кубилюс *Дневники 1945–2004.* Фрагменты. Перевод Анны Герасимовой

© "Иностранная литература", 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Наши интервью	217	*Миндаугас Карбаускис: мастер превыше всего.* С главным режиссером московского театра имени Вл. Маяковского беседует Георгий Ефремов
Статьи, эссе	223	Гедра Радвилавичюте *Притяжение текста.* Перевод Александры Васильковой
	233	Сигитас Парульскис *Жертвоприношение.* Перевод Татьяны Корнеевой-Мацейнене
	238	Юлюс Саснаускас *Вкус мацы.* Перевод Томаса Чепайтиса
	242	Даля Стапонкуте *Литовское лето и кипрская реальность: Грустная история личного мифа.* Фрагменты романа-эссе *Из двух выбираю третье.* Перевод Ольги Лемперт под редакцией Ларисы Поляковой
Россия—Литва	250	Томас Венцлова *Москва 60-х.* Перевод с английского Тамары Казавчинской
	265	*Письма Юргиса Балтрушайтиса к Джованни Папини.* Публикация, вступление и перевод с итальянского Николая Котрелева
Ничего смешного	274	Ундине Радзявичюте *Вальтер Шульц.* Перевод Анны Глуховой
	280	Гинтарас Бярснявичюс *Из книги "Сбежавшее поместье".* Перевод Томаса Чепайтиса
	284	Юозас Эрлицкас *Из книги "Выхожу из берегов".* Перевод Томаса Чепайтиса
БиблиофИЛ	290	*Среди книг* с Марией Чепайтите и Рутой Мелинскайте
Авторы номера	292	

Юрате Сприндите
Вызовы постцензурной свободы

Перевод Марии Чепайтите

Высокий темп изменений, который взяла литовская литература после обретения страной независимости, причем изменений всесторонних: и качественных, и содержательных, и структурных, – не сравним ни с каким другим периодом существования нашей словесности: после 1989 года начались перемены радостные и болезненные, предопределенные крахом тоталитаризма.

Страна стала наперебой вкушать запретные плоды – прежде всего в первое десятилетие, – заполнять белые пятна: публиковать тексты ссыльных, партизан и других участников сопротивления, извлекать на свет из архивов и спецфондов библиотек "не рекомендованных" ранее авторов, открывать все шлюзы для документалистики. Огромный резонанс вызвали воспоминания о ссылке Дали Гринкявичюте (1927–1987) "Литовцы у моря Лаптевых". Записки и дневники партизан свидетельствовали о том, что люди в Литве не смирялись с оккупацией, о чем свидетельствует и один из самых содержательных и эмоционально написанных документов – дневник Лионгинаса Балюкявичюса, полвека пролежавший в архиве КГБ. Вышли в свет сборник поэзии литовской эмиграции "Бездомные" (1989) и большая антология поэзии "Литва ссыльных" (1990), появились в печати стихи, которые ранее прятали на чердаках, закапывали в землю, замуровывали в стены. "У нас, наверное, самая богатая ссыльная и эмигрантская поэзия в Европе. Это мучительная гордость", – писал критик Витаутас Кубилюс в предисловии к "Литве ссыльных".

Оборванные звенья соединились в живое целое, и стало ясно, что литовская литература, "расколотая" пополам в 1944–1945 годы, вопреки прежней искаженной оценке, едина и неделима – просто раньше не учитывалось, что именно в эти годы две трети писателей покинули отчизну. После отмены советской цензуры большими тиражами начали выходить стихи поэтов, покинувших Литву. В советское время изысканную поэзию Йонаса Айстиса, Генрикаса Радаускаса запрещалось

© Jūratė Sprindytė, 2014
© Мария Чепайтите. Перевод, 2015

упоминать даже в диссертациях, хотя без их поэтики и стихосложения само развитие литовской литературы XX века было бы невозможно. Важным интеллектуальным событием стала публикация "Фрагментов дневников" Альфонсаса Ника-Нилюнаса (в трех томах), а бескомпромиссный в оценке прошлого роман Антанаса Шкемы "Белый саван" вошел в национальную школьную программу и стал самой читаемой книгой выпускников. Вернулись имена писателей, которые уехали из советской Литвы: Томаса Венцловы, Ицхокаса Мераса, Саулюса Томаса Кондротаса. Литература вновь обрела целостность и стала предметом изучения во всех своих разнообразных проявлениях. Это был живой, бурлящий, захватывающий процесс, тем более что запас запретных плодов был огромен, их "вкушение" — радостно и возвышенно. Все первое десятилетие независимости литература осознавала себя как существенную, заметную и неизменную часть общественной жизни.

Свобода изменила внутреннее состояние творческой личности, что — как ни парадоксально — привело к исчезновению одних и возникновению других стереотипов культуры. Порог свободы оказался выше, а испытания свободой — труднее, чем ожидалось. Сочинения 1990-х, написанные в ту пору, когда по улицам еще разъезжали бронетранспортеры, а над головой кружили военные вертолеты, разительно отличаются от спонтанных порывов, интерпретаций и деконструкций XXI века. В начале по наивности казалось, что освобожденные творцы и свободная литература ринутся с энтузиазмом развивать национальную культуру. Но как только свобода была обретена, большинство пишущих обуяла жажда перемен к лучшему; кстати, официозные писатели советского времени, прозванные тогда "писателями заката", несколько лет скромно помалкивали. Ответ на новую политическую, психологическую и эстетическую ситуацию был далеко не односторонним: одни объявляли, что начался упадок, другие спокойно работали, а молодое поколение попробовало объединиться и провозгласить новые программы, но в конце концов разбрелось в разные стороны и стало работать в индивидуальном режиме.

Изменились и жанры, и их иерархия — поэзия, роман, новелла, эссе, драма, мемуары; одни заняли новые позиции на литературном поле, другие утратили имевшиеся. Какие знаковые слова тогда склонялись и какие провозглашались тезисы? *Комплекс малого народа* (рекомендуется, по возможности, избегать), *случайность, мода, вкус толпы, бум приключенческой литературы, престиж литературы факта, семейные хроники, современные исторические романы, ставка на игру слов.* В общем, мыслили в правильном направлении, но не предвидели размаха грядущих перемен. Мало кто предугадал кардинально изменившиеся издательские ус-

ловия, почти никто не ожидал стремительного наступления на рынок литовской художественной литературы. В то нестабильное время гадали, что происходит с литературой: то ли она все еще топчется на месте и предается сомнениям, то ли приходит в себя и идет в рост. В советское время литература считала своим долгом сохранять культурную и этническую идентичность, в последнее же десятилетие встает более существенный вопрос: насколько вообще социально значима современная литература? Примерно до 1994 года в обзорах главное внимание уделялось основательным сочинениям (говорящим о судьбоносных для человечества вещах) — сейчас их стали называть элитарным чтением, так как рынок быстро перехватил инициативу и начал диктовать свои условия. Предположение, что литературу будущего не будут определять "формы коллективного мышления", не оправдалось: соблюдавшиеся в той или иной степени установки социалистического реализма сменились стандартами массовой культуры. Началась интервенция популярной, развлекательной литературы, в которой допускается почти все. Многие книги стали писаться специально для рынка — соответственно, воскрес детектив, появились триллеры собственного производства, благодаря открытым границам увеличилось количество книг о путешествиях, умножилась эмигрантская проза; пенсионерки и актрисы взялись в массовом порядке изготовлять любовные романы — бесконечные перепевы все той же сказки о Золушке. Популярная литература ощутила свою власть над читателем: она умеет себя рекламировать и претендует на главенство среди литературных форм. Критика забеспокоилась: писатель-де отказывается от личностного подхода и личных жизненных ценностей, не думает об искусстве слова, пишет исключительно для издательств и книжных ярмарок и вообще частенько трудится только ради славы и денег. Одно из заметных нововведений последнего десятилетия — воцаряющийся кочевой менталитет. Появился литовец с новым мироощущением: мобильный, "транзитный", споро меняющий местожительство, отчего в его писаниях усиливается ощущение бездомности и бродяжничества. Это весьма заметный перелом, если вспомнить оседлую аграрность литовского края или закрытость границ советского времени. Вместе с эмиграцией и миграцией увеличивается и количество книг, воспроизводящих реалии их быта, впрочем, большинство таких текстов пока пребывает в зоне журналистики или легкого чтения. Глубже всего эмиграционный опыт отражен в трех книгах эссе Дали Стапонкуте.

Нежная и неустойчивая литовская литература, особенно проза, за несколько лет пережила настоящий антиэстетический шок. Писатели все больше стали ощущать свою ненуж-

ность — уменьшались тиражи, гонорары, падал интерес читателей и критиков. По мнению последних, именно тогда и начался новый этап развития литературы, ее стратификация: дифференцируясь, литература уходит с широкой общественной сцены к специалистам и становится сама собой. Раньше лучшие произведения имели не только художественное, но и огромное общественное значение, авторитет писателя был исключительно высоким. Отныне на развитие литературного процесса влияют не внешние, а внутренние факторы, а некогда существовавшее повышенное внимание к писателям перекинулось на другие сферы свободной жизни: на появившуюся в огромном количестве разнообразную печатную продукцию, интересную документалистику, многочисленные ток-шоу на экономические и политические темы, на средства массовой информации, распространяющийся интернет, многообразные легальные и доступные развлечения, на свободное перемещение по миру и т. п. Многие оказались не готовы к такой перегруппировке сил и переживали ее довольно трагически, поэтому до 2000 года много говорилось о кризисе в литературе, о критическом ее состоянии. Тогда еще не было понятно, что кризис продуктивен. По мнению известного социолога, литовского эмигранта Витаутаса Каволиса (1930—1996), понятие кризиса в общественной сфере можно понимать двояко: например, кризис может быть похож на кризис в болезни — перелом, с которого начинается либо выздоровление, либо ухудшение состояния больного (в этом случае "преодоление кризиса" означало бы возвращение к традиционному пониманию). Но кризис можно толковать и в позитивном смысле — как неразбериху, сумятицу, вследствие которой жизнь человека или общества становится более открытой для выбора новых путей. Кризис, понятый таким образом, — это шаг вперед, обновление, и как раз на такой стадии была литовская литература. Кризис идентичности — неизбежная черта эпохи перемен. Исчезают прежние контексты, где отождествлялись человек и его образ жизни, литература и ее традиции. Одновременно появляются новые контексты, открываются новые возможности.

Литература начинает основательно обновляться и все более разветвляться; затем следует издательский бум — ежегодно издается 500 оригинальных книг на литовском языке, а это очень много для небольшой страны. Литовской прозе раньше не хватало артистизма, разнообразия, выразительности — всего того, что в последние годы появилось в избытке. Героем поэзии стал обыкновенный человек, способный с иронией относиться к своим слабостям, отказывающийся от амбициозных задач и особого статуса. Критик Витаутас Кубилюс отметил: "Нет больше сакральных высот, с которых вещал поэт, воздев

руки горé, — он говорит из гущи повседневности". В прозе исчезло традиционное противопоставление деревни и города, которое старательно акцентировалось в советские годы. По сути, произошло прощание с аграрной культурой, поскольку выросли новые поколения с другим жизненным опытом и сформировавшимся городским менталитетом. Усилилось доверие к правде документа, голым фактам, к знаковой реальности, перед которой бледнеют все литературные красоты. Это связано и с долгими годами замалчивания правды, и с преизбытком вымысла в беллетристике. Очень популярными становятся автобиографические жанры: дневники, мемуары, письма и тому подобное. Продолжавшаяся полвека несвобода склонила многих литовцев к компромиссам с совестью, привела к утрате цельности, заставила утаивать подлинные жизненные факты. Документальная литература говорит о цене такого раздвоения. Большинство людей культуры — писатели, художники, актеры, журналисты — свидетельствуют своими мемуарами: литовцы приспособились, но не смирились.

Особый расцвет пережило эссе как проявление освободившейся мысли и способ письма, в его литовском изводе оно ближе к новелле, чем к статье. Эссе быстро отражает эмоциональное состояние общества, анализирует и осмысляет динамику повседневности, нисколько от нее не отставая. Эссе обладает гибкостью и коммуникативностью — написанное в понедельник может быть прочитано в субботу. Критический анализ происходящего в социальной, культурной и политической жизни склоняет читателя к размышлениям, а раскрытие личного мира автора вызывает любопытство. Здесь прекрасно сочетаются интеллект и чувства, рефлексия и ирония, связное повествование и едкая шутка. Гедра Радвилавичюте (однажды проговорившаяся: "Когда пишешь, теряешь пол") своей эссеистикой утверждает новое направление женской прозы, где персонализируется повседневность, открывается разносторонность и многогранность женского мира; ее тексты богаты культурными аллюзиями и цитатами из знаменитых авторов (особенно из Набокова), которые нужны ей для углубления повествования.

От выговаривания травмы писатели все чаще сворачивают в сторону сгущения реальности, ее осмысления и конструирования. В центр внимания попадают новые имена: Сигитас Парульскис, Марюс Ивашкявичюс, Ундине Радзявичюте. Марюс Ивашкявичюс — писатель нового типа, сознательно взявший на себя роль творца-полилога (он пишет романы, эссе, пьесы, ставит фильмы). Мы видим профессионального писателя, который не зависит от богемного окружения, сосредоточенно готовится к творческой работе, умеет обосновывать и отстаивать

свои идеи, не боится заказной работы, не жалуется ни на отсутствие адресата, ни на финансовые трудности и доказывает, что его поколение не похоже на те, что называли себя "потерянными". Ивашкявичюс проводит ревизию в национальном самосознании и почитании великих, отказываясь от романтики, героики и воспевания страданий.

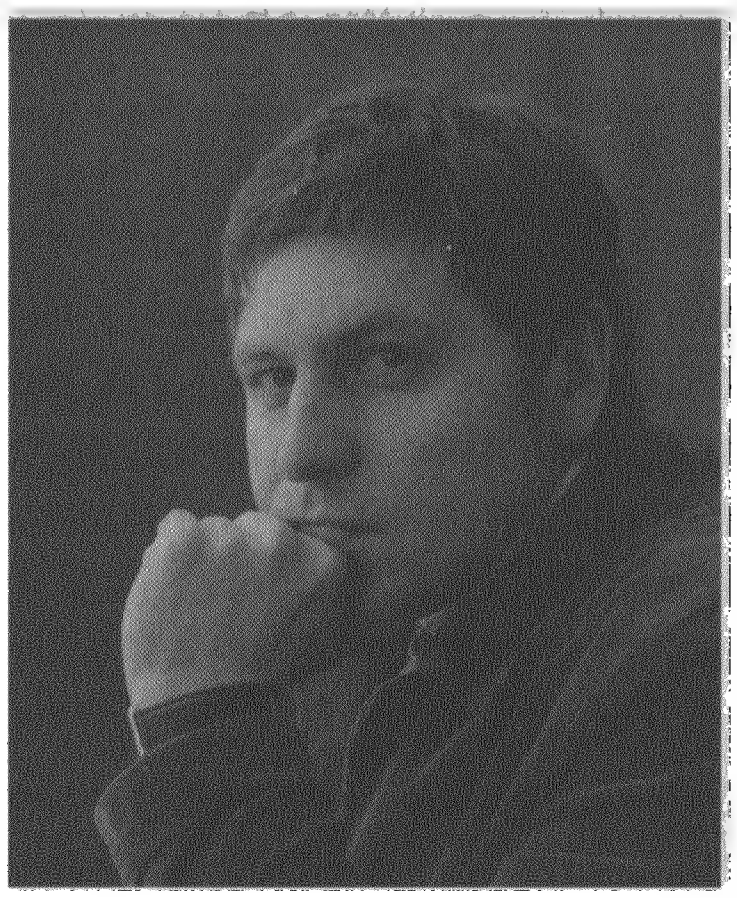
Наряду с поэзией и эссеистикой сильным местом литовской литературы остается новелла, динамичная, компактная, с неожиданной развязкой (жанр этот, коммерчески невыгодный, отлично согласуется со сложившимися давними традициями). Здесь жизнестойким оказался живой классик Ромуальдас Гранаускас, единственный плодовитый писатель старшего поколения (восемь книг за десять лет!), престиж новеллы поддерживают также Дануте Калинаускайте, Ричардас Гавялис, Бите Вилимайте, Саулюс Томас Кондротас. Их ценностные ориентиры соответствуют сформулированным некогда Альфонсасом Никой-Нилюнасом: "Творчество, не опирающееся на диалог Бытия с Небытием, мало чего стоит". Кстати, иностранцы часто удивляются тому, что литовская литература столь драматична, угрюма, сентиментальна. Так, в новой антологии "Облако на траве", суммирующей двадцатилетний опыт новеллы, речь, по большей части, идет о смерти. Литовцев считают не очень-то веселой нацией, которая больше пашет и жалуется на жизнь, чем расслабляется и отдыхает, поэтому трудно не радоваться каждому проблеску иронии и юмора. Состояние основного жанра — романа — не радует, сегодня лучшие литовские романы эгоцентричны и субъективны, им не хватает социальной ангажированности и гражданской ответственности.

"Советское время подарило нам одну хорошую вещь — любовь к книге", — сказала когда-то президент Ассоциации литовских издателей, Лолита Варанавичене. Нынешний книжный рынок жизнестоек, а Вильнюсская книжная ярмарка, самая большая и значимая в странах Балтии, — одно из главных культурных событий в Литве.

Пока сказать трудно — слишком мала временная дистанция, — чем обогатили нашу национальную литературу перемены и отход от традиции, а чего ее лишили. Динамизм происходящего расшатывает привязанность к местному и национальному и заставляет обратиться к более общим, космополитичным понятиям идентичности, принятым в Западной Европе. Литературе малого народа всегда угрожает опасность имитации и потери собственного достоинства. Хорошей словесности нужны крупные личности, интеллектуальная мощь, сильное чувство языка и расширение контекста.

Сентябрь 2014

Марюс Ивашкявичюс



Мистр

Драма

Перевод Георгия Ефремова

От автора

До поры до времени я избегал заверений: “Основано на подлинных событиях”. Мне это представлялось необязательным. Но нижеследующая история столь невероятна, что невозможно не предупредить читателя: так все и было. Некоторые детали и эпизоды даже пришлось опустить, они чересчур фантастичны. Иногда такое случается — реальность превосходит фантазию. И тогда авторские ремарки бессильны что-либо изменить.

А все началось в декабре 1840-го. В самом центре Парижа на торжествах перезахоронения Наполеона Бонапарта явился этот чудной человек из Литвы, назвавшийся Мистром. Париж разделился на два лагеря: уверовавших, будто сей пророк укажет роду людскому путь в Небеса, и убоявшихся, что оное существо стащит все человечество в преисподнюю.

© Marius Ivaškevičius, 2010
© Георгий Ефремов. Перевод, 2015
Фото Арунаса Балтенаса.
Здесь публикуется журнальный вариант пьесы “Мистр” в 4-х действиях.

Действующие лица

1840–1841 гг.

Адам — Адам Мицкевич, поэт (41 год)
Целина — Целина Мицкевичева, жена Адама (28 лет)
Мистр - Анджей Товяньский, литовский дворянин (41 год)
Ксавера — Ксавера Дейбель, гувернантка у Мицкевичей (22 года)
Бальзак — Оноре де Бальзак, писатель (41 год)
Санд — Жорж Санд (Аврора Дюдеван), писательница (36 лет)
Шопен — Фредерик Шопен, композитор (30 лет)
Пьер — Пьер Леру, философ (43 года)
Маргарет — Маргарет Фуллер, журналистка (30 лет)
Герич — литовский легионер
Петр — польский интеллигент в изгнании
Папа — Пий IX, папа Римский.
Статисты: грузчики, кельнер, польские интеллигенты в изгнании, польские легионеры, папские охранители.

Места действия: Париж, Рим, итальянские Альпы.
Время действия: 15 декабря 1840-го — 24 февраля 1848-го.
Продолжительность действия: 7 лет 2 месяца и 9 дней.

Действие I

Сцена 1

Елисейские Поля. Зима. Огромные толпы парижан ожидают прибытия останков Наполеона с острова Святой Елены.
Адам стоит, ежась от стужи, непривычной для Парижа. К нему сквозь толпу пробирается низкорослый мужчина в сюртуке цвета бронзы, необычайно похожий на Наполеона. Он держит в руках хоругвь, на которой — изображение Бонапарта, шествующего в небо. Становится позади Адама.

Мистр (*комментирует*). Сколько народа. А?.. Не удивлюсь, если его домовина покажется не с той стороны. Бонапарт — мастер маневра.

Адам отодвигается, смотрит в направлении Триумфальной арки.

А короля-то и не видать. Забился к себе во дворец... Стынь такую на нас нагнал... Боится, что Бонапарт овладеет Парижем, не вставая из гроба. А самому придется в Лондон бежать. (*Приближается к Адаму.*) Не придется... Если будет слушать меня.

Адам в раздражении оборачивается.

Похож (*разворачивает знамя*)? Бонапарт — мой крестный.

Адам (*холодно*). Прежде Москвы?

Мистр. Прошу прощения, не расслышал.

Адам. Когда крестил — до Москвы?..

Мистр. До Москвы, разумеется. Москвы тогда еще не было, сравнительно молодой город.

Адам. Вы прямо двойник. Вылитый. Копия.

Мистр. Я подлинник. Первоисточник.

Пауза.

Адам. Должность какую-то исполняете?

Мистр. На Земле представляю Го́спода.

Адам (*смеется*). Лихо. Откуда вы, сударь?

Мистр. Из Литвы. Владею имением в Анта́свянте, Интурке, Дубинки, Моляты... Если вы еще смыслите что-то в своем отечестве.

Адам. Я там, сударь, внутренне пребываю.

Мистр. А я натурально оттуда. Физически. Нарочно к этому скорбному торжеству.

Адам (*приподнимает цилиндр*). Адам. Мицкевич.

Мистр. Анджей. Товяньский. По рожденью — литвин, но москаль — по бумагам. Этак я говорю таможне. А перед вами желал бы изъясниться пространнее.

Адам (*без энтузиазма*). Изъясняйтесь.

Мистр. Я предпочел бы — стихами.

Адам озирается, но повозки с останками все не видно. Мистр продолжает патетически.

Народа дивный избавитель! Кровь древних витязей, чей прах в земле сырой... А имя — сорок и четыре!.. О Господи! Скорей врата ему открой, да снидет к нам во благости и мире. Дай сил нам вытерпеть...[1]

Подобная здравица раздражает Адама.

Адам. Где вы меня так изрядно выучили?

Мистр. В Вильне, в Бернардинском костеле.

Адам. Строку подменили...

Мистр. Ты ее подменил, Адам, а я лишь вернул на место.

Вдали слышатся приветственные клики. Толпа сдавливает говорящих.

Голос. Vive l'empereur!

Толпа. Vive l'empereur!

Голос. Vive la France!

Толпа. Vive la France!

1. "Дзяды", часть III, сцена 5. Перевод В. Левика. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Адам вытягивается, с волнением смотрит вдаль, машет цилиндром.

Голос (*ближе*). Vive la Pologne!

Толпа и Адам. Vive la Pologne![1]

Мистр. Слышите? Сколько тут поляков... (*Пытается перекричать толпу.*) И хоронят — не Бонапарта. Польшу везут во гробе. А не ведают: через год вновь она станет свободна, самостийна и воссияет в своем величии!

Адам. Откуда такие прогнозы?

Мистр (*возлагает руку Адама на хоругвь*). Цепляйтесь, гроб уж близок.

Мистр преклоняет колена и молится. Адам в волнении глядит на близящийся исполинский погребальный катафалк, запряженный шестнадцатью лошадьми. Наполеон для него — неисполнимая надежда на избавление, мощь, пытавшаяся сразиться с русской империей. Он возвращается мертвым в Европу и уже ни для кого не представляет угрозы. У Адама наворачиваются на глаза слезы: ведь есть еще и семейные трудности — дома осталась больная жена, у нее уже не одну неделю бред перемежается со стонами. Триумфальная колесница минует Адама, вся толпа подается в направлении Дома инвалидов.

Мистр. Доктор ей не поможет. У Целины в расстройстве — не разум. Тут другое.

Адам замирает. Громко произнесенное имя жены заставляет его прислушаться.

Бонапарт уже в Инвалидах, нам туда не пробиться. (*Поднимается.*) Оставим его ветеранам, а сами — обратно, к ней... На Амстердамскую, дом один.

Адам (*со злостью*). Кто вам сообщил мой адрес?

Мистр (*смахивает снег с колен*). Как говорил Наполеон, по прибытии в чужой город ты не спишь, не скучаешь, но пытливо исследуешь. Кто знает, а вдруг его придется брать? (*Смеется.*)

Адам. Вы — доктор?

Мистр. Если вы еще верите докторам, мне к ней — слишком рано.

Адам. Я уже никому не верю...

Мистр. Надо будет поверить, Адам. Лишь тогда я возьмусь исцелить ее.

Несомые толпой, они то сближаются, то отдаляются друг от друга.

Адам. Вы, верно, понятия не имеете, какова глубина ее недуга...

1. Да здравствует император! Да здравствует Франция! ... Да здравствует Польша! (*франц.*)

Мистр. Поверьте, Адам... Рассчитайте доктора, сообщите, что отказываетесь от него...

Адам. Сударь, я поверю, когда Целина встанет с постели...

Мистр. Ощутив, что она свободна, я приду исцелить ее.

Толпа подхватывает Адама и несет прочь от Мистра.

Могу знамя оставить в залог, что не обману, но ведь это уже не вера. (*Кричит вслед удаляющемуся Адаму.*) И поспешите: холодно. Я от простуд не пользую.

Адам исчезает в толпе.

Сцена 2

Квартира Мицкевичей. Комната, где давно не убирали. Целина лежит в постели, она стонет и мечется. Над ней склонился Мистр, и Адам нервно ходит по комнате, курит.

Адам. Сначала они твердили о послеродовой истерии, потом — что схизофрения, теперь они сами не знают. Царапается, воет, не узнает людей...

Мистр. Не дуйте на меня дымом. Терпеть не могу.

Адам гасит цигаретту. Трет озябшие руки.

Адам. Вы хотя бы предполагаете, что с ней?

Мистр. Окаменение. Переслоились плоть и душа.

Адам. Что делать?

Мистр. Расшевелить душу. (*Склоняется над Целиной и едва слышно бормочет что-то. Затем впивается ей в губы и начинает рычать вместе с ней.*)

Адам (*остолбенев*). Пан Анджей... (*Делает решительное движение к постели.*) Что вы с ней делаете?..

Целина сбрасывает с себя Мистра и садится в кровати.

Мистр (*в изнеможении*). Конфету.

Адам (*в растерянности*). Что?

Мистр. В ящике стола. Заперто от детей. Ключ — в кармане халата...

Адам пытается выдвинуть ящик, но он и в самом деле заперт. У Целины в кармане халата находит ключ. Отперев ящик, вынимает коробку конфет.

Скорее.

Адам спешит подать Целине конфету, но Мистр грубо перехватывает ее. Отправляет ее себе в рот и ложится крестом на полу.

Целина. Адальку, что за ужас мне снился...

Адам (*в волнении целует ей руки*). Целина, Целинка...

Целина. Как же мне было страшно. Я плакала, но ты не шел. Где Марыся, где Владек?

Адам. У Зоси.

Целина. Ты отдал детей Зосе?

Адам. Только на ночь, утром она приведет.

Целина. И Геленку отдал?

Адам. Целина, у тебя был припадок.

Целина (*замечает лежащего на полу Мистра*). Адам, кто там лежит?

Адам. Доктор.

Пауза.

Целина. Завтра у Марыси гимнастика. Я еще прилягу (*ложится*).

Адам. Как ты?

Целина. Очень хочу спать. Когда Зося придет, я услышу. Ты утром спи, не вставай, я все сама сделаю, отведу ее на гимнастику.

Целина засыпает, едва склонив голову. Адам заботливо укрывает ее.

Мистр. Там остались еще конфеты?

Адам (*подбегает и помогает ему подняться*). Пан Анджей, я так благодарен... моя радость не выразима словами...

Мистр. Я бы подкрепился...

Адам(*подает конфету*). Скажите, чего ей теперь нельзя?..

Мистр. Одно ясно, она еще не вполне здорова. Но и не так больна, какой я застал ее вначале.

Адам. Какое сравнение...

Мистр. Однако еще и не вполне здорова.

Оба садятся за стол.

Адам. А что у ней? Какая это болезнь?

Мистр. Зло! Оно гнетет душу... А душа, противясь, мешает обращению крови.

Адам. Какое зло?

Мистр. Что-то не так она сделала. В своем прошлом теле.

Пауза.

Адам. В каком теле?

Мистр. Львином. Она была самка.

Адам тревожно оглядывается на спящую Целину.

Адам. И что не так она сделала?

Мистр. В подробностях не скажу. Возможно, растерзала кого-то. Не того.

Пауза.

Адам. Сударь, я так счастлив... Что с вами не разминулся... что вы не преминули ее осмотреть...

Мистр (*встает*). Надобно и вас осмотреть.

Адам. Я здоров...

Мистр. Чувствую: старость и предрасположенность к авангарду, но я обязан узнать более.

Внимательно смотрит на Адама. Целует его. Адам противится,пробует вырваться. Замирает. Мистр отпускает его.

Мистр. У вас ожог. От костра.

Пауза.

Адам. Ожог?..

Мистр. Душа еще помнит о пламени и страшится тепла, потому вы так мерзнете. (*Садится.*) Благословенна будь, Иоанна, Орлеанская дéвица, в новом своем обличье.

Адам делано улыбается.

Адам. Шутить изволите...

Мистр. Не надо стыдиться, Адам, ее плоть была весьма недурна.

Целина издает тихий стон. Адам подбегает к ее постели, поправляет одеяло. Возвращается к столу. Глядя на Мистра, подбирает слова.

Адам. Сударь... (*Овладевает голосом.*) Чувствую, что вы меня за руку ведете в миры, о которых я помышлял, но никогда их всерьез не касался. Посему я желал бы знать, кто мой вожатый?..

Мистр (*берет конфету*). А я бы подкрепился.

Адам. И почему непременно я?

Мистр. Приходилось вам слышать о маршалах Божиих?

Адам трясет головой.

Об одном наверняка приходилось... Родился в Вифлееме, дух испустил на кресте в Иерусалиме. Все пустил на самотек, и вышла в итоге — вера со множеством искривлений. Полководец он был неважный — оттого-то и потерпел! А сам устранился от борений... Ни умер, ни возродился, вывернулся из еврейской кожи и потом еще жил не однажды, но уже не так откровенно... (*Сгрызает конфету.*) Для плоти духовный труд изнурителен.

Адам. Берите, сколько вам надо...

Мистр. Кроме него, есть еще два маршала. Маршалы, мистры, мессии — именования меняются в зависимости от эпохи, но суть одна: три этих великих духа являют собой кабинет Господень, или Первый Круг Божий. (*Склоняется к Адаму.*) Вы не помните, мы оба посещали один семинар? Латинской литературы.

Адам. В которой жизни?

Мистр. В Вильне. Я чаще сидел на второй скамье справа.

Адам (*мотает головой*). Извините...

Мистр. Вы уже и тогда строчили и были дамским любимцем...

Адам. Я не считаю это достоинством.

Мистр. Но вспомните хоть поэму, фрагмент, которым я вас приветствовал. Откуда он, этот пророк-пришелец под именем "Сорок четыре"? Спаситель, заступник отверженных?

Адам. Я не знаю. Так у меня написалось...

Мистр. Вам это надиктовали, Адам. Сей отрывок — это все, за что вам назначен талант. Остальное — стружки, прощаемые при творении самородка. Кто-нибудь и за это похвалит, помянет имя Мицкевича. И все же они — только лишь куча мусора.

Адам закуривает.

Ку́рите много. Душе не вредно, а для плоти — не вспомо-жительно.

Адам. У меня теперь в голове — все кувырком...

Мистр. Старые истины рвутся из вас, извращения от Петра и Павла. Забудьте Бога-Отца, Бога-Сына и Духа, нету такого Бога! Есть Бог и три маршала, его губы и уши. (*Встает.*) Конфеты кончились... В башмаке у Целины есть еще, если вы не против... (*Подходит к шкафу.*) Даже зная о своем назначении, я ровно двенадцать лет ждал приказа действовать. Первому мистру, магистру, мессии либо консулу, называйте его как хотите, был отдан приказ: собрать рыбаков и следовать с ними в Иерусалим. Мне же... Скакать в Париж и тут обрести вас — первого справа, Петра моих апостолов.

Из-под шкафа он вынимает башмак. Адам провожает глазами все движения Мистра. В его дрожащих пальцах дотлевает сигаретта.

Адам. Сударь, вы... Христос?

Мистр. Не люблю сего звучного титула. В нем излишек моего предвестника.

Сцена 3

Квартира Жорж Санд. Просторная и светлая гостиная. Вокруг не слишком роскошного, но со вкусом накрытого стола неловко переминаются Адам, Пьер и Маргарет. Входит Бальзак с бумажным свертком.

Бальзак (*Маргарет*). Bonjour, madam.
Маргарет. Bonjour.
Бальзак (*Пьеру*). Оноре де Бальзак.
Пьер. Пьер Леру.
Бальзак. Как?
Пьер. Леру.
Бальзак. Приветствую, Адам. Как там Польша? (*Энергично.*) Повержена, но не сломлена? Где Санд?
Адам. На кухне.
Бальзак (*громко*). Жорж?
Голос Санд. Иду-иду.

Входит Санд. Вытирает руки о передник. Бальзак целует ее в щеку.

Санд. Оставь поцелуйчики. Что-то в животе неспокойно. Боюсь, не холера ли.
Бальзак (*подает рукопись*). Это тебе, даровитейшей. Первые главы "Отца Горио", шестая редакция. Полное соответствие.
Санд. Ты б лучше вина принес...
Бальзак. Храни, Жорж, накапливай, лет через сто продашь с барышом. (*Оглядывается.*) Можно уже рассекретить, что́ мы празднуем?
Санд. Книгу еще не открыл, а требуешь кульминации.
Бальзак. Не кульминации — только названия. *Фортепианист* наличествует?
Санд. На кухне. Кофе варит. (*Громко.*) Фредерик, ты скоро?
Голос Шопена. Уже вот-вот.
Санд. Присядем, fellows[1]. Адам, откупорь вина.

Все садятся на стол.

Бальзак. Горячее будет?
Санд. Поздне́.
Бальзак. Роскошь.

Входит Шопен с кофе на подносе. Он движется очень медленно, театрально.

1. Тут: друзья (*англ.*).

Как по-твоему, Фредерик, ты прибудешь по расписанию?

Шопен прыскает, чуть не роняет кофе.

Санд (*встает*). Дай, прошу тебя, этот поднос. (*Отбирает и ставит поднос на стол. Оба садятся.*) Fellows, это Маргарет. Американка, журналистка из "Нью-Йорк трибьюн", начинающая писательница, борется за права негров и женщин. I presented you, Margaret, as a fighter for the women's and negros' rights and also...[1]

Маргарет. Можно без перевода, Аврора. (*Гостям*) hello.

Бальзак (*часто-часто машет рукой*). Hello, Маргарет.

Санд. Бальзак...

Бальзак. Де Бальзак, я попросил бы. Пустячок, но весомый.

Санд. Не женат, но ты для него не партия. Его занимают одни лишь престарелые аристократки.

Бальзак. Не обязательно престарелые. Но в целом — да. Я склонен к мезальянсу. (*Толкает плечом Пьера.*) Имею такую наклонность.

Санд. Шопенчика ты знаешь. Уже занят. Кроме того, болезненно возбудим и слаб телом, требует немалого внимания. Тебе терпения не достанет. Пьер Леру — философ, мыслитель, реформатор христианства, поборник женской эманципации и мой духовный наставник.

Бальзак. Так много в одном?..

Санд. Мицкевич. Поэт, профессор, ты была у него на лекции, это сродни знакомству... (*Всем.*) Ожидается еще один гость, кстати, весьма особенный, и я объявляю начало гадания: кто он? (*Кладет в кофе сахар. Долго размешивает.*)

Бальзак. Возможно, Буонапарте?

Санд. А́ propos, Фредерик был на перезахоронении. Говорил, что холодно и много людей...

Бальзак. Я тоже туда забежал...

Санд. Много знамен, иллюминаций и, разумеется, слез. Плакали в основном поляки.

Шопен. Я так не говорил.

Санд. Как твоя жена, Адам? Ты подозрительно молчалив.

Адам. Поправляется.

Санд. Если нужен специалист в этой области...

Адам. Уже не нужен.

Пауза.

1. Я представила тебя как воительницу за права женщин и негров, а также... (*англ.*)

Бальзак. Но кого мы тогда ожидаем? Гейне?
Шопен. Гейне весь в Пиренеях.
Бальзак. Делакруа, Берлиоза?.. Чуть не ляпнул: Никколо...
Санд. Читал эти глупости?
Бальзак. Ужас.
Санд. Кошмар.
Бальзак. Вообразите, Маргарет, умер гений.
Санд (*к Маргарет*). Паганини.
Бальзак. И теперь его пересылают из порта в порт, не велят нигде хоронить, потому что некий извращенец-епископ заявил, будто он — сатана. Лишь в Италии такое возможно...
Санд. Марсель его тоже не принял. А́ propos, Маргарет, Паганини сидел там же, где — вы. Меньше десяти лет назад.
Бальзак. А теперь — в Средиземном море. Тлеет в гробу и качается на волнах.

Пауза.

Санд. Пьер, вы не пьете кофе?
Пьер. Не достать.
Санд. Оноре, отправь Пьеру кофе.
Бальзак (*подает Пьеру чашку*). Ну и кого мы ждем? Листа?
Санд. Лист беззаветно в Мадьярии.
Бальзак. Со-всем за-был. Ведь наш бедный Франсуа — спятил. Концертирует, облачась в национальный венгерский костюм. Учит ихний язык.
Шопен. Свой язык.
Бальзак. Но как это вышло, что человеку тридцать, и только теперь он учится говорить?
Санд. Оноре, мы французы...
Бальзак. Жорж, я лишь отмечаю: то, что он делает, — неестественно.
Шопен. Человек хочет обрести родину...
Бальзак (*иронически*). Это просто великолепно, Фредерик!
Шопен. Ощущает внутреннюю потребность...
Бальзак. Но он спекулирует на этой потребности. Кричит: я венгр, я мадьяр...
Санд. See[1], Margaret, как у нас в Европе все сложно.
Бальзак. Каждый желает быть на свой лад, предъявить свой костюм...
Санд. Послушайте, что я вспомнила. На эту тему. Скажу по-литовски, если что — поправь меня, Адам.

1. Видишь (*англ.*).

Бальзак. Он ведь поляк...

Санд. Внимание, Оноре. Когда литовцы садятся пить, уж не знаю, что они там пьют...

Бальзак. Что-нибудь, для нас непригодное.

Санд. Поднимают вверх это свое питье, не скажу, в какой емкости, поднимают и говорят: books wake us. И выпивают. Представляете, Маргарет... Books wake us. Книги нас будят. Мы в книгах пребудем.

Бальзак. Ну это, Жорж, твои фантазии.

Санд. В точности! Кто-то из фредериковых ляхов рассказывал. Каков народ, правда? Пьют и друг другу желают воскреснуть в литературе. Невероятно! А ты, Оноре, хочешь эти различия уничтожить.

Шопен. Это так, Адам?

Адам. Один из вариантов.

Санд (*зачарованно повторяет*). Books wake us...

Адам. *Buk* — по-литовски означает...

Шопен. "Bóg" — это Бог на польском.

Бальзак. Вот это я могу понять. Выпил и знаешь: чуть что, Боженька воскресит. По ту или эту сторону.

Санд. А все-таки, Адам, ты — литвин или ты поляк?

Адам. По рожденью — литвин. Но... если шире — поляк.

Маргарет. А по паспорту?

Шопен. По паспорту, сударыня, мы... русские.

Санд. Они узурпированы.

Маргарет. I'm sorry. So sorry...[1]

Бальзак. Сколько жителей в Литве?

Адам. Шесть миллионов. Приблизительно.

Маргарет. А города? Крупнейшие?

Адам. Вильна.

Маргарет. И только?

Адам. О других вы уж точно не слышали.

Маргарет. Хотя бы теперь услышу.

Адам. Витебск, Гродно, Минск...

Маргарет в удивлении качает головой.

Бальзак. Шесть миллионов — немало.

Пьер. Французов — двадцать четыре...

Бальзак. Так то — французов! La grande nation![2] Нашел с кем сравнить...

Адам. Литвины — двуро́дная нация.

Бальзак. Какая?

1. Простите. Простите, пожалуйста... (*англ.*)
2. Великий народ! (*франц.*)

Адам. Два народа срослись в один.

Бальзак. Откуда их столько взялось?

Адам. Есть много гипотез. Те старые, что говорят “būk sveikas”[1], себя выводят еще из Великого потопа.

Бальзак (*смеется*). Скотиной прикинулись? Юркнули в Ноев ковчег...

Адам. Ной был не единственный. Спаслось еще несколько семей.

Пьер. Каким образом?

Адам. Скачка́ми — по вершинам гор. Когда вода откатилась, не сыскали дороги назад и основали нацию литвинов.

Бальзак. Завидная скакучесть. На вершину с вершины!..

Адам. Но, разумеется, это легенда.

Пауза.

Санд. Симпатичная легенда. Оноре, ты мог бы это использовать.

Бальзак. А как на самом-то деле? Видишь ли, Жорж, я реалист.

Адам. На самом деле это — индусская колония.

Бальзак и Санд переглядываются.

Бальзак. Ясно. Адам — индус.

Адам (*качает головой*). Нет, я славо-литвин. Индо-литвины — низкорослые, у них индийский овал. Глаза маленькие и тусклые. Когда смотрит, не скажешь, что́ он о тебе думает.

Бальзак. А славо-литвины — они откуда?

Адам. От индо-литвинского взрыва.

Пауза.

Санд. С чего взорвались?

Адам. Озлобились. Кто-то их крепко взбесил. Был тихий народец, и вдруг прорвало...

Бальзак. На вас?

Адам. ...из берегов. Захлестнули соседние нации, нас обратили в литвинов и всучили державу. А сами дальше пашут землицу, ждут нового взрыва.

Бальзак (*сочувственно*). Господи, как там все перепутано, недовыражено. Внутри у России — Польша, внутри Польши — Литва, в ней — индусы, ждущие взрыва. Чересчур высока постройка, не потому ль рухнула? Но теперь хоть выяснилось, что Адам у нас — не поляк.

Адам. Почему, я — поляк.

1. “Будь здоров” (*лит.*).

Бальзак. А, старая песня...

Адам. Я литвин в узком смысле, но в широком — поляк.

Шопен. Не будучи роднею по крови, мы объединены общим делом — прекрасной великой Польшей. Не так ли, Адам?

Ждет от Адама подтверждения, но тот не спешит с лозунгами.

Санд. Á propos, Маргарет, Адам виделся с Гёте. (*Адаму.*) Маргарет переводит беседы Эккермана с Гёте и сама будет писать к этой книге вступление.

Маргарет (*Адаму*). Вы видели Гёте?

Адам. Выпала такая честь.

Маргарет И Гёте вас видел?

Бальзак. Нет, он был уже очень стар, лишился зрения и двенадцати пальцев.

Шопен прыскает.

Санд. Бальзак, твой деревенский юмор приятен отнюдь не всем.

Адам(*Маргарет*). Я был представлен Гёте как его польский аналог. И его это позабавило.

Маргарет. Вы?.. Аналог?..

Адам. Я так был представлен.

Маргарет напряженно смотрит на Адама. Падает без чувств.

Санд (*ловит падающую Маргарет*). Воды! Боже, деточка, как ты осилишь вступление! При столь трепетном отношении к материалу... Дайте воздуха!..

Пьер подносит вазу, полную воды. Шопен распахивает окно.

(*Пьеру.*) Но это же ваза... для окурков.

Бальзак (*сует чашку с кофейной гущей*). Дай ей понюхать. Помогает.

Шопен (*от окна*). Как она там, Аврора?

Санд. Возвращается. (*Маргарет.*) Ты не хочешь прилечь?.. Комната для прислуги — свободна.

Маргарет. Ничего... У меня бывает. Это сосудистое... (*Улыбается, обмахивается, пробует всех уверить, будто случившееся – пустяк.*)

Звонок в дверь.

Бальзак. Особенный гость?

Санд. Фредерик, ты откроешь? (*Зовет мужчин передвинуть стол.*) Расчистим простор для гостя. (*Содрогаются рюмки на столе.*) Осторожнее, не свалите...

Шопен выходит. За дверью слышны грохот и ругань. Санд выбегает.

Бальзак (*прислушивается*). Уж не гроб ли несут?
Пьер. Что за гроб?
Бальзак. Николкин. Генуя отказала, Марсель не принял, а Жорж — принял. И мы как раз высвободили место для гостя.

Входит Санд.

Санд. Особенный гость, fellows. Со Средиземного моря.
Бальзак. А я что говорил...

Грузчики вносят рояль.

Санд. Восемь месяцев таможня Пальмы держала его под арестом. Искали клавишу, нажатие коей делает Шопенчика фортепианным гением. (*Грузчикам.*) Ставьте... Фредерик скоро покажет, чего искали эти болваны. Не начинай без меня, Шопен.

Санд и грузчики выходят. Шопен открывает крышку, пробует клавиши.

Бальзак. И как вы там преуспели?
Шопен. Я думал, ума лишусь. Глушь, ветер, убожество. Больше нечем было заняться: только играть и кашлять.
Санд (*возвращается*). Что за остров, fellows. Подлинный рай — всем советую. Долина, горы, лимоны... Повремени, Шопен. (*Берет со стола подсвечник и вазу.*) За компанию, Адам?

Санд и Адам лезут под инструмент и там закуривают.

Санд. Мальорское море, горы и ветер в живом исполнении Фредерика на инструменте оригинала. Начинаем.

Шопен, потерев затекшие руки, начинает играть. Раздается нежная, тоскливая мелодия — это новая композиция, сочиненная на Мальорке.

Санд (*о музыке*). Как тебе, Адам?
Адам. Невероятно.
Санд. Что-то вызывающе новое, и вроде бы ничего... Тот же самый Шопен, а иной. Шопен всем Шопенам.
Адам (*упиваясь музыкой*). Он тебя высасывает, Аврора... Пьет из твоего таланта.
Санд. Да... Я выкормила двоих, выкормлю третьего. Теперь вот — особенно красивое место... Тут он рассвирепел, что я не пустила его на террасу. Слышишь, как сильно. Ненависть.

Музыка набирает грозную силу, затем вновь смягчается до печали.

Санд. Видимо, настал такой возраст: желаю делить себя. Ради Шопена жертвую всем, что мною еще не написано, пусть перемалывает меня в музыку... А что написано — отдаю Пьеру, прошу, чтобы он поправил. Он истинный пророк, Адам. Ты обязан его узнать. Невыразимо новый человек. (*О музыке.*) Разве это не потрясающе?

Адам. Невероятно.

Санд. Да. (*Зажмурившись, дирижирует тлеющей сигаретой.*)

Адам. Тебя занимают пророки?

Санд (*опьяненная музыкой*). Что?

Адам. Есть один человек, Аврора. Надо, чтобы ты посмотрела...

Санд. Занимателен?

Адам. Поверь...

Санд. Какого направления?

Адам. Маршал...

Санд. Финал. (*Рубит воздух рукой.*) Та-та-таа, та-таааа. (*Бросает окурок в вазу.*) Браво. (*Хлопает.*) Браво Мальорке, браво Шопену, браво роялю. (*Гостям.*) Идите сюда. Совсем другая акустика, иное ощущение.

Все встают с мест и лезут под инструмент.

Бальзак. Похоже, тут собрание роялистов. (*Хлопает ладонью по роялю.*) А я полагал, вы республиканцы.

Санд. Продолжай, Фредерик.

Шопен. Инструмент расстроен.

Санд. Сыграй что-нибудь попроще. Не столь гениальное.

Шопен играет "Мазурку Домбровского"[1].

Бальзак. О нет, только не это...

Маргарет. Вполне приятная мелодия.

Бальзак. Это — политика, а не мелодия.

Санд. Но как он импровизирует...

Шопен (*поет воинственно*). Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. (*Колотит по клавишам.*) О Господи, Ты, видно, из москалей, если не видишь, как мучится Польша!..

Бальзак в беспокойстве оглядывается на окна.

Бальзак. Так вот оно — обещанное горячее? Пойду хоть окно прикрою...

1. Гимн Польши (композиция "Мазурка Домбровского" или "Марш Домбровского"): Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy... Первоначальное название "Песня польских легионов в Италии" (1797). (*Прим. ред.*)

Санд (*удерживает*). Сиди. Картошка еще не сварилась.

Шопен (*играет и поет*). Marsz, maaar-sz, D broooow-ski, do Polski z zieee-mi włooo-ski... (*Бьет по клавишам.*) А если видишь, почему допускаешь?

Пауза.

Бальзак (*запевает*). Allons en-fants de la Pa-triiii-e, le jour de gloire eeeest ar-ri-véee... Если уж выбирать каторгу, предлагаю родную — французскую. (*Поет.*) Contre nous de la ty-ra-nniii-eee, l'e-tendard san-glant est levéee...

Шопен аккомпанирует ему на рояле. Все вместе поют "Марсельезу".

Сцена 4

Квартира Мицкевичей. Адам вносит в комнату копию изображения Жанны д'Арк на костре. Залезает на стул, вбивает в стену гвоздь и вешает картину рядом с другой, где Орлеанская дева — верхом на коне. Входит Целина.

Целина. Здравствуй, Адальку.

Адам. Здравствуй, Целинка.

Целина. Пробираешься в дом, как вор. Марыля спрашивает, кто там колотит, а это — ты.

Адам. Хотелось устроить сюрприз.

Целина. Устроил. Геленка уже меня спрашивала, а это не наша бабуня?

Адам слезает со стула.

Адам. Ты как себя чувствуешь?

Целина. Как белка. Все кручусь.

Адам. Главное, кризис прошел. (*Целует.*) Целинка, хочу кое-что у тебя спросить.

Целина. Спроси.

Адам. Ты когда-нибудь прятала в туфле конфеты?

Целина. Какие конфеты?

Адам. Какие-нибудь?

Пауза.

Целина. Тебе больше не о чем поговорить с женой?..

Адам. Цели...

Целина. Только на такие вот ненормальные темы? (*Звонок в дверь.*) Да, я ненормальная. Что ж теперь делать...

Целина идет открывать. Адам садится, достает табак.

Голос Целины. Адам, Мистр приехал.

Входит Мистр, одетый в парадную наполеоновскую военную форму, с мечом, подвешенным к поясу. За ним — юная черноволосая красавица с двумя чемоданами в руках. За ними — онемевшая Целина.

Мистр (*оглядывается*). Другой вид, иной запах. Женщина есть женщина. Без нее дом не дом, а конюшня.

Адам (*в остолбенении*). Мистр?..

Мистр. Прямо из Ватерлоо. Две недели посвятил реколлекции[1], собирал Бонапартову мощь, даже форму его приобрел. (*Садится и всех приглашает к столу.*) Много туристов ездит, интересуются атрибутикой, у местных коммерсантов приличный выбор. Я купил, чтобы отстали, и не жалею. Людей к себе привлек, ветеранов Ватерлоо. Издалека прибегали, в ноги мне падали. Французы, англичане, даже один шотландец. Все мне подробнейше указали: где стоял Бонапарт, где Веллингтон, где палила какая пушка, в кого попала, в кого — не успела. Лейтенант из Манчестера — тот даже меч подарил. (*Позванивает мечом.*) Настоящий — не камуфляж. Ксавера, подай чемодан.

Адам. Я подам.

Мистр. А когда пришлось уезжать, коммерсанты в ногах у меня рыдали, просили не забывать их. Говорят, уже так привыкли к призраку Бонапарта...

Адам поднимает чемодан, откуда вываливаются женские наряды.

Ксавера подберет. Мой — черный.

Адам берет черный чемодан, относит Мистру.

Клади на стол. (*Открывает чемодан, достает пузырек.*) Ключевая вода. Маленький, невинный родник, а так разлился в день битвы, что маршал Ней не смог его перейти. Сатанинский труд, исполнен Бонапартовой мощи. Целине рекомендую, если вдруг повторится... Чуть-чуть вот сюда на виски и шею смочить. Не поможет — выпить ложечку.

1. Реколлекция — от *лат.* Recollere, что означает "вновь собирать нечто разбросанное", а также "омолаживаться", "ободряться". В церковном обиходе — собрание мыслей, рассуждений преимущественно о духовных предметах. "Реколлекция в буквальном смысле — это собирание себя в единое целое. Суть реколлекции состоит в том, чтобы избавиться от всего отвлекающего и полностью пребывать в настоящем" ("Созерцательная молитва: созидание души". Ричард Фостер). (*Прим. ред.*)

(*Достает металлическую коробочку.*) Земля из развалин фермы Бель-Альянс. Здесь Веллингтон соединился с пруссаками, триумф зла и конец Бонапарта. (*Набирает горсть песка.*) Открой рот, Адам. Смелее. Для души лучшей пищи нет — разве что выкусишь самого́ черта или Веллингтона... (*Смеется. Скармливает песок Адаму.*) Подготовка закончена, нам пора уже, Адам, гнуть к Земле Царство Небесное. А чтобы Целину не раздавило хозяйство, пока мы будем трудиться на ниве духа, я вам привел гувернантку. Поживет с вами. За детьми присмотрит.

Адам (*переглядывается с Целиной*). У нас на то Зося.

Мистр. Ксавера подменит ее. Опыт есть, в Вильне детей обучала пению. Вижу, рояль имеется, а теперь будет еще и вокал.

Пауза.

Адам (*Ксавере*). Из Вильны?

Ксавера. Да, пан, оттуда.

Адам. С какой улицы?

Ксавера. Троцкой. Если пан помнят, дом Тышкевичей, где полуголые парни балкон подпирают.

Адам. Атланты. Отлично помню...

Ксавера. Потом тятенька обанкротились, и мы переехали в Вилькомир. Оттуда Мистр и позвали. Вам то есть прислуживать.

Мистр бросает взгляд на Ксаверу. Та немедленно закрывает глаза.

Адам. А что с глазами?

Ксавера. Ничего.

Мистр. Я бы попросил всех выйти.

Пауза.

(*Строго.*) Оставить меня с Ксаверой.

Адам растерянно встает, выходит, придерживая Целину за локоть. Пауза.

Ты его не магнетизируешь.

Ксавера. Мистр, не знаю, а я в самом деле — она? Никак ее в себе не найду...

Мистр грубо притягивает Ксаверу и впивается ей в губы.

Мистр (*отходит*). Когда состарился царь Давид, и многими временами отяготился век его, и уже не умели согреть его ни огонь в очаге, ни одежды — слуги тогда говорили ему: пускай найдут для царя, Господа нашего, юную де-

ву, и пускай стоит она в глазах у царя, и пускай смотрит за ним, и пускай спит с ним на ложе, а тогда и согреет царя, Господа нашего. И так искали прекрасную деву по всем окраинам Израилевым, и нашли Ависагу из града Сунема, и привели к царю. И ты согрела царя Давида. Так почему этим телом, не менее дивным, ты не желаешь согреть Адама? Он — первый среди мужей моих, однако зябнет — я это чувствую. Где холод — там и тьма, а во тьме — сомнение. Он взывает о твоем пламени. Ты меня слушаешь, Ависага?

Ксавера. Я не чую этого пламени.

Мистр (*кричит*). Ты — полено, Ксавера! Или согреешь Давида, или сгоришь напрасно.

Мистр багровеет, сжимает кулаки. В комнате трескается зеркало.

(*В изнеможении.*) Конфету...

Вбегают Адам и Целина. Мистр хватает чемодан и направляется к двери.

Мистр. Ксавера меня проводит.

Выходит. Ксавера выбегает за ним.

Целина (*метет пол и смотрит на Адама*). Адам... А она не слишком для нас хороша?

Адам не отвечает. Садится и закуривает. Входит Ксавера. Оглядывает комнату. Медленно подходит к столу и садится напротив Адама. Движения Целины замедляются, она слушает в тревоге.

Адам (*встает*). Я же обещал Зосе помочь с этой крышкой.

Целина. Мы с Зосей ее еще днем прикрепили.

Адам уходит. Целина выметает осколки. Садится против Ксаверы. Обе неловко молчат.

Вам сколько лет?

Ксавера: Двадцать три.

Целина. Молодость... Мне двадцать девять. Выгляжу старше? (*Сжимает в ладони пузырек, принесенный Мистром.*) По причине болезни. Но я еще распрямлюсь, войду в цвет, сброшу вес...

Ксавера. Я бы хотела распаковаться.

Целина в тревоге ощупывает глазами Ксаверу.

Целина. Идемте, я вас распакую. Представлю детям. Слава Богу, они растут быстро.

Целина и Ксавера уходят.

Сцена 5

Литовский ресторан в Париже. За длинным деревянным столом с традиционными блюдами сидят Санд, Пьер, Адам и Мистр. Он единственный ест поданный суп. Пьер раскладывает на столе свои книги и вырезки статей, Санд разглядывает экзотический интерьер.

Санд. Я и не слышала про такое место. Литовский ресторан в Париже — лучше не придумаешь. Нейтральная территория для поединка истинных столпов интеллекта. (*Показывает на блюдо.*) А это, наверное... бычий язык?

Адам. Свинячьи уши.

Санд. Интересно. А это?

Адам. Бобровые хвосты.

Санд (*не может поверить*). Бобровые хвосты? Никогда бы не подумала. (*Пробует.*) Отведайте, Пьер, бобра.

Пьер. Спасибо, я не голоден.

Санд. Books wake us, fellows. (*Отхлебывает киселя, морщится.*) Что это я пью?

Адам. Клюквенный кисель.

Санд (*встряхивается*). Густой. А суп?

Адам. Крапивный.

Мистр (*Адаму, шепотом*). Кто этот "fellows"?

Адам. "Друзья".

Санд. Пьер через час будет вынужден нас покинуть, поэтому приступим, не мешкая. Пьер...

Пьер. Да. (*Торжественно возлагает руку на бумаги.*) Тут несколько моих книг, брошюр, я их оставляю для изучения. Но, говоря коротко и обобщенно, целью христианства я полагаю социализм.

Адам. Простите?

Пьер. Социализм. Сейчас поясню.

Санд. Термин изобретен Пьером. Идеальное общество, которого человечество достигнет путем духовного совершенствования.

Мистр. Когда?

Санд. В грядущем.

Пьер. Аврора, позволь мне говорить своими устами.

Санд. Извини.

Пьер. Меня часто спрашивают, как будет выглядеть социализм? Первое: я уничтожу аристократов, имущество не будет наследоваться. Второе: превознесу женщину — она станет эманципированная особь, уравненная с мужчиной, и будет активно во всем участвовать. По достижении всеобщего благоденствия несчастные семьи

отомрут сами собой. Каждый сможет испытать себя в двух пробных браках и в третьем — окончательном — определиться, с кем ему жить. Четвертое: не сохранятся народы в нашем нынешнем понимании. Не будет поляков или французов, рассредоточенных по разным территориям, иначе сказать, в пространстве. Они расположатся во времени и будут нумероваться: Первый, Второй, Третий... Когда все человечество доберется до высшей ступени прогресса, ему будет придан новейший номер. Десятый народ достигнет социализма.

Санд. Разве не удивительно, Адам?

Пьер. Далее — проблема религии. Христианство должно забыть все сказки о рае, посмертной жизни.

Мистр настораживается.

Человек по себе оставляет накопленную информацию. Ее наследует высший народ. Так он способствует ходу прогресса и в масштабе всего человечества становится вечным. Но как экземпляр — умирает.

Санд. Вызывающе новый взгляд на бессмертие, правда, Адам?

Пьер. Новый и, как я наблюдаю, шокирующий. Увы, увы, христианству пора приспосабливаться. В противном случае, я его поменяю на другую религию.

Мистр. Думаешь, он тебя не слышит?

Пьер. Вы о ком?

Мистр. О Боге, змей ты ползучий. Он ближе, чем ты рассчитывал...

Пьер. Нимало с вами не спорю, сударь, ибо, согласно моей модели, Бог всюду: в любви, в железной дороге... Один индивид проникает в другого, и Бог в том участвует, сам Он и есть соитие. Я, с позволенья сказать, реабилитирую плоть, сообщаю свободу позывам и тем предохраняю любовь от суеверия.

Мистр (*Адаму*). Я хотел бы его осмотреть.

Адам. Мистр, не надо...

Пьер. Почему же — осматривайте. (*Пододвигает книги.*) Вникайте в суть. Изложено вполне популярно. Ну вот вкратце — все!

Пьер кивает Санд, та одаряет его чарующей улыбкой.

Санд (*Мистру*). Сударь... Адам представил вас как человека неподражаемых взглядов на нашу общую религию. Хотелось бы знать, какова творимая вами модель, какова там роль женщины?

Мистр. Я ничего не творил, madam...

Санд. Я имею в виду...

Мистр. Как возвестилось ангелом, мир составляют ступени. Лестница, наверху которой Царство Небесное. Души по ступеням движутся ввысь либо рушатся вниз. Копошатся, соревнуются между собой, пока не явится маршал и всех скопом не подтолкнет, не побудит кнутом в направлении Царства Небесного.

Пьер и Санд переглядываются.

Санд. "Возвестилось" говорите?.. Вы упомянули...

Мистр. Упомянул, madam. В июне месяце прошлого года он опустился на крышу моего поместья в Виленской губернии.

Пауза.

Санд. Ангел?

Мистр. Четырех метров роста, с исполинскими крыльями.

Пауза.

Санд. Только вы его видели?

Мистр. Франек говорил, что видит. Но все врет. Не видел.

Санд. Кто это — Франек?

Мистр. Мужик.

Пьер фыркает.

Санд. И что он сказал? Я имею в виду, тот, высокий...

Мистр. Рядовые не говорят... Это — воины всех Бонапартовых битв! В покойную пору они служат посланцами.

Санд, пряча смех, нарочито хмурится.

Санд. Как он себя повел? Не напал на вас?

Мистр. Он просто сидел, madam. Когтями впился в черепицу. Жена стала звать к обеду, и ангел перепугался.

Пауза.

Санд. Странный какой-то посланец, так ничего и не передал.

Мистр. Погрязшие в чтении книг перестают читать знаки.

Санд. Метко. (*Пьеру.*) Камешек в наш огород. Надо использовать где-нибудь.

Пьер. Ну, скажем, знак, галлюцинация, прилетел-улетел... Что дальше?

Мистр. Белый крест через все небо. Он возвысился в той стороне, где Дубинки, значит — на западе. Когда все так прояснилось, я выправил бумаги... И прискакал.

Санд взглядывает на Адама.

Пьер. И все ж, какова модель, ибо мне пора. Наверху, как я уже слышал, — банальное царство небесное. А каков тогда низ?

Мистр. Ты его скоро увидишь (*не давая Пьеру ответить*). Я вас опечалю, madam, но этот несчастный, которого вы так превозносите, за гордыню и лютую лживость уже обречен переродиться в животное.

Пьер. Аврора, кого ты нам привела?..

Мистр. Не скажу вам, в которое — возможно, в курицу, но возможно, и в борова. И если, оборони его Господи, попадет в добрые руки, где станут кормить, не скупясь, хлестать нечасто, а убивать небольно, просто хряснут камнем по голове, тогда придется повторно каяться.

Санд (*смеется*). Ты слышишь, Пьер, что тебя ожидает?

Пьер. A propos, мне совсем не смешно. Я не любитель грубых аллегорий.

Мистр (*кричит*). Держите ее!.. За язык! Тьмою объята душа — почто вы ее толкаете в пропасть?.. Восхваляете ее лживость... Поодиночке небес не достигнете... Только все — скопом. (*Указывает на Пьера.*) А таких надо будет ждать.

Пьер разражается хохотом.

Санд. Пьер, но разве не родственны ваши наития? Эти ступени от скотины до неба — они аллегория цивилизации. Тут я вижу социализм.

Пьер (*в изумлении*). Аврора...

Санд. Его изложение, разумеется, более примитивно и архаично... Но это — социализм.

Пьер. Однако, Аврора, он ведь насквозь нелогичен. Мне странно, что вы, созидатели, слушаете всякую чепуху...

Мистр. Я войду в тебя. (*Адаму.*) Он мне весьма подозрителен.

Санд (*Мистру*). Видите ли, сударь, мы интеллектуалы, мы привыкли обосновывать излагаемые утверждения...

Мистр. Madam, вы лаете.

Санд. Что вы сказали?

Мистр. Для веры надобно верить... А вы тут пихаете разум. Прячьте его — он смердит. Он — чирей, мадам, нарост.

Санд проглатывает оскорбление. Пытается закурить.

Санд. Адам, за компанию? Мы покинем вас, fellows, на одну цигаретту. Пьер, ты так ничего не попробовал?

Пьер. Готовлюсь к свинскому состоянию. (*Смеется.*) Ведь не станешь есть свои уши.

Адам и Санд отходят в угол ресторана.

Господин Товяньский, я правильно произношу? Вы для меня совершенная экзотика. Безнадежное отставание от моднейших течений...

Адам и Санд закуривают.

Адам. Можешь ничего не говорить...

Санд. Нет, Адам, он в самом деле очень забавен. Категоричен, некорректен — и это даже по-своему импонирует. Но для Парижа он совсем не годится. Ты заметил, как на него реагирует Пьер? Так же отреагирует и Париж...

Пьер (*Мистру*). Вам знаком Сен-Симон, другие мыслители Франции?..

Санд (*Адаму*). Не подумай, что я смущена, я пила с деревенскими и еще не такого хлебнула. Мне даже понравилось, как он со мной разговаривал. Откровенно, как мужчина с мужчиной. Однако он только лишь говорит, Адам, он совершенно не слушает. Не сердись, у меня не было какой-либо предубежденности. (*Гасит цигаретту.*) Приобщимся к пророкам.

Возвращаются к столу. Санд удивленно смотрит на Пьера, уплетающего свиное ухо.

Санд. Пьер, ты столь радикально изменил мнение о литовской кухне?..

Пьер (*сует Санд свою вилку с нанизанным свиным ухом*). Вот, выкуси.

Санд (*отодвигается*). Не хочу.

Пьер. Угрызи яблоко с Господнего древа...

Санд. Пьер, довольно паясничать...

Пьер. И сподобишься творить, как Всевышний...

Санд. Отстань! Хватит мне до́ма Шопена с его бравурами[1] пародийного жанра. (*Адаму.*) Как он вчера изображал Луи-Филиппа!

Пьер ударяет головой о стол.

О Господи, Пьер, что с тобой?

Пьер озирается и смотрит на Санд безумным взглядом.

(*Неуверенно.*) Хватит меня разыгрывать! Налопался киселя...

Пьер. Буду трясти эту яблоню...

Санд. Пьер...

Пьер. Пока не примешь плодов ее. (*Ударяет головой о стол.*)

1. Бравура [bravoure (*франц.*), bravura *(итал.)*] — показная удаль, бравада. (*Прим. ред.*)

Лицо Санд каменеет. Она всматривается в Пьера, переводит взгляд на Мистра.

САНД. Пьер... Слышишь меня? Если ты замагнетизирован...

Пьер бьется головой о стол.

Адам, вели ему прекратить...

ПЬЕР (*выставив вилку*). Грызи — и он прекратит.

АДАМ. Делай, что он говорит, Аврора...

Санд трепетной рукой берет вилку и откусывает от уха. Пьер, запрокинув голову, демонически хохочет и бросает ей другое ухо.

ПЬЕР. Прикройся... Не являй нам свои прелести!

САНД. Господи, сущий на небесах, да святится имя Твое...

ПЬЕР. И когда Господь спросит, откуда узнала, женщина, о наготе своей...

САНД. Да приидет царствие Твое...

ПЬЕР. Уж не ела ли ты яблоко от запретного древа...

САНД (*кричит*). Не сдавайся ему, Пьер...

ПЬЕР. Отвечай, что я, змей сада Его, генерал Его ангелов, дозволил тебе познание плоти. Я ее реабилитирую. (*Ударяет головой о стол.*)

САНД (*кричит*). Помогите, он убьет его!

ПЬЕР. Так Ему и скажи: сатана мне все разрешил...

Вбегает КЕЛЬНЕР, хватает Пьера за шею.

САНД. Что вы делаете? Это ведь не скотина... Это Пьер Леру, философ.

КЕЛЬНЕР тащит ПЬЕРА прочь. САНД выбегает за ними. Мистр салфеткой стирает пот со лба.

МИСТР. Есть конфета, Адам?

АДАМ. Нет.

МИСТР (*кивает*). Всего не предусмотришь... Вот же змий, а я не признал, пока не вошел. И где угнездился — в Париже! В самом центре всего человечества!.. (*Бросает салфетку на стол.*) Между прочим, суп вкусный. Совсем как в Литве. Как полагаешь, они ввозят крапиву?

АДАМ (*встает*). Не знаю. Возможно, выращивают...

МИСТР. Глупость — выращивать сорняки!.. Хотя... Если они с этим слизнем носятся, как с цветком, и еще орошают всякими славословиями... (*Вернувшемуся кельнеру.*) Благодарствуй, брат. Это место да святится в веках!..

АДАМ и МИСТР уходят. Кельнер вместе с остатками пищи смахивает в ведро книги Пьера Леру.

Темнота

Действие II

Сцена 1

Квартира Бальзака — темная и аскетичная. На столе — кофейный сервиз, кипа бумаг, перья и чернила. Между столом и шкафом — ванна. В ней, по горло в воде, лежит Бальзак. Входит Адам.

Бальзак. Бонжур, Адам. (*Выныривает.*) Садитесь, располагайтесь. Простите, что принимаю вас в столь "сыром" состоянии, но мой домоправитель запил. Приходится потеть самому.

Адам (*пристраивает на вешалке цилиндр*). Ради всего святого, Оноре...

Бальзак. Мобилизую силы — готовлю себя к творческой каторге. Вы себя как-нибудь стимулируете перед творческим актом?

Адам (*садится к столу*). Для меня это неактуально...

Бальзак. Понимаю. Поэтам легче в этом вопросе. А романисты — это... битюги. Мулы, локомотивы. Одна задница чего стоит. Если она слаба и безвольна, роман уже не напишешь. Дамы меня пытают, откуда беру вдохновение. Указываю на этот источник, а они почему-то оскорбляются. Но это же так натурально: у них оттуда берутся дети, а у меня — книги. Наливайте кофе, пока он горяч. (*Вылезает из ванны.*) Еще раз прошу меня извинить за столь откровенный вид. Просто, когда ты в долгах, приходится экономить время.

Адам. Поверьте, меня это не задевает...

Бальзак (*вытирается*). Досадней всего, что я этих сумм и в руках не держал. Мог бы хоть пошуршать, а теперь вот засунул в дело, и жду, пока нарастут дивиденды. Как вы с этим всем управляетесь?

Адам. С чем?

Бальзак. Есть у вас акции, инвестиции? Как вы изыскиваете средства?

Адам. Беру плату за лекции. Раз в месяц.

Бальзак. Угу. Без перспективы, зато стабильно. А я инвестирую, последнее время — в землю. (*Собирает разбросанную одежду.*) Купил участок. Некрупный, под Парижем, по дороге на Версаль. Думал дачу соорудить. Но что значит — нюх, деловой инстинкт! Наткнулся на клад!

Адам. Монеты?

Бальзак. Железная дорога. По моему участочку решили вести линию Париж-Версаль. Пришлось расширить закуп-

ки — такой шанс не повторяется. (*Прикрывается дверцами шкафа.*)

Адам (*не понимает*). Будете строить магистраль?

Бальзак. Железная дорога — лишь знак. Ее потенциал я использую, разместив на своем участке элитный парижский пригород — Новый Сен-Жермен. (*Одевается.*)

Адам. А как же — со старым?

Бальзак. Исчезнет. Они и теперь уже там не вмещаются, трутся гу́зками, а у меня — простор. Покой, сельские ароматы... Элита покинет за́мок, сядет на скорый поезд и спустя четверть часа сойдет в центре Парижа. (*Причесывается перед шкафным зеркальцем.*) Вижу, вы не слишком сведущи в негоции.

Адам. Не стану скрывать...

Бальзак. А мне, увы, она потребна. Врожденный дар не пристало пускать на ветер!

Адам. На когда намечена?

Бальзак. Что?

Адам. Эта линия.

Бальзак. Уже год, как действует. Покупателей покамест немного, говоря языком цифр — ни одного, но для серьезной инвестиции требуется терпение. К счастью, терпения хоть отбавляй, мы — седалищное поколение. Поглядите, Дюма с Гюго — трудяги, локомотивы, за месяц книгу высиживают. Покойный Пушкин — русский, с присвистом, но тоже локомотив. Кстати, вы ведь с ним были друзья... Раскройте мне одну тайну. Давно желаю спросить... (*Приносит черный Наполеонов бюст.*)

Адам. Спрашивайте...

Бальзак: Вот это. (*Водружает бюст на стол.*) Правда, что он был негр?

Адам. Вы разумеете его кровь, темперамент?..

Бальзак. По всем этим иллюстрациям я так и не понял. Рисовальщики нынче себе позволяют самые гнусные извращения. (*Начищает бюст тряпкой.*) Посмотрите на это изваяние. Я велел Франсуа купить, лишь попросил, чтоб недорого. Он вот что мне приволок. Узнаете?

Адам. Бонапарт.

Бальзак. Но почему такой черный? Каков тут помысел?

Адам. Не знаю... Меня это не смущает.

Бальзак. Это счастье, что к заднице Бог нам добавил еще и воображения, а рядовой человек растерялся бы. (*Указывает на бюст.*) Его, кстати, тоже волнует... Тема, ради которой я вас позвал. Поможете в одном вопросе?

Адам. В каком вопросе?

Бальзак. О польках. Я хотел бы воспринять их мышление. Каковы они, Адам?

Адам. Польки?

Бальзак. Да.

Адам. Разные.

Бальзак. Но в аллегорическом смысле — львицы, гидры, гадюки?..

Адам. Вам требуется для романа?

Бальзак. Для романа. (*Садится напротив Адама.*)

Адам. Я сказал бы — львицы. Хотя всякие попадаются...

Бальзак. Но доминируют хищницы?

Адам. В моем окружении — да.

Бальзак (*бюсту*). Слышите, император?.. Какой зверь пожрал вас... Мария Валевская — великая любовь Бонапарта. Бедняге пришлось присягнуть, что он вызволит из-под русских Польшу, тогда лишь она легла под него. А финал этой клятвы — известен.

Адам (*горячо*). Только не обвиняйте Польшу в Бонапартовом крахе...

Бальзак. Не надо политики, Адам. Знаю эту польскую пылкость... Но я не лезу в политики. Меня занимают женщины. Женщины и инвестиции. И отчасти — романы. А тут первый роман, который никак не могу закончить.

Адам бросает взгляд на лежащие рукописи.

Адам. Какой роман?

Бальзак. С полькой. Непристойно богата. Десять лет я неотступно ее добивался. Кормился ее обещаниями о слабом здоровье мужа. И наконец-то произошло, хотя и тянулось дольше, чем мы надеялись. (*Кладет на стол черный конверт.*) Месяц назад мы его лишились.

Адам вертит в пальцах и возвращает конверт.

Адам. Поздравляю... Если это уместно...

Бальзак. Она передумала. Видите ли, ее там — на Украине — достигли злобные сплетни, будто я в пору нашего телесного несоития позволил себе две-три эротических эскапады. Но мужчина — это не женщина, он нуждается в реализации... Она, кстати, знает вас. Как любовника своей сестры. Ну же, покопаемся в прошлом. Она — Эва. Эвелина.

Адам качает головой.

А если — Каролина?

Адам. Вы уж остановитесь на ком-нибудь...

Бальзак. Мы могли быть родней, хоть я со своими долгами не самый желанный шурин. Скажите, как получилось, что она не вышла за вас?

Адам. Кто такая?

Бальзак. Старшая. Та самая, с кем вы скитались по мусульманским землям, воспели ее и все эти степи в своих Крымских сонетах...

Адам. Это был только лишь эпизод.

Бальзак. Из них и родятся романы.

Адам. Кроме того, она была замужем...

Бальзак. Для меня это — не аргумент. (*Склоняется к Адаму.*) Адам, я наслышан о вашем бурливом прошлом. Женщины вас любили. Пожалуй, вы и теперь способны вскружить не одну голову... (*Отпрянув, кивает.*) Эпизод — понимаю. Такой у вас — у поэтов — норов: начать и не кончить, намекнуть и не объяснить. А я — романист... И уж когда люблю — то люблю. Быть может, иначе, нежели вы — романтики... Неотрывно от капитала, лесов, земель и холопов, которых у ней — тысячи две... Но я люблю и хочу понять, за что она меня мучает? Кто они: козы или гадюки? Смертелен ли их укус?

Адам. Как видите, я живой.

Бальзак. А больно было?

Адам. Не слишком.

Пауза.

Бальзак (*бюсту*). Что ж, будем ждать, ваше величество. Будем слать письма без маршалов, будем требовать аудиенции... Перед отданием себя в каторгу всегда наблюдаю этого крашеного истукана. Мобилизует амбицию. (*Адаму.*) Знаете, почему он так скоропалительно бежал из Москвы?

Адам. Морозы...

Бальзак. Чересчур банально. Он постиг, что завоевал пустоту. И удивился, что кто-то ее защищает. (*Уносит бюст в шкаф.*) Любимейшее Эвино место из ваших "Крымских сонетов": "Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать..."

Адам. "И зов Литвы..."

Бальзак. "И зов Литвы... Но в путь! Никто не позовет..."[1] Даже обиделась, когда я написал свое мнение. Но согласитесь, в Париже — не звучит. А там, видимо, звучит. Му-

1. Перевод И. Бунина.

жики укладываются в избах спать, слуги уходят, она одна, вдова, поместье огромно. Ходит по комнатам. За окном шумит лес, дикая птица кричит. Темень, глушь, голоса... (*Взбалтывает чернильницу.*) Или нам в самом деле суждено разминуться со своими мирами?

Адам. Вы еще можете этого избежать.

Бальзак (*задумывается*). Темень, глушь, голоса... Но в путь! Никто не позовет. (*Отделяет часть нетронутых листов, кладет против Адама. Склоняется над своими бумагами, окунает перо в чернила.*) Попробуйте чернила. Разбавлены.

Адам. Зачем?

Бальзак. Чтобы поспеть за мыслью. Раньше рука отставала, приходилось останавливаться и ждать... (*Правит рукопись.*) Понравится — открою рецепт. Пишет бледнее, но мягче. И не рвет бумагу.

Адам отстраняет от себя бумаги.

Напрасно. Хорошие чернила. Писать — одно удовольствие.

Бальзак все ускоряет темп письма. Бормочет что-то неясное и смеется. Адам тихо встает и уходит.

Сцена 2

Пустая квартира Мицкевичей. Звонок в дверь.

Голос Целины. Ксавера, открой.

Входит Шопен. Оглядывается. Пробегает рукой по клавишам. В углу является Целина, повязавшая передник поверх русской стеганки.

Целина. А хозяина нет.

Шопен оборачивается.

Шопен. Я к пани Адамóвой.

Целина молчит, вытирает руки о передник.

Пани тоже нет?

Целина (*неуверенно*). Я... Пани.

Шопен. Фредерик Шопен, фортепианист...

Целина. Я узнала.

Пауза.

Шопен. Можно присесть?

Целина. О да. (*Идет к столу.*) Но я не знаю, скоро ли он вернется?

Шопен. Я к вам, пани Целина.

Целина садится. В испуге смотрит на Шопена.

Целина. Почему вы так... магнетически на меня смотрите?

Шопен (*садится напротив*). Простите. Смотрю и вижу вашу маму. Оказывается, столько лет живем рядом, а я о вас ничего не знал... Адам о семье не распространяется...

Целина. Да, Адам не охотник меня афишировать.

Шопен. Жена и жена... Дети...

Целина. И тому есть причины: я не совсем здорова. Да и мне самой лучше до́ма. Только боюсь, когда он долго не возвращается. Опасно в этих салонах.

Шопен. Пани, уверяю вас...

Целина. Когда мама их устраивала в Петербурге, приходило много знаменитостей. Мы с сестрой собирали подписи. А едва появлялся Адам, женщин прямо пот пробирал... Терпкий запах такой, неприятный, мужчин приманивать. (*Рукой, как веером, разгоняет воздух.*) Мама над Пушкиным смеялась, говорила, до чего же он некрасивый, кудлатый... А перед Адамом... как-то подтягивалась и все вокруг затмевала собой. Он потом подходил, гладил меня по голове... Иногда брал за́ нос, небольно, как маленькую, вот так. (*Берет Шопена за нос.*) Странно, если подумать, что теперь я ему рожаю детей. Будь мамочка жива, она бы нам этого не позволила. Выгнала бы меня с детьми, Адама себе оставила.

Шопен. Вы так на нее похожи...

Целина. Не ровняйте нас, пан, ею восхищались Гёте и сам Бетховен...

Шопен. О да...

Целина. А мной только Зося, и то — если вовремя ей плачу́.

Шопен. Пани, для меня великая честь заодно с этими покойными гениями поклоняться матери вашей.

Целина (*изумленно*). Но она вам годилась бы в матери...

Шопен. Она мне и есть как мать. В музыкальном смысле. Я как фортепианист, можно сказать, порожден ее редким талантом.

Целина (*ревниво*). Талантом...

Шопен. Ее музыкой.

Целина. А я получилась обычно, в родах. И талантов не унаследовала. Потом вышла за Адама, думала, буду служить его гению, но Адам неприхотлив, ему от жены немногое нужно: только борщ и зразы с картофельным пюре. Не любит французскую пищу. Итальянскую кухню еще бы вытерпел, но я не умею по-итальянски.

Сколько раз готовила эти их равиоли, а выходят одни пельмени. (*Поднимается.*) Я как раз наварила, не хотите отведать?

Шопен. Благодарю, пани Целина, я чувствителен к пище, мне мало что можно.

Целина садится.

Целина. Мамулечка была бы рада такому поклоннику. И Адам вами восхищается. Как человеком — не очень, зато боготворит вашу музыку. Даже иногда просит: поиграй мне прелюды этого клоуна. Говорит, в тех салонах вы любите смешить публику, представляться то одним, то другим.

Шопен. Обладаю этим небольшим талантом.

Целина. Порожденье ее таланта... Жаль, не слышит, она бы хотела такого сына. Она любила мужчин. И мужчины ее любили. Такая свободная, независимая...

Шопен. Она была очень свободна...

Целина. Очень. И красива, и так сохранилась...

Шопен. На вас похожа...

Целина. Я ее копия. Когда я прокралась к Адаму, он так на меня смотрел... Потому что я очень похожа. Он все ждал, когда я созрею и буду такая же, как она. И теперь ждет. Я даже пробую говорить, как она́, но смешно выходит. Голос у меня слабый. И пальцы грубые. От работы. Она была такая горделивая и женственная сразу. Потому и вы от нее родились. Такой нежный, немужественный, а в музыке сильный. Будь мамочка жива, она взяла бы вас в семью. Я бы о вас заботилась...

Шопен. Мне хватает заботы.

Целина. Но мамочки нету, я теперь вместо нее.

Входит Ксавера.

Ксавера. Целина, почему там внизу столько обуви? И зимняя, и осенняя, и Марыськина, из которой она давно выросла. Нельзя же так опускаться!..

Целина. Ксавера, это пан Шопен — самый великий поляк после Адама.

Ксавера подходит к Шопену.

Ксавера. А мы на занятиях пения про вас кое-что учили! И не думала, что — такой молодой, магнетичный...

Целина. Ксавера прибыла из Вильны. Служит у нас гувернанткой.

Ксавера. По просьбе Мистра и пана возмещаю Целину в ее брачных заботах.

Целина. Мои болезни принуждают нас так поступать. Чем в доме больше женщин, тем сохраннее дети и Адам.

Шопен машинально пожимает протянутую Ксаверой руку.

Ксавера. Целина, у тебя в доме такой гость, а на столе — пусто.

Целина. Пельмени предлагала — не хочет.

Ксавера. А печенье, что Зося купила?

Целина. Съела Марыся...

Ксавера. Всё?

Целина. И я еще несколько.

Ксавера (*осуждающе*). Правильно... Уплетай печенье. А случись припадок, кто тебя, толстую, будет таскать?.. (*Садится подле Шопена.*) Маэстро, а вы были вчера в Нотр-Даме?

Шопен (*холодно*). Нет.

Ксавера. Вся парижская Полония там была.

Целина. Мистр обещал, что спустя полгода Польша будет свободна и это произойдет само по себе. И мы все поедем домой.

Ксавера. А вы, маэстро, поедете?

Шопен. Нет.

Ксавера. Не поедете в свободную Польшу?

Шопен. Прошу прощения, но этот пан и его вранье меня не интересуют.

Лицо Ксаверы искажает гримаса злобы.

Целина. Но, пан Шопен, как было красиво! Мистр говорил не с амвона, как мы привыкли, а прямо среди людей. Кто хотел, мог до него дотронуться. А когда он это сказал, все рыдали от счастья. Только полгода и без всякой крови, само по себе... Никто и мечтать не мог, что все так легко разрешится.

Ксавера. Мне кажется, пан Шопен уже сожалеет, что не присутствовал. Хотите, я вас лично представлю...

Шопен. Повторяю, панночка гувернантка, меня этот театр не касается! Я не верю подобному вздору...

Ксавера (*сверкает глазами*). Вы верите передергиваниям и боитесь отдаться...

Шопен. Боюсь. Такой ответ для вас приемлем?

Пауза.

Целина (*встает из-за стола*). Пойду, приберу обувь...

Шопен. Пани, если вы уйдете, я тоже ухожу.

Целина садится.

Ксавера. Жаль, что такой знаменитый поляк жаждет переродиться в скотину. (*Возвышает голос.*) Попомните, сударь, что псов к роялю не подпускают. У них чересчур короткие пальцы и очень уж грязные лапы.

Целина. У Марыси вот-вот кончится гимнастика.

Ксавера (*оборачивается*). И что?

Целина. Ты бы пошла за ней, привела...

Ксавера пронзает Целину ненавидящим взглядом.

Ксавера. Я уйду, Целина. Но ты знаешь, у меня есть уши. И много ушей, о которых ты не знаешь! Любое слово отсюда следует прямо...

Целина (*опускает глаза*). Знаю.

Ксавера встает и уходит, хлопнув дверью.

Шопен. Целина...

Целина. Прошу вас, не говорите...

Шопен (*торопясь, чтобы его не прервали*). Я лишь хочу сказать, что ваша мама была не только величайшая фортепианистка Европы, но и одна из самых свободных женщин на свете. Как вы могли столь бесповоротно отказаться от ее линии...

Целина. Умоляю...

Шопен. Дать над собою волю всяким шарлатанам и гувернанткам!..

Целина (*громко*). Пан Шопен, замолчите...

В дверях стоит Ксавера. Целина видит ее, Шопен — нет.

Шопен. Вы наиболее угнетенная женщина...

Целина. Ксавера, ты еще не ушла?

Шопен поворачивается к дверям.

Ксавера (*медленно приближаясь*). Пан Шопен... Если вам так нравится грызть стены этого дома, грызите. Дыры я после заделаю, для того и прислана. Только знайте, пан, ничто не останется без ответа. Если мы вас начнем грызть, загрызем насмерть. (*Целине.*) А в тебе, Целина, я чую страх, но не веру. Пора бы тебе определиться, женщина...

Целина (*опускает глаза*). Да.

Шопен пытается выдержать взгляд Ксаверы. Ксавера презрительно смеется и выходит. Слышны ее удаляющиеся шаги.

Шопен. Как тут не заболеть...
Целина. Замолчите, сжальтесь, не мучьте...
Шопен. Но она ушла! Я слышал шаги...
Целина. Но я пока здесь. (*Дрожит.*)
Шопен. Господи, в кого они вас превратили... Эта фанатичка... гувернантка...
Целина (*строго*). Не черните Ксаверу... Разве она не чудесна? Такая славная, красивая, мудрая... Еще Марысю обучает пению, о Мистре с ней говорит, я бы так не сумела... красочно.
Шопен. Бедняжка Марыся. Адам...
Целина. Он вовсе не бедный, напротив, теперь даже очень счастливый... Когда перестал писать, всё ме́ста не находил. А начал служить Мистру, и все у него наладилось.
Шопен. Что вы говорите? Он пишет?
Целина. Писать он уже не начнет. Недавно еще пугал нас, что, мол, возьмет свою дудку литвинскую, это значит — вернется к поэзии. Но теперь уже нет. Мистр не ценит его поэзию, он и сам не ценит.
Шопен. Вы должны воскресить его.
Целина. Сударь, я не Аврора... Адам не ~~раз~~ говорил, как вы от нее питаетесь.
Шопен. Глупости, пани Целина...
Целина. Я пригодна только детей рожать, а поэзию — нет...
Шопен. Вы можете, пани, вы просто обязаны...
Целина. Если бы тут была мамочка...
Шопен. Не ради себя, ради Польши, которая истосковалась по его голосу...
Целина. Фредерик, я — нездорова.
Шопен. И я нездоров.
Целина (*со слезами*). Но я нездорова душевно!
Шопен. Глубоко сомневаюсь...
Целина. Но как же вы ничего не видите?!
Шопен. Что вы загнаны?..
Целина (*кричит*). Я — безумна.

Шопен растерянно смотрит Целине в глаза. Начинает кашлять и, кашляя все сильнее, идет к дверям.

Шопен (*сквозь кашель*). Простите, мне надо на воздух.

Несколько раз оборачивается к Целине. Выбегает. Слышен его угасающий кашель. Целина с каменным лицом, не вставая с колен, двигается к роялю, открывает крышку, словно там ищет снадобье от своей болезни. Играет и начинает выть. Она рыдает истошно, взахлеб, лихорадочно заглатывая воздух и превращая его в нескончаемый рев.

Целина. Мама, мамочка, забери меня в Петербург. Ма-ма...
(*Не закончив такт, с треском захлопывает крышку рояля.*)

Сцена 3

Квартира Мицкевичей. Комната в клубах табачного дыма. Адам сидит в кресле, укрывшись пледом, пишет. Дым рассеивается. Против него на коленях Ксавера в черном траурном платье, на лице — накидка.

Ксавера. Положи...

Адам (*вздрагивает*). Господи, Ксавера... Ты почему в таком наряде?

Ксавера (*вырывает у Адама записи*). Положи бумаги.

Адам. Это моя завтрашняя лекция.

Ксавера. Убери плед — будет жарко. Хочу исповедоваться.
(*Стаскивает с Адама плед.*)

Адам. Что она снова наделала?

Ксавера. Она убогая... От нее одни трещины.

Адам. Она старается...

Ксавера. Недостаточно.

Пауза.

Адам. Хорошо, я сообщу Мистру...

Ксавера. Я ее услала гулять с детьми. Она все уже знает...

Адам. Что?..

Ксавера. Я велела, чтобы нам не мешали.

Адам тянется к бумагам.

Адам. Прости, у меня завтра лекция... (*Вдруг понимает.*) Господи, что ты ей сказала?..

Ксавера. Мистр этого хочет...

Адам. Ты сказала моей жене?..

Ксавера. Он тебя любит, Адам. (*Целует сквозь вуаль его руки.*)

Адам. Что ты ела нынче, Ксавера?

Ксавера. Я — ваш мост, Адась...

Адам. Не лижись, ты меня волнуешь...

Ксавера. Тело, которого вам не хватает...

Адам. Ксавера, нам еще жить...

Ксавера. Я и хочу жить... Не желаю больше прислуживать.

Адам рывком высвобождает руки. Трясет ее за плечи.

Адам. Что ты ей сказала? (*Уже не трясет, а гладит.*) Господи, как ты меня волнуешь...

Ксавера. Давид, ты в поту... В тебя вновь входит жар...

Адам. Пойду цепочку наброшу...

Ксавера (*удерживает Адама*). Зачем ты нас мучаешь?.. (*Вцепившись в сюртук Адама, медленно к нему приближается.*)

Адам. Она все равно бы думала...

Ксавера. Да...

Адам(*прикрывает глаза*). Господи, как ты пахнешь... Мистр хочет...

Ксавера. И я. Как Ксавера... Как тело... (*Целует.*) Я желаю тебя как женщина. Всего. Жилы. Кожу. Вены... Они так заметны. Так выпуклы.

Адам(*хмелея*). Это я много курю.

Ксавера. Это ты много любил...

Адам. Это табак, Ксавера...

Ксавера. И еще больше жил...

Адам(*касается ее накидки*). Открой свое лицо...

Ксавера. Адась... Я хочу там.

Адам. Где?

Ксавера. На ложе твоей львицы.

Адам содрогается.

Адам. Ксавера, но это жестоко...

Ксавера. Не мелочись, Адасик... Я забираю тебя всего, не предлагай себя по частям...

Адам (*трясет ее*). Ты хочешь ее уничтожить... (*Уже не трясет, а гладит.*) Какая же ты хищная... Твой запах...

Ксавера. Она — львица... Учует, что я там лежала...

Адам. Господи, как ты пахнешь... И так ты пахла все время...

Ксавера (*кричит*). Сорви же меня наконец...

Адам поднимает вуаль и целует ее.

Адам. Ты откуда взялась?..

Ксавера. Пей, Адась. Это от Мистра. Это он меня посадил.

Адам (*берет Ксаверу на руки*). Господи, что я делаю... (*Уносит Ксаверу.*)

Сцена 4

Аудитория Collège de France переполнена слушателями, среди них — Целина, Ксавера, Маргарет, Санд, Шопен. Все сидячие места заняты, люди стоят в проходах. Входит Адам в черном сюртуке, похожим на тот, что у Мистра. Просветлевшим взглядом окидывает зал. Открывает записи.

Адам. Славянская литература, четвертый курс, лекция десять. (*Захлопывает тетрадь.*) Господа! В начале, повест-

вует святой Иоанн, было Слово. С тех пор мировое человечество неустанно стремится воплотить, вотворить Его.

Что оно есть — то мгновение, когда артист в наброске, в эскизе провидит черты грядущего своего создания? Мгновение это — и есть Слово его духовного творчества. Мгновение, когда Архимед подпрыгнул от счастья, что раскрыт секрет математики, было Слово. Миг, в котором Ньютон воскликнул: вот закон тяготения, — был само Слово.

Трудно обрести слово, то лучение Слова Божия, еще труднее — познать его. Не достигнет оно людей, затворившихся в прошлом, не проникнет в разум, который упрямо глядит в направленье заката — как он у́зрит зарю рассвета?

Вот зачем прошлое неуклонно противится Слову и свирепо с ним борется. (*Обводит взглядом аудиторию.*)

Воображаете ли Христа в Древнем Риме? Бродящим посреди римлян с ученьем своим... И как он стучится к Горацию... Мог ли он быть услышан греческими софистами? Вспомните, господа, каков Он был, Его путь. Первые, кто узнал Христа, были простолюдины, бедный народ без царей и без орудий власти, насильно оторгнутый от земли, от всего земного.

Лишь такой, истерзанный, человек может постигнуть Слово, коему суждено в грядущем торжествовать на Земле. (*Обводит взглядом аудиторию.*)

Эпохи совершают и завершают круг.

И вот уже ныне: племя славян, попираемое чужими, все мечты, все надежды вручившее Господу, было им избрано — первым из всех услышать Новое Откровение. А обломок сего великого племени, вечно мятущийся, вечно неукротимый польский народ — сброшенный, стертый с географической карты, обреченный скитальчеству, отгороженный от мира, — мог продлить себя лишь в одну сторону — (*кричит*) в небо! (*Вслушивается в собственное эхо.*)

Я, господа, не ученый муж, не теолог и не мое это дело — излагать перед вами истины Нового Откровения. Я лишь искорка, отпавшая от горнего светоча, и те, кто захочет узреть, откуда искра сия, раньше и легче меня обретут Того, кто есть Путь, Жизнь и Правда.

Мог бы я обратиться к вам, смел бы начать борьбу со всею вражеской гвардией, не будь я убежден: источник силы, которая окрыляет меня, не в земном человеке! И

пусть это станет живым свидетельством Нового Откровения пред лицом Неба и Бога.
Потому я у всех собравшихся тут поляков или французов, знающих сие откровение, требую, чтобы мне отвечали: Он явился... Да или нет?

Ксавера и Целина (*поднимают вверх правую руку*). Да...

Адам. Те из присутствующих поляков или французов, видевших сие откровение во плоти, видевших и познавших, что их Мистр грядет, пусть они мне теперь же ответят: да или нет?

Ксавера и Целина (*поднимают руку*). Да...

Адам. Французы! Для нас исполин ваш — не есть пустой звук. Когда-то мы его знали. Приняли кодекс его и пошли за гением на великие битвы Европы. Но где он теперь — ваш гений? Где он — ваш Человек? Укажите же нам его, мы готовы за ним последовать! Если ж нет, мы требуем: следуйте вы за нами. За нашим гением. За Человеком Польским! (*Внезапно срывается на крик*):

Patrz! — ha! — to dziecię uszło — rośnie — to obrońca!
Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.

Маргарет лишается чувств.

Kto ż ten mąż? — To namiestnik na ziemskim padole.
Znałem go, — był dzieckiem — znałem,
Jak urósł duszą i ciałem!
On ślepy, lecz go wiedzie anioł pacholę.
Mąż straszny — ma trzy oblicza,
On ma trzy czoła.
Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza
Nad jego głową, osłania lice.
Pod nożem jego są trzy stolice.
Trzy końce świata drzą, gdy on woła;
Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;
A życie jego — trud trudów,
A tytuł jego — lud ludów[1]...

1. "Дзяды", часть III, сцена 5. Перевод В. Левика.

Смотри, дитя спаслось, — растет
Народа дивный избавитель.
Кровь древних витязей... мать — из земли чужой...
А имя — сорок и четыре...
Кто он? Наместник он в юдоли скорбной мира.
Его я помню с детских лет,
Он возмужал в горниле бед!

Ищите, где он — этот муж. А узривших его во плоти, узривших и познавших, призываю, чтобы ответили: Он явился... Да или нет?

Голоса. Да...

Адам. Узривших и постигших, что их Мистр явился... Пусть они мне теперь отвечают: да или нет?

Голоса (*звучат наперебой*). Да... да.

Адам. Он явился?

Голоса (*кричат*). Да-аа.

Адам(*кричит*). Вы ощущаете его трепет? Воскреснувшего Христа?..

Голоса. Да-аа...

Адам. Христа — во всеоружии, карающего и дарящего милость!.. Христа Последнего Откровения...

Голоса. Да-аа...

Адам. Христа на Страшном суде?.. (*Вслушивается в собственное эхо.*) Донести вам сию великую весть было целью всей моей жизни.

Затемнение

Он слеп, но он парит средь ангельского клира.
Муж разума, в трех лицах он един
И три чела имеет.
Простерта книга тайн над ним, как балдахин...
Он воззовет — и мир немеет.
Своим подножием избрал он три столицы.
На три короны встал, но сам он без короны.
Народ народов — так его зовут,
И жизнь его — великий труд.

Юдита Вайчюнайте

Из книги “Гостиница Мабре”

Перевод Далии Эпштейн

Кино господина Микалаускаса

ГОСПОДИН Микалаускас — наш сосед с первого этажа. Это самый высокий человек, которого я когда-либо видела. Дяденька Микалаускас, когда растанцуется, может стукнуться макушкой о потолок, а потолки, надо сказать, у них не низкие. Его глаза смеются, и губы под темными усиками всегда улыбаются. Жена господина Микалаускаса — мамина подруга юности, они обе сестры милосердия, вместе работали в госпитале то ли в Вилкавишкисе, то ли даже в Каунасе. Есть у Микалаускасов доченька Беатриче — дивная малышка, любимица моей мамочки. Пройдет пара лет, и семейство Микалаускасов скроется за дымовой завесой войны, а вынырнет оттуда в далекой экзотической Венесуэле. У них родятся еще две хорошенькие, но неизвестные нам девчушки. Много лет спустя мама будет с умилением перебирать непривычные блестящие цветные снимки с видами неведомых краев. А еще позд-

© Judita Vaičiūnaitė, 1996
© Далия Эпштейн. Перевод, 2015

нее, уже умирая в раковой больнице на Заречье[1], она будет горько жалеть о нелепо оборвавшейся переписке. А покамест мы еще ничего не знаем. Вместе с мамой мы в гостях в уютной квартире Микалаускасов. Взрослые — на диване, беседуют, попивают кофе, а мы, дети, смотрим кино. Телевизор войдет в нашу жизнь еще нескоро — лет через двадцать с лишним. А сейчас на стенке натягивают простыню, и оживают ужасные приключения юного героя братьев Гримм, который отправился на поиски страха. Этот бесстрашный младший брат-дурак не боится ни мертвецов, ни скелетов, ни злых духов в заколдованном замке, ночь напролет он режется в карты со страшнющими котами и засыпает молодецким сном там, где другие трясутся от страха. И он испугался лишь, когда ему плеснули за шиворот студеной воды с мелкими рыбешками.

А мне жутко. Меня трясет от смутного страха — предчувствия беды, я боюсь темноты, покойников, боюсь смерти. Папа еще жив, вполне здоров, воздушные налеты пока впереди. Но черная зловещая пелена войны обволакивает город, улицу, наш дом и всю меня, я дрожу в своей белой кроватке из металлических прутьев, где со мной спит большой желтый мишка. Мама иногда украдкой плачет, и я слышу зловещее слово "Сибирь", но не вполне понимаю, что случилось с ее сестрами. Однажды я видела похожих на тени людей, поникших и сгорбленных, с желтыми звездами на одежде — их куда-то гнали по улице. Как-то мы с мамой шли мимо православного кладбища по проспекту Витаутаса, шумели зеленые-презеленые деревья, мы увидели, что церковь открыта, и любопытства ради зашли туда. Внутри стоял открытый гробик, в бело-розовых кружевах лежал младенец, точно кукла, над ним стояла сестра милосердия в немецком мундире и еще какие-то немцы-офицеры. Почему в церкви немцы? Как такая маленькая девочка могла умереть? Картина эта преследовала меня по ночам, я не могла от нее избавиться. Я еще ничего не знаю о сожженных и убитых еврейских детях в гетто Вилиямполе[2], о малолетних ссыльных, умерших от холода и голода, о вагонах для скота и ледяных полях, не знаю о пытках и расправах, заполонивших Литву, об унижениях, которых ей не избежать. Я пока что с сестрой Далей и мамой в гостях у господ Микалаускасов. Мы обе в одинаковых голубых платьицах уютно устроились на диване и смотрим кино про страхи.

1. Район Вильнюса. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Район Каунаса.

Мыльные пузыри

ЖАРКОЕ, солнечное летнее утро. Мы с Далей сидим на запыленном кривом металлическом брусе — заборчике, ограждающем тротуар от уходящей вверх мостовой. Мы сидим и пускаем мыльные пузыри. Нам нет дела до того, что по вечерам на окнах затемнение и что взрослые разговаривают, понизив голос. Лето в разгаре, и солнце прямо жжет. Мыльные пузыри отрываются от наших соломинок и летят прямо к небу — огромные, радужные. Сидим себе и самозабвенно выдуваем пузыри. Нас обступают три девочки — они издали наблюдали за нами, опрятненькие, в одинаковых клетчатых платьях и белых передничках. Стоят и смотрят во все глаза на нас, на наши соломинки и белую кружку с мыльной водой. Не утерпев, заговаривают — по-немецки. Мы не понимаем, что говорят немецкие девочки, но догадываемся, чего им хочется. Даем им подуть в соломинки. Так завязывается наша дружба. Мы видимся каждый день. Ein, zwei, drei кулачком по серой стене — прятки. Три сестрички — Криста, Ингрид и еще одна, малышка, чье имя растаяло в памяти. Они вместе с только что родившимся братиком живут неподалеку, за поворотом, в глубине улицы, в огромном многоэтажном доме. Мы с Далей не думаем о том, что их родители оккупанты, мы заходим к ним. Братика нам не показывают, но их мама в большой, просторной кухне угощает нас фруктовым супом — как странно: вместе с морковкой, огурцами, помидорами в нем плавают кусочки груши, яблока, ягоды. Пройдет совсем немного времени, и подвалы этого дома станут убежищем, где мы вместе с другими жильцами будем каждую ночь прятаться от воздушной тревоги. Мамин младший брат Владас, блондин и весельчак, рисовавший мне бумажных кукол, непонятно почему попадет в гестапо, неизвестно куда и как исчезнет. Мы никогда не узнаем, где покоятся его кости. Пока еще нет, но позднее я узна́ю, что сделали с несчастными согбенными людьми, у которых на спинах нашиты желтые звезды. Когда немцы начнут убегать, у Сумасшедшего дома в Старом городе, где работает отец, затормозит военная машина, и папе с семьей предложат эвакуироваться. Но папа наотрез откажется — он не бросит больницу, своих беспомощных пациентов, медсестер. Нет, он не покинет Литву. Он пока не знает, что за ним, словно тень, стоит смерть. А еще позднее Каунас наводнят немецкие детишки — голодные, грязные, оборванные. Никто не скажет мне, куда подевались три опрятненькие немецкие девочки, подружки моих детских забав. Что с ними сталось? О

них напомнит лишь растрепанная книжка “Семеро Краузиков” (“Краузе дом издалека / Так похож на все дома...”). А еще больше напомнят о них книжки в ярких твердых обложках с раскрасавцем принцем Aschenputtel (это Золушка) и Dornröschen (Шиповником). Но вот милые книжки и их замечательные картинки исчезли куда-то, туда, где обретается прошлогодний снег. Одни лишь мыльные пузыри, их радужный блеск остались в памяти.

Скрипка

ОСЕНЬ сорок пятого. Дома очень холодно. Мама в кухне красит свою красную кофту в черный цвет. Схоронили папу. Гроб в часовне Медицинского факультета утопал в цветах, возле него — почетный караул, студентки в национальных костюмах. Меня подталкивают к безмолвному папе прощаться, а я чувствую такой ужас, такое горе. Отец совсем не такой, как всегда, — без очков, без серого жилета с шелковой спиной, без пропахшего лекарствами белого халата. Я хочу одного — прижаться к Дале и лежать, как мы лежали, обнявшись, в двуспальной отцовской кровати в холодной квартире, когда утром пришла мама и сказала, что папы больше нет. Катафалк, лошади в траурных попонах, уйма людей. Такой короткий путь, такая длинная вереница провожающих. Зеленое кладбище посреди города. Большой белый носовой платок — кто-то мне подал и погладил по голове. Первый раз после похорон в классе по знаку учителя все встают, громко хлопая крышками парт. Как печальны эти почести, как печален этот знак траура — черная нашивка на рукаве пальто. Кажется, будто сердце остановилось. А ведь совсем недавно, и месяца не прошло, отец так радовался — он принес мне скрипку. Мою мечту. Мой бред. Я места себе не находила после спектакля “Люли-музыкант”, прожужжала родителям все уши: скрипку, скрипку! Я и ночью слышала скрипку — сквозь сон. И вот, наконец, просыпаюсь, надо мной склоняется смеющийся, сияющий папа, целует меня и подает мне скрипку. Настоящую детскую скрипочку — добыл на толкучке. Мой восьмой день рождения. Первое лето после войны. Теперь папы нет. Не верится, не укладывается в голове. Я все еще жду его. Но и кабинета отцовского больше нет — книжный шкаф отправился в университет, комнаты переделали, в квартире появились жильцы. Мы распродаемся — из дома исчезают картины, книги, посуда. Ночами мама вяжет узорчатые варежки, утром отно-

сит их в “Маргиняй”. Но в памяти всплывает и другое. Повеселее. Вот я хожу на уроки скрипки. Меня учит Александр Ливонт, только что окончивший Московскую консерваторию. Мой учитель молод, чернобров, с добрым, теплым взглядом. Уроки проходят в гостинице “Летува”, где он временно проживает. Дверь гостиницы массивная и вертится. Перед уроком можно вволю покататься. Отличная каруселька. Сегодня наш хор школы имени Винцаса Кудирки выступает в “Радиофоне”, как раз напротив гостиницы. После хора бегу на урок. Я в национальном костюме, сшитом мамой, в вышитом крестиком переднике, на шее янтарные бусики. Глаза моего учителя смеются: красиво. Ни слова не понимаю по-русски, а мой учитель — по-литовски. Он научил меня говорить: “Молодец, как соленый огурец[1]”. Впиваюсь глазами в фотографию молодой женщины в углу комнаты: снимок не цветной, а губы — ярко-алые. Однажды учитель ведет меня на балет “Коппелия”. Сам он играет на скрипке в оркестровой яме. Сижу, будто во сне. И в антракте учитель меня не забывает — уводит за кулисы. Как там холодно! Балерины в белых, вблизи довольно-таки потрепанных пачках, поверх которых накинуты кофты, пальто. Я глазею, а сама жую пирожное — учитель купил его мне тут же, в служебном буфете.

Но чудесные эти уроки недолго длятся. Над нашим домом нависает черная тень — чахотка. Папина болезнь. К привычным для меня словам “каверна”, “пневмоторакс” прибавляется новое, страшное “инфильтрат”, от которого бледнеет мама. Меня не пускают на улицу. Я не хожу в школу. Где-то существует чудодейственное лекарство, отец сказал, умирая, что такое есть. Но его не достать. Остается постель. Противный рыбий жир, таблетки кальция. Все время рентген. А по весне — гостеприимно распахнутая калитка сада доктора Владаса Кайрюкштиса в конце улицы Донелайтиса, где сходятся пологая Выставочная и проспект Витаутаса. Зеленые тени яблонь. Книга, взятая в гостеприимном доме директора Фонда печати Балиса Жигялиса. Бескорыстное тепло сердец совершенно чужих людей.

Я иногда открываю тяжелый деревянный, выкрашенный черной краской футляр с красной бархатной подкладкой. Точно гроб, выплывает он из обители моего детства. Отец умер, думая, что я стану скрипачкой. Брошенную скрипку мне долго не мог простить Пятрас Вайчюнас.

1. В оригинале по-русски.

Зеленый деревянный дом

ЭТОГО зеленого дома давно нет. Он жив лишь в воспоминаниях — моих и, быть может, тех, кто когда-то здесь жил или ходил мимо. Полиняв, он, можно сказать, стал не таким уж зеленым: чуть поблекший — как бы маячащий в дымке сновидений. А стоял он в самом конце улицы Гедимино, у поворота на улицу Путвинскиса — на высоком каменном цоколе, обращенный к ней длинным фасадом, плотно населенный и бурлящий, точно пчелиный улей, с дворницкой на углу, с террасой, глядящей во двор, и беседкой в саду. Я каждый день видела его в окно. Сегодня на месте былого красавца-дома стоит многоэтажка, а тогда в угловой дворницкой жила прачка терциарка[1], старенькая и одинокая, в белом платочке, низенькая и с огромным горбом. Как-то раз на мостовой перед этим зеленым домом стояла телега, запряженная смирной лошадкой, но без возницы, а к грядке телеги был привязан маленький белый песик. Этот песик больно меня укусил. В те далекие времена обычным делом было громко, на всю улицу, зазывать клиентов: "Точить ножи", а в дверь мог постучаться "кукольный доктор" — улыбчивый пожилой дядечка. Он собирал у детишек оторванные целлулоидовые головки, ручки-ножки и запихивал все в большой таинственный мешок. Через пару дней он появлялся и из своего огромного мешка извлекал целых кукол — совсем как новеньких. Шла война, в оккупированном городе никто игрушек не покупал. Добрый кукольный доктор мог разве что помочь истерзанным игрушкам. Спасибо ему. А тогда я об этом не задумывалась. В саду за зеленым домом я играла с киоскершиной Оной. Эта Она была воспитанница пожилой четы, девочка чуть постарше нас с Далей. Она открыла нам немало жизненных тайн. Отец, шутя, спрашивал, как дела в "школе" премудрой Оны. А я завидовала ей из-за киоска: сидеть в таком хорошеньком домике, точно в улиточной скорлупе, представлялось мне верхом блаженства.

Будто сквозь туман вспоминаю бывших жильцов этого дома: молодую белокурую Ольгу, она была скульптором и уехала в Польшу. Еще был студент — он ночью выскочил в окно звать на помощь, когда к нам ломились грабители. Была госпожа Синицина — величественная, седая, в то тревожное время отбывшая к сыну в Америку. Еще там жил с семьей художник-керамист Волдемарас Маномайтис, а еще глазник Эмилия Дактаравичене.

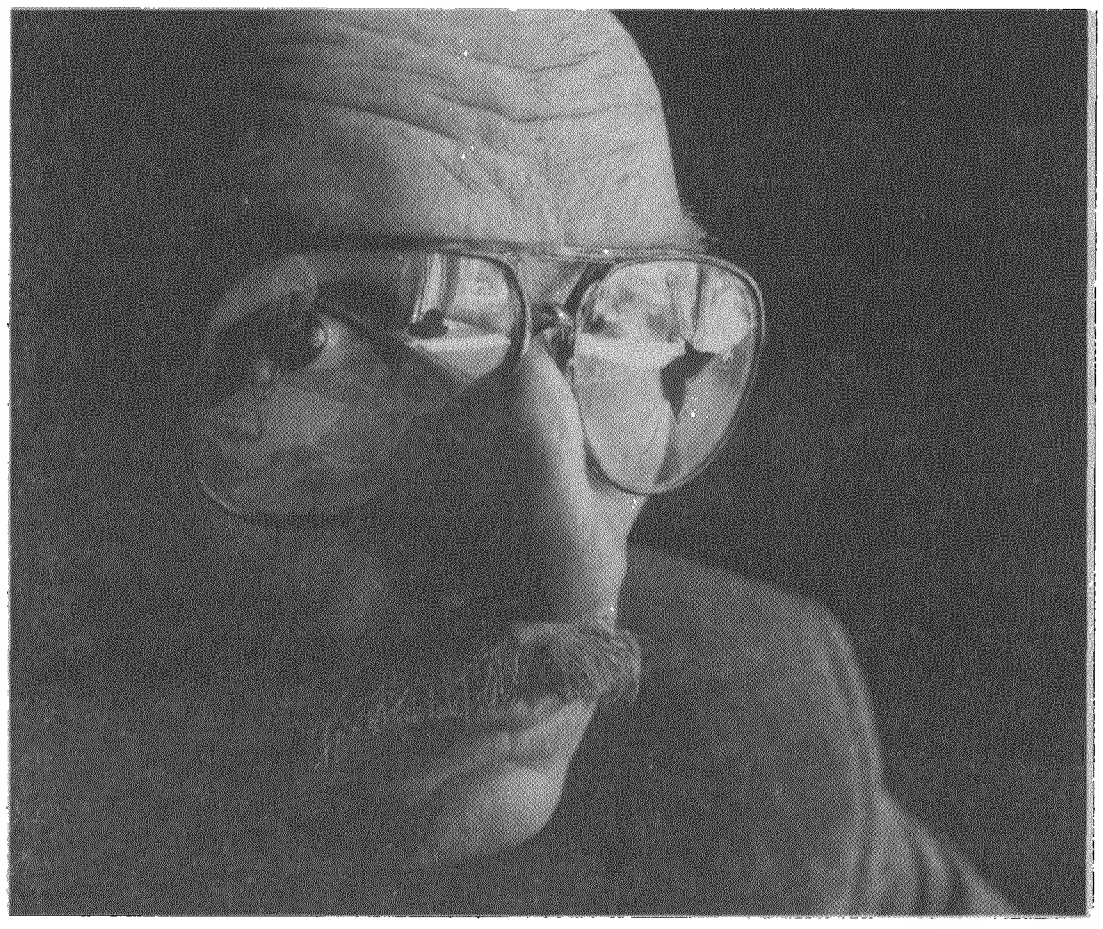
1. Терциарии — третий орден в монашестве, монахи в миру.

Я уже оканчивала школу, когда в полуподвальной комнатке этого дома поселилась мамина мама, наша бабушка Домицеля. В начале века совсем юная, из деревни Сталмокай на севере Литвы она уехала в Ригу, там обвенчалась с выходцем из наших краев работягой, родила и вырастила шестерых детей, которые появились на свет в разных городах: в Риге и Либаве, Эльбинге, Екатеринославе, Москве. И что-то от каждого из этих городов на ней отпечаталось. Маленькая, круглолицая, с прямыми темными, до самой смерти не тронутыми сединой волосами, собранными в тугой пучок, с блестящими серьгами в ушах. Ее жилище в полуподвале убого, но опрятно и полно всяких занятных безделок. На стене — пожелтевшая журнальная вырезка о трагедии Габсбургов конца прошлого столетия, овальные портреты Марии Вечеры и ее возлюбленного принца Рудольфа[1], завалявшаяся карта из старой колоды: дама пик в профиль. Коробочки из-под леденцов со сценами охоты или с ветряными мельницами — сейчас в них держат нитки, пуговицы или рваные бусы. У зеркала в вазе — павлинье перо или ветка с сухими фонарикам и физалиса наподобие вильнюсской вербы. В этой каморке бабушку мучили страшные послевоенные сны, которые сбывались, и она плача рассказывала их нам. Из шестерых бабушкиных детей одна лишь моя мама осталась дома. Остальные пятеро — в сибирской ссылке и лагерях. Четверых она все же дождалась. Дядя Стасис, которого жизнь основательно потрепала, в ее каморке вышивал цветными нитками — до чего красивы были эти черные шелковые подушки-думки с пухлыми алыми клубничинами! Однажды ночью, весь в крови, он ползком добрался домой через сад — красил стену костела и упал с лесов, стал на долгие годы полоумным и тихо угас. Бабушка Домицеля умерла еще до того, как снесли зеленый деревянный дом, в его же пристройке с ней и прощались. В каморке ютилась ее дочь, моя тетка Эляна, с мужем Пиюсом — вернулись из Якутска, где на веки вечные оставили у ледяного моря Лаптевых свою умершую маленькую дочурку.

Когда мне случается бывать на улице Гедимино, близ лестницы на гору сжимается сердце — до чего все переменилось. Из тумана всплывает зеленый деревянный дом, цветущие каштаны, которых давно нет.

1. Мария Александрина фон Вечера, баронесса (1871–1889) — австрийская дворянка, любовница австрийского кронпринца Рудольфа, по одной из версий историков совершившая вместе с ним самоубийство в Майерлинге; по другой — жертва тщательно спланированного политического убийства наследника австрийского престола.

Ричардас Гавялис



Безрукий

Перевод Татьяны Корнеевой-Мацейнене

Гражине Б. посвящается

В том краю зима длилась восемь месяцев. Другим временам года оставалось четыре.

Но река никогда полностью не замерзала. Ее течение, будто живое, должно было дышать воздухом и видеть мир. Она не поддавалась самым сильным морозам, была неодолима, как общее течение жизни высланных на ее берега людей. Погибнуть могли десятки, сотни, тысячи. Но никакая сила не могла погубить всех до одного.

По реке плыл одинокий, сколоченный из неотесанных бревенчатых обломков плот. Он продвигался вперед медленно, словно смертельно устал. Морозом гонимые звери приостанавливались на берегу и провожали его тревожными взглядами. Однако плоту они были неинтересны, он искал людей. А людей все не было и не было.

Плот был пуст. Только очень внимательно вглядевшись, можно было увидеть на среднем его бревне кривое блеклое пятно – то ли это был заледеневший зверек, то ли знак, а может, тусклый мираж, отблеск необъятных снегов.

Желание нахлынуло внезапно. Захватило не только душу, но и все тело, как будто болезнь долгое время таившаяся внут-

© Ričardas Gavelis, 1989
© Татьяна Корнеева-Мацейнене. Перевод, 2015
Фото Альгимантаса Александравичюса.

ри и ожидавшая часа своего триумфа. Витаутас Беранкис[1] размышлял, почему именно теперь. Возможно, виной тому была пенсия, море свободного времени и сладковатая тошнотворная пустота, за несколько недель окутавшая его жизнь. Обе дочери были поглощены заботами о своих долгожданных отдельных квартирах, а когда он пошел навестить могилу Оны, то не нашел слов, не знал, что ей сказать, не сумел ничего объяснить — четко сформулировать эту гнетущую, неумолимую жажду. Закурив у чугунной ограды могилы, он ожидал знака, призрачного ответа Оны. Но никакого знака не последовало. Мертвые предпочитают молчать, они не говорят даже в снах.

Уже восемь лет он каждую неделю писал ей по письму и по субботним утрам в пустой гостиной громко читал вслух. Писал обо всем: о запахе сирени, о крючковатом носе соседа, о контурах облаков, своем псе сенбернаре, о котором всю жизнь мечтал, но так и не завел — только воображал. Рассказывал Оне обо всем, как всегда, хотя иногда думал, что в этих письмах написал значительно больше, чем мог бы рассказать ей при жизни. Раскрывал перед ней свою тоску и слабость, о чем ни разу не проронил ни слова, когда она была еще жива. Не смущаясь, раскрывал перед ней свои странности и незначительные фобии: так, он всю жизнь панически боится рыб, письма родственников читает только в туалете, свято верит, будто в соседском коте живет душа друга детства Мартинаса. Не утаил даже того, что дважды был ей неверен. В письмах он был неизмеримо откровеннее, чем раньше, почти уверился, что может высказать в них абсолютно все. Но никогда не забывал, что это не так. Ни разу не поднялась у него рука написать о, возможно, самом важном, о том исчезнувшем четырехлетнем периоде. Об этом никогда не говорил — ни с ней, ни с кем другим. Даже когда ежегодно пятого марта приходил Алексис и они оба зажигали свечку у нарисованных по памяти портретов — и тогда не говорили. Алексис, рабочий сцены, жаловался, что в старом театре было проще, а в причудах новой сцены сам черт не разберется. Витаутас Беранкис говорил о нехватке материалов, об устаревших машинах и об истеричном директоре артели. Можно сказать, общались зашифрованно, думая и желая сказать совершенно другое. О самом важном, ради чего и собирались, они не говорили, иначе сразу же пришлось бы вспомнить, что из всех двадцати шести мужчин выжили только они двое.

— Весть, самое важное – это весть, – прикрыв глаза, повторял Бронис, – я бы написал такое извещение, что к нам тут же прилетел бы целый мир, прилетел бы, отбросив какие ни есть дела. Но нету у меня ни чем писать, ни на чем.

1. Беранкис (*лит.* Berankis) означает “безрукий”. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Головы всех мужчин клонились к земле, хотя были легки, как пух. Лица их были одинаковы, и глаза были одинаковы – выражали усилие выжать из ума хотя бы одну-единственную мысль.

А облака все плыли и плыли в одном направлении, словно указывали им путь если и не к свободе, то хотя бы к жизни.

Заговорить — означало бы сразу же вспомнить то, что с огромным трудом было забыто, изгнано из памяти, скомкано и заброшено в глубокую-глубокую яму, может — бездну; означало бы снова увидеть тот бурый рогатый пень, похожий на голову быка, который зубами вцепился ему в руку; ту стужу и метель, или сначала метель, а потом стужу, постоянно проваливающихся в сугробы мужчин, их лица, одинаковые у всех, почерневшие и лишенные выражения, совершенно не похожие на нарисованные Алексисом, хотя когда-то они, видимо, были в самом деле такими, и впрямь такими: Валюс, Зенка Каунетис, двое чужих, Пранас и все другие, плоские, выведенные жестким карандашом (Алексис всегда рисовал твердым графитом); они стояли, обступив полукругом единственную тонкую свечку на столе в его комнате. А вспоминать, отчетливо вспомнить их и еще других, безымянных и безликих, они с Алексисом не хотели. Не хотели, не осмеливались, были не в силах. Молча опрокидывали по чарке, потом еще по одной, красиво опустошали ритуальную бутылочку, и Алексис, вздохнув, говорил: "Иду кормить Элените". (Его жена уже несколько лет не вставала с постели. Маленькая Элените, еще одно недопустимое воспоминание: черным снегом выстуженное чрево, руки, делавшие сказочные колбасы, Элените — муравей с оторванными ножками.)

Алексиса и Элените уже не было на свете; Она не отозвалась, так и не подала знака. Дочери, как обычно, ссорились и вновь мирились с мужьями, иногда спрашивали, есть ли у него все необходимое, не нужно ли чем помочь — а чего ему может не доставать, еще совсем не старому, крепкому мужчине? Он и сам пока мог помочь другим, и дочерям в том числе, будь в том нужда. Лето почти совсем вошло в силу, можно бы куда-нибудь поехать, но Витаутасу Беранкису нравился Вильнюс — старинные раскаленные улочки были ему милее, нежели спокойная прохлада озер отчего края.

Желание набросилось на него внезапно, ужалило, словно змея в голую, незащищенную голень, яд моментально распространился по всему телу, затмил разум, нарушил даже сны. Это ядовитое желание билось в сердце вместе с кровью. Может, сама кровь превратилась в это желание, сердце превратилось в это желание, почки и печень, все тело превратилось в него. Странное искушение преодолеть самого себя жгло, как ледяной огонь, Витаутас Беранкис вдруг почувствовал, что всю жизнь не осмеливался признаться себе, кто он такой

на самом деле, притворялся перед другими и обманывал себя, опустошил важную часть своей души, без которой он не был настоящим Витаутасом Беранкисом, жил, как другой человек: с иным лицом, иным именем, иной душой. Отрекся от себя, едва лишь трижды прокричал петух, сам был и Иисусом, и апостолом Петром. Ему надо было найти себя, вернуться в себя хотя бы перед смертью.

Мелькнула мысль — возможно, и Она не отзывается, потому что он скрыл от нее свою сущность, не рассказал ей о своей руке, скитающейся по миру, а может, и небесам. Теперь эта рука взывает к нему.

Дед Раполас когда-то советовал: если тебя охватит смятение, брось жребий, а еще лучше ожидай жребия, только не от этого распятого бога, а от дубов, святилища, потока священной реки, от воя священного волка; просто живи и ожидай своего жребия, говорил, не опасайся, что проглядишь его или не услышишь, нет, когда он появится — а он непременно появится, — ты сразу же его узнаешь, он заговорит в тебе громким голосом, и ты все узнаешь, не отречешься, не скажешь, что не понял; выбери святое место и жди. Витаутас Беранкис так и поступал: бродил по вильнюсским улицам (ведь Вильнюс — тоже мрачное святилище), смотрел на старинную лепку карнизов, втягивал запах пропотевшего бензином города, украдкой прислушивался к разговорам прохожих, никуда не спешил, знал, что и сам судьбоносный знак ищет его, ищет так упорно, что они неизбежно столкнутся.

Ту книжечку в твердой обложке он нашел в полуразрушенной подворотне, полистал, трясущейся рукой засунул в карман и внезапно захотел убежать от себя, спрятаться в глухой чаще, зарыться в землю, сжечь ту книжку, ибо уже знал, что она и есть тот самый жребий, твердо знал, как тогда, между рядами колючей проволоки, когда поднял с сырой земли кружок колбасы, самой настоящей пахучей колбасы, литовской колбасы, — он сразу же, не колеблясь, узнал растравляющий душу запах дома, осмотрелся (тогда, на зоне, и сейчас у полуразрушенной подворотни) и проклял самыми грязными проклятиями свою судьбу, чувствуя, что какая бы то ни было свобода решать и выбирать себе путь исчезла, что сейчас его ведет тот самый кружок пахучей колбасы (и та книжечка в слегка отсыревшей твердой обложке), ведет в неизвестность, к погибели, а может, и в небытие. Его судьбу всегда определяли весьма странные или ошеломляюще банальные вещи.

В том краю зима длилась восемь месяцев, но река даже глубокой зимой полностью не замерзала. Ее течение, будто живое, должно было дышать воздухом и видеть мир. Она не поддавалась даже самым сильным морозам, была неодолима, как общее течение жизни высе-

ленных на ее берега людей. Могли погибнуть десятки, сотни, тысячи. Но никакая сила не могла погубить всех до одного.

Когда их привезли к заросшей лесосеке, их было двадцать шесть. Должно было быть двадцать пять, но в последний момент начальник зоны толкнул к другим и Витаутаса Беранкиса.

(— Запах тебя выдал, милок, – сказал чуть ли не дружелюбно. – Воришка вонючий.

Беранкис все еще ощущал во рту острый вкус майорана и чеснока, можжевеловый запах дыма, вкус и запах дома, пока начальник зоны, передвигаясь по ряду стоявших, обнюхивал каждого, словно пес. В нем не было ничего собачьего, обликом он напоминал утомленного учителя истории или географии. Однако к Беранкису он приближался, как смерть, как безносая, зажавшая в руке вместо косы красивый полированный хлыст.)

Охранники громко ругались, бредя по снегу те два-три километра от проржавевшего ответвления узкоколейки. Должно быть, здесь никто не рубил лес уже несколько лет. Мужчины тащились гуськом, молча, лишь Алексис, едва выбравшись, буркнул:

— Та колбаса была моя. Как только Элените сослали, она мне ее передала. А эти стащили, как всегда. Вкусная?

Снег здесь совсем не скрипел, людские голоса мгновенно превращались в лед и беззвучно падали в сугробы. Деревья вокруг громоздились такие, каких даже и во сне не увидишь, должно быть, многие из них насчитывали не одну сотню лет. Они были красивы до боли и вместе с тем угрюмы – словно в страшной сказке без счастливого конца. При виде их охватывал страх, что в мире больше ничего и нет, что всю землю заполонили эти грозные и бездушные деревья ("Они бездушные, – позже кричал Бронис. – Душа есть у дуба, может – у ясеня, даже у осины – только не у этих великанов-призраков".) Мужчины с трудом карабкались через сугробы, каждый со своим знаком, своим ангелом над головой. Брониса вела его отощавшая дзукийская[1] муза, Алексиса – образ его Элените, а над головой Витаутаса Беранкиса все еще летал дух пахучей литовской колбасы, светящийся, словно ореол.

Наконец открылась заброшенная лесосека. Охранники удовлетворенно затопали, стряхивая снег с валенок, словно добрались до дому. Лесосеку едва можно было охватить взглядом, в этом краю все было нечеловечески огромное, можно сказать, что когда-то здесь жили великаны. Только никого из этих великанов давно не осталось. Остались только охранники, они все топтались, словно проверяли землю на прочность. А земля здесь была тверже железа, железная земля.

— Завтра привезем паек, – сказал один охрипшим голосом.

— До завтра мы сбежим, – отрезал Зенка Каунетис, он единственный чувствовал себя бодро.

1. Дзукия (Dzūkija) — один из пяти этнокультурных районов Литвы, находящийся на юго-востоке страны.

Охранники даже не отозвались, даже не передернули плечами. Зимой в этом краю никто не мог пройти больше нескольких десятков километров – даже на лыжах, даже с ружьем, поохотиться за живностью. Даже опытные охотники не удалялись от своих избенок. Отсюда никто не мог сбежать, даже звери, даже птицы – разве что облака, которые все плыли и плыли в одном направлении.

— Неужели нас оставят одних? – удивился Бронис. – Не может быть.

— В Стране чудес все может быть. Все что угодно! – отрезал Зенка.

Почему-то все называли этот край, долину этой реки, Страной чудес.

— Завтра привезем кормежку, – удаляясь, пробасил охранник. – На все две недели.

Он играл с этой книжечкой в твердой обложке, как кошка с мышью, хотя хорошо понимал, что это она с ним играет, мучает его, гипнотизирует, словно удав оцепеневшего кролика. Она обжигала пальцы, но стоило только отбросить ее в сторону, он тут же ее хватал, открывал, в сотый раз рассматривал лицо на небольшой фотографии. Витаутасу Беранкису оно напоминало лицо Оны: довольно широкий рот, выступающие скулы, большие темные глаза. Женщина на фотографии казалась хорошей и усталой, скорее всего, она была передовой дояркой, может — ткачихой. Несколько дней он необычайно серьезно размышлял, что правдоподобнее, словно это имело какое-нибудь значение. Важен был только сам документ, эта злополучная книжица, хозяйка которой смотрит на Витаутаса Беранкиса добрыми и грустными глазами, глазами Оны, понимая и оправдывая его, разрешая делать, что хочет. Она сама предлагала ему помощь, даже без просьбы, ей совсем не было жаль этой книжечки в твердой обложке, этого достойного свидетельства, предоставляющего хозяину права и льготы, — ведь она была простой женщиной, дояркой или ткачихой, возможно, даже не знала об этих правах, которые были ему просто необходимы, необходимы ненадолго, не на все время, только на дорогу туда и обратно, на дорогу в прошлое, недозволенную, опасную и, должно быть, неизбежную. Он обязан был найти свое прошлое и посмотреть ему в глаза. Человек, забывший свое прошлое или отрекшийся от него, — всего лишь заводная кукла.

Он не спрашивал себя, как возникло это желание, но жаждал знать, почему оно возникло именно теперь, сердцем чуя, что пенсия здесь ни при чем, как ни при чем свободное время, ведь болезненные чувства мучили его всегда, перехватывали дыхание и душили, выли, запертые в глубоких подземельях, стуча в железные двери. Но так и не выломали этих

дверей, даже и не пытались. Почему именно теперь? Ведь жизнь, в конце концов, сложилась совсем неплохо: работа в огромной артели, даже должность какая-никакая; похвальные грамоты и медаль ветерана труда; две любимые дочери, родственники и друзья. Ничто не напоминало того, чего он сам не хотел вспоминать, скорее всего, ему удалось заклепать эти подземные двери. Почему именно теперь? Почему не сразу после смерти Оны? Почему не в какой-нибудь другой день, неделю, минуту тех тридцати пяти лет?

Спокойно все обдумав, он решил, что никаких причин нет, но чувствовал, что гнетущее желание непременно победит, уже победило. Казалось, душу захватил другой человек, тоже Витаутас Беранкис, но другой, не тот, который все эти годы упорядоченно и правильно жил, работал и старался. Тот всегда умел заставить жизнь быть такой, как должно, разложив вещи и мысли по полочкам, а этот новый посеял смятение и расстройство не только в себе самом — но и во всем мире, из-за чего солнце не всходило на востоке и не опускалось на западе, дважды два для него не всегда означало четыре, запахи становились вкусом, мысли — облаками, все плывущими и плывущими над промерзшей землей. Мир внезапно утратил гармонию, всякий предмет существовал по отдельности, сам по себе, и мог означать что угодно: сейчас одно, а через мгновение — уже другое. И самое плохое — этот новый Беранкис мог вспомнить то, что на века было забыто, а возможно, и вообще никогда не существовало. Мир рассыпался и уже не хотел становиться целым. Таким Витаутас Беранкис ощущал себя один-единственный раз в жизни — во время Большого совета девятнадцати мужчин (столько их осталось из двадцати шести). Однажды он поймал себя на том, что разговаривает с котом горбоносого соседа — выслушивает совет друга детства Мартинаса. И понял, что неумолимое желание победило. Надо было или отважиться (все уже давно было решено, только он все медлил), или сойти с ума.

— В голове – как в пустыне. Верблюды пасутся, пощипывают песок.

— Плот не выдержит даже двоих. Он и одного не выдержит. Ничего не выдержит.

— Вкусна ли была колбаса Элените? Вкусна ли?

— Мужики, голод и холод потрясают душу. Наши мысли – теперь уже не мысли. Мужики, опомнитесь, думайте о какой-нибудь простой вещи. Не делайте того, что решили. Опомнитесь! Как вы потом будете жить, если выживете?

— Божий глас! Что всем сразу пришло в голову – глас Божий!

— У меня много голов. И все такие пустые, такие легкие. Мужики, послушайте, у меня много голов. И каждая говорит по-своему.

— Мысль огромной прозрачности. Огромной яркости мысль. Великая мысль. Великая прозрачность. Великая яркость. Великий плот. Великая весть.

— Согласен ли, Беранкис?

— Вкусна ли была колбаса Элените? Скажи – вкусна ли?

— Я – доктор. Все будет хорошо, без боли. Я дипломированный доктор.

Витаутас Беранкис осторожно оторвал от документа фотографию той хорошей и усталой женщины, прежде громко извинившись перед ней (дед Раполас всегда учил, что в изображении человека таится хотя бы крохотная частичка его души, способная услышать, понять и посочувствовать). Повторял себе, что переделывает документ только потому, что хочет найти себя. Не стремится превратиться в другого человека, что-либо похитить у той незнакомой женщины. Честное удостоверение было всего лишь ключом, волшебным словом, вроде "сезам, откройся", только в раскрывающейся перед ним (может быть, раскрывающейся) пещере его определенно не ожидали ни золото, ни смарагды, да и ничто и никто вообще его там не ожидал, разве он сам: исхудавший дистрофик, на тридцать лет моложе нынешнего, он сам в образе дракона с широко разинутой пастью, жаждущий жертв, последний из двадцати шести мужчин. Витаутас Беранкис, последний из двадцати шести, держащий в руках документ с женской фамилией, а в нагрудном карманчике фотографию настоящей владелицы документа, так похожей на Ону.

Внезапно ему показалось очень смешным, что в свой самый важный жизненный путь он собрался идти под женским именем, он хохотал захлебываясь, хохотал до слез, которые моментально превращались в самые настоящие горькие слезы, хотя Витаутас Беранкис и не понимал, по кому он плачет — оплакивает ли он себя, или ту женщину, Ону или будущую дорогу, знал только, что женская фамилия никого не насторожит; с прежних времен он знал, что там, далеко за Уралом, в бывшей Стране чудес, никто не различает и не запоминает ни литовских имен, ни фамилий.

Метель перестала бушевать так же внезапно, как и примчалась. И сразу же затрещал несусветный мороз. Такого не помнил ни один из двадцати шести мужчин – даже те, что здесь зимовали уже не первый год. Метель свирепствовала двое или трое суток, ни один из них не мог сказать, сколько было тех ужасных ночей в их ходящем ходуном пристанище – две или три. Числа "два" и "три" совсем перемешались, в этом краю действовали другие измерения, нежели во всем мире.

Морозы не ослабевали уже несколько суток, казалось, что еще немного и даже воздух превратится в лед и начнет трещать. Весь мир оцепенел, не поддалась только река и двадцать шесть заросших щети-

ной мужчин. Огонь поддерживали целыми сутками, ибо спичек осталось лишь несколько штук. В том краю огонь и жизнь часто означают одно и то же. Мужчины больше молчали, только Бронис беспрерывно повторял, что они жрецы, что останутся живы, если бросят в огонь хотя бы небольшую дубовую деревяшку. Но в этом краю дубы с начала времен не росли. Бронис все вскакивал, чтобы пойти искать священное дерево, а мужчины угрюмо, хотя и незлобиво, его удерживали.

Последние остатки сухого пайка закончились, некоторые уже принесли из леса кору и шишек и пытались их грызть. Другие копали снег, жгли костер снаружи и старались выкопать чудотворные корешки. Однако мерзлота здесь была сильнее человеческого терпения. По крайней мере, по два раза в день разведчики-добровольцы брели на поиски узкоколейки и возвращались, ничего не добившись. Рельс не было, они навечно исчезли вместе с охранниками и собаками. Остались только сугробы по пояс и несусветная стужа, от которой растрескивались стволы живых деревьев. А еще была река, ее течение, словно живое, должно было дышать воздухом и видеть мир. Она не поддавалась даже этим сильным морозам, была неодолима, как течение жизни всех выселенных на ее берега людей. Могли погибнуть десять, все двадцать шесть, тысячи других. Но никакая сила не могла погубить всех до одного.

Они задумали делать плоты, но фантастические деревья-великаны не были склонны им помогать. Топоры и пилы дробились, словно стеклянные, хотя мужчины постоянно возвращались в хижину, к огню, и терпеливо грели бессильное железо. Но железо деревьев было тверже. Даже самые терпеливые, пожертвовав почти всеми топорами, сколотили всего лишь маленький плотик, который не выдержал бы даже самого легкого из них.

В середине второй недели мужчины начали сходить с ума. Постоянно кто-нибудь из них, крича в голос, выскакивал из хижины в неизвестность. Некоторые не возвращались. Сохранившие хоть немного здравого смысла еще сознавали, что нельзя отрываться от огня. В том краю огонь и жизнь часто означали одно и то же. Никто не знал, в какую сторону идти, где искать помощи – все направления давно стали одинаковыми. У них оставался всего один исправный топор. У них оставалось всего несколько спичек, каждый втайне опасался, что и те могут не загореться. Мужчины жевали лоскуты одежды, кору и щепки. В дальнем углу хижины несколько человек, сбившись в кучу, громко бредили, словно говорили на тайном языке или пели хоралы духов. Пранас выбил Вацлавасу еще остававшиеся зубы, едва тот заметил, что кто-нибудь непременно придет их искать – ведь они все-таки люди. Тверже всех держался Валюс. Если бы не он, мужчины давно бы ушли в неведомое, к равнодушной смерти. Валюс ничего не говорил, только взглядывал на поднявшихся бездонными глазами, глубоко врезанными в его заросшее щетиной лицо святого, и мужчины мгновенно успокаивались. Но некоторых из них даже он не мог усмирить. И таких дела-

лось все больше. Разговоры мужчин давно утратили смысл. Один говорил, что летает, другой все рассказывал и рассказывал одну и ту же историю об охоте на лис, третий был одержим голыми женщинами, соблазняющими до умопомрачения, а потом убегающими прочь. Так больше не могло продолжаться. Нужно было что-то делать.

Нужно было послать весть в мир людей, это поняли все. Единственным путем была река. Единственный вестник – небольшой плотик, который, скорее всего, застрянет на первом же речном повороте. Мужчины спорили и несли вздор. Они не могли ничего написать, напрасно пытались что-то нацарапать на бревенчатых кусках плота. Нужно было придумать знак, который каждому был бы понятен сразу же. Мужчины решили созвать Большой совет. Эта мысль, пришедшая на ум Бронису, ненадолго всех объединила, даже кружок бредящих умолк и придвинулся ближе к огню. Все старались что-нибудь придумать, шевеля вымерзшими мозгами, жуя щепки, кору и уголки валенок.

Только двое чужаков не включились в общую суету, не ходили искать рельсы узкоколейки, не носились вопя по сугробам и не бредили. Пять раз в день старательно умывали они снегом руки, лицо и даже ноги, направлялись всегда в один и тот же угол хижины и, сосредоточившись, начинали бормотать молитву. Они были самыми счастливыми. Их не интересовала ни великая весть, ни плот, ни пища, ни, возможно, даже жизнь. Они были самыми счастливыми.

Только отправившись туда, только опустившись в ад и снова выбравшись оттуда, только написав и отправив первое письмо, он понял, на что все время надеялся, чего втайне ожидал. Надеялся, что не найдет здесь ничего из того, что тут некогда было, что с легким сердцем сможет развернуться и возвратиться назад, вклеить на место фотографию усталой ткачихи или доярки и достойно расквитаться с собой: он старался, делал все, что мог, и даже более того, но сама судьба стерла злой кошмар с поверхности земли.

Судьба не захотела помочь, она, должно быть, удобно устроилась в мягком кресле, закинув нога за ногу, и с презрением наблюдала, как Беранкис поступит, что сделает. Теперь, когда все (далеко не все) было в прошлом — и уже завершилось, он мог это вспомнить, хотя и несмело, неустанно уверяя себя, что ничего страшного не случилось, все было просто, не ошеломляло и не сводило с ума — этого-то он и боялся. Ему помогло еще и похмелье — Витаутасу Беранкису уже давно не приходилось пить чистый спирт.

Пе́рвое письмо он написал едва только прибыл в знакомый городок, за прошедшие годы превратившийся в шумный город: вокруг рычали бульдозеры, в грузовиках гремели песнями строительные отряды. Погода стояла хорошая, он постоянно снимал пиджак и нес, перекинув через руку, все опасаясь, что потеряет деньги и документы. Ему каза́лось,

что каждый встречный смотрит на него подозрительно, но скоро понял, что никто не обращает на него внимания, что он никому здесь не мешает, просто он здесь не нужен. Все взгляды говорили: зачем сюда притащился, чего ищешь, опомнись, пока не поздно.

Но было уже поздно. Он так и написал в первом письме, все еще наивно радуясь, что город такой большой и шумный, совершенно не похожий на застрявший в памяти грязный, с деревянными тротуарами городишко. Здесь все изменилось. Витаутас Беранкис старательно вывел на конверте свой адрес, тогда еще не думая, что таких писем будет много — писем Оне. Находясь так далеко от дома, от чугунной оградки ее могилы, он внезапно почувствовал, что она жива. Благодаря ей он жил те тридцать с лишним лет, выживет и теперь, ибо его Пенелопа ожидает мужа, отвергнув претендентов, ожидает его возвращения с берегов широкой мрачной реки.

По реке плыл одинокий, из неотесанных бревенчатых обломков плот. Он продвигался вперед медленно, словно смертельно устал. Морозом гонимые звери приостанавливались на берегу и провожали его тревожными взглядами. Однако плоту они были неинтересны, он искал людей, которые могли бы принять весть. А людей все не было и не было.

Он сел в автобус, насвистывая, посматривал через окно на остовы каких-то заводов или электростанций, нисколько не сомневаясь, что он просто исполняет формальность. Нехорошее предчувствие шевельнулось под сердцем только тогда, когда он увидел болото, куда в давние времена сбрасывали горы опилок. Вонь от него и сегодня была такая же, как тогда. Значительно труднее было снова увидеть забор с колючей проволокой.

А тяжелее всего было войти внутрь, вступить в живое прошлое, отворить двери кабинета начальника зоны; хотя нет — труднее всего было надеть маску, состроить подходящую мину: солидную и вместе с тем просительную, заговорщицкую, но не допускающую возражений. Труднее всего было раскрыть рот — до этого момента еще возможно было отступить, убежать, прикинуться, что заблудился. Начальник зоны бесконечно долго сверлил его взглядом, разбирал по косточкам и каждую отдельно исследовал, ощупывал, даже обнюхивал, еще дольше мял и рассматривал документ. Витаутасу Беранкису показалось, что он уже никогда отсюда не выйдет, тут же окажется за колючей проволкой за подделку документов. Но наконец начальник медленно, нехотя поднялся со стула, обошел стол и подал ему руку. С этого мгновения все должно было удаваться, он понял, что одержал победу, что все рассчитал правильно, что водоворот судьбы поймал его и сам понесет дальше, словно замерзшая река несет немой, из неотесанных бревенчатых обломков плот.

Наглость Витаутаса Беранкиса была беспредельной, но он рассчитал правильно: здесь все в первый раз видели удостоверение депутата Верховного Совета, оно подействовало, как волшебное слово, тайные двери сразу приоткрылись, начальник зоны, похожий на уставшего учителя истории или географии, тут же увял, опасаясь только одного: а не пахнет ли здесь какой опасной проверкой? Но Витаутас Беранкис не позволил ему прийти в себя, хорошо выучил свою роль, сто раз прорепетировав перед зеркалом, хотя сейчас все делал по-другому. Он намеревался говорить сухо, а выпалил целый монолог — о старости, желании пройти по дорогам прошлого, сказал, что некогда здесь работал (ведь и в самом деле работал, только совсем в другом качестве), припомнил множество мелочей, засыпал начальника вопросами, лукаво пошутил, попросил, чтобы его визит не получил огласки, вытащил привезенный спирт, коньяк и закуску (глаза хозяина заблестели) и все называл начальника зоны коллегой. А дальше все происходило, словно во сне, в таком сне, в котором кошмарные пейзажи реальнее настоящих, монстры живее всех живых, а бессмысленные слова обладают значительно большим смыслом, нежели вся мудрость человечества. Но это был не сон, далеко не сон, он наконец понял, что попал в страшную ловушку. Все здесь казалось не таким, как раньше, но это не имело значения: Витаутас Беранкис, как и раньше, видел прежние бараки, прежние тропы, видел теперь уже срытый холмик, засыпанные ямы, узнавал каждое давно срубленное дерево, ощущал давний, когда-то рассеянный повсюду запах ничем не заглушаемой обиды и безнадежности, запах, более крепкий, чем окружающая зону колючая проволока. И люди теперь выглядели совсем по-другому: вокруг болтались угрюмо косившиеся типы и наглые пацаны, но он видел совсем не их, чужие лица с ходу изменялись, превращались в совсем другие, в лица других людей, знакомых и незнакомых.

— За что сидишь?

— За дело, – сказал Валюс. — Ничего, будет и на моей улице праздник.

— А ты?

— Не знаю, – ответил Беранкис. — Ни за что. По ошибке.

— А ты?

— Обвиняли в том, что я помогал "лесным братьям"[1]*, — сказал Пранас. — А как им не поможешь? Они что, спрашивали меня, когда по ночам вваливались?*

— Я-то сижу по плану, – сказал Зенка Каунетис, как всегда, ухмыляясь. — Пришел однажды хрен такой, в одном классе штаны

1. "Лесные братья" — литовские партизаны, воевавшие против советской власти.

протирали, и говорит: "Дуй отсюда куда-нибудь в деревню и спрячься — по плану твоя очередь подошла. Посидишь в деревне, вместо тебя другого вывезут". Пока я собирался, пока то да сё — ночью и взяли.

Витаутас Беранкис наконец понял, почему должен был раздвоиться, для чего нужен был этот второй Витаутас Беранкис, все делающий по-другому: теперь тот паясничал и с интересом осматривался, играл так, как ему самому, настоящему Витаутасу Беранкису, никогда бы не сыграть (он определенно не мог бы прикинуться, что некогда был здесь сам над собой надзирателем, и сам себя гонял на работу через сугробы, сам оставил себя и еще двадцать пять мужчин понемногу сходить с ума в несусветной стуже). Он смешил начальника зоны, издевался над заключенными, а потом храбро пил неразбавленный спирт, вытаскивая на свет божий новые и новые подробности, позволил настоящему Витаутасу Беранкису, не торопясь, все вспомнить, тихо поплакать, почтить мужчин минутой молчания, бесконечной минутой молчания, — пока тот пил и болтал, едва не упал со ступенек и был отвезен в гостиницу на машине начальника зоны. Только один раз он не выдержал, внезапно схватил хозяина за плечи и заорал: "Верни мне руку, отдай мою руку!" Но никто его слов не понял, слава богу, не понял. А потом он воззвал к голым стенам гостиничной комнаты, к звездам, застланным облаками, призракам, собравшимся в комнате, написал второе письмо, потом третье и четвертое, возможно, и тысячное, а может, и вообще ни одного. Старался написать за всех двадцать пять мужчин, носил в себе двадцать шесть душ, слышал голоса мужчин, видел их лица, ощущал себя всеми ими сразу, но этого не описал ни в одном письме.

Большой совет продолжался до вечера, но все еще ничего не решил. У них был небольшой плотик и единственный топор. Могли всадить топор в средний кусок бревна и пустить по течению. Было ли бы это знаком?

Мужские головы с замороженными мозгами не держались на шеях, все опускались и опускались. Их мысли замерзли – надо было растопить. Мужчины поворачивали головы ближе к огню, еле выдерживая жар, но мысли не желали появляться.

Мужчины все время смотрели на Валюса, но видели в его глазах только бессилие и безнадежность. Умоляюще смотрели на Брониса, но он только бредил, то тихо, то громко бормотал стихи, свои и чужие. Вацлавас беспрерывно считал выбитые зубы, подбрасывал их на ладони, словно камешки. Пранас неизвестно зачем пожелал раздеться догола. Алексис терпеливо жевал давно исчезнувшую в чужом желудке колбасу Элените. Это был совет великого молчания. Молчание каждого вливалось в общее молчание, которое сливалось с равнодушным молчанием столетних деревьев, слепящим молчанием снега, с молчанием плывущих по небу облаков. Это был совет без споров, без

предложений. Никто не нашел знака, который сразу был бы понятен всем людям. Такого знака, возможно, и не существовало. Известить, что они здесь, что медленно угасают и телом, и душой, мог только живой человек. Бронис, пока не начал бредить, предлагал одному из них обратиться в гнома, чтобы выдержал плотик. Валюс наконец заговорил и сказал, что даже гном при таком морозе через час превратился бы в сосульку.

Никто даже не понял, как и когда блеснула великая мысль. Никто не расслышал, кто первый произнес эти слова вслух. Мужчинам внезапно показалось, что каждый уже давно так думает сам. Они загомонили, перебивая друг друга – не пришлось даже голосовать. Только один Валюс безнадежно пытался всех переубедить. Никто его не слушал, все только поглядывали на Беранкиса. Он был обязан сам дать согласие. Все ожидали, когда он заговорит, хотя ответ, наверное, мог быть только один.

— Я согласен, – наконец сказал Беранкис, – я уже давно согласился. Такова моя судьба. Дед меня когда-то давно предупредил.

— Очнись, сумасшедший! – только вскричал Валюс.

Оба чужака, за время всего совета, не понявшие ни слова, грустно покачали головами и стали умывать руки снегом. Была уже полночь, время последней молитвы.

Его культя ныла уже давно, начала ныть еще в Вильнюсе, едва только накатывало это злополучное, сумасшедшее желание. Гнетущая дурнота мучила и сердце, а по временам все сплеталось: Витаутасу Беранкису казалось, что измученное сердце бьется вне тела, на месте утраченной кисти. Казалось, он хочет вернуть не столько руку, сколько утраченное сердце. Он не обвинял мужчин ни тогда, ни позже — вообще никогда не вспоминал страшный совет, даже не видел во сне (сейчас это его больше всего удивляло), ночные кошмары были совсем другими, а теперь жуткий совет вынырнул, словно из под земли, — он снова сидел в ходящей ходуном хижине, возле огня, и не мог никуда сбежать, ибо за тонкими дощатыми стенами трещал несусветный мороз, и пути к людям не было никакого. Витаутас Беранкис бродил по шумному зловонному городу, видел грязные улицы, помойные ямы, бледные лица людей, но в то же время был там — на Совете, слышал каждое слово, видел глаза каждого. Иногда он останавливался, бессильно облокачивался о дерево или стену, заботливые прохожие спрашивали, не плохо ли ему, а он только тряс головой. Разве мог он объяснить, что как раз сейчас, у этого дерева, он слышит голос Пранаса и видит исказившееся лицо Зенки Каунетиса, что уже осознал приговор и пытается сосредоточиться, собраться с мыслями? Потому что мысль у него была только одна: если руку у тебя отнимает враг, это хотя бы можно понять; но если ее отрывают свои — значит, уже наступил ко-

нец света. Он только ждал, когда затрубит ангел смерти и принесут книгу за семью печатями.

Витаутас Беранкис давно мог уехать домой. Выехать отсюда было нелегко, однако со злополучным поддельным документом он мог купить билет в любое время, даже без очереди. Но он уже почти неделю никуда не двигался с места, только каждый день писал и высылал по письму. Такие письма без опасных последствий мог читать только мертвый.

Он чувствовал, что обязан понять непонятое, ощутить неощущаемое, объяснить необъяснимое. Он уверял себя, что не едет домой, потому что ожидает ответа от Оны. Но в действительности его удерживало только томление сердца — сердца, бьющегося где-то вне тела, на месте утраченной руки. Он не мог вернуться назад, не найдя этой руки — следовательно, и своего сердца. Вечерами, предназначенными для написания писем, его посещал дед, курил свою загнутую прусскую трубку и грустно покачивал головой.

— Детка, — говорил он тоскливым голосом, — таков уж наш семейный знак. Ничего не поделаешь, таков он испокон века. Даже имя нашего рода такое. Мою руку оторвало шрапнелью, твоему отцу — отрубили бермондтовцы[1]. Я много раз говорил: подготовься заранее, детка, распрощайся с ней. Она принадлежит тебе только временно.

— *Если сплавим его руку, такой знак поймут все. Понимаете, если Беранкис в самом деле останется безруким, исполнится тайная воля богов. Понимаете? Боги сами к этому призывают.*

Решился он в середине второй недели. Сейчас он уже не верил, что там, в запущенной вырубке, не найдет ничего от прежних времен. Он воочию видел необозримое, покрытое пнями место, сваленные деревья с обломанными верхушками и сгнившую хижину. Видел тот огромный пень, похожий на бычью голову, чувствовал, как его рука сжимает топорище последнего топора. Дед сидел рядом в своем трясущемся вездеходе и в последний раз пытался отговорить. Но Витаутас Беранкис знал, что доедет туда, все равно доедет, уже едет — это был свершившийся факт, хотя пока и скрывавшийся в будущем. И будущее, и ход времени уже ничего не значили, он хорошо знал, что произойдет дальше, и мог бы заранее рассказать любому все до мелочей, а потом отвезти на вырубку, чтобы тот увидел, что все и в самом деле будет именно так.

1. Бермондтовцы — бойцы отряда Русской Западной добровольческой армии, созданной в 1919 г. генерал-майором Павлом Аваловым-Бермондтом. Это была армия пронемецкой ориентации, преследовавшая несколько целей: споеобствовать экспансивным планам Германии в Балтийских странах, восстановить царскую Россию, бороться с Красной армией и большевизмом.

Уже выйдя из вездехода, он внезапно захочет повернуть назад, но мышцы не подчинятся. Он наконец поймет, что не может оставить свою руку (свое сердце) на произвол судьбы, ибо вместе с ней оставил бы и двадцать шесть здесь заключенных душ. Изумится, ибо место будет точно таким же, как и когда-то, даже остатки их костра будут нетронуты. Беззлобно пнет сгнивший остов хижины, твердым шагом подойдет к пню, похожему на огромную голову быка (торчавшему совсем вблизи хижины — а тогда они тащились к нему едва ли не полчаса), и вперит в него глаза. Пень будет смотреть на него, а он на пень, они будут играть в гляделки — кто кого пересмотрит; бороться будут долго, забыв о времени, а может, вернувшись на тридцать с лишним лет назад, попытаются уничтожить друг друга, ибо это будет важнейшим в мире делом. Он нисколько не боялся, знал, что победит, как победил в тот раз, знал, что он неодолим, все время был неодолим, а особенно сейчас, когда в нем двадцать шесть душ — неодолим, как течение реки, как свет солнца, как вечное терпение ожидающей его Оны. Знал, что пень наконец поддастся и задрожит предсмертной дрожью, когда он решительно и твердо положит на него правую, здоровую руку.

В сильный мороз они вышли вчетвером. Доктор нес перевязочные материалы – тряпки, вырванные из грязного, провонявшего потом нижнего белья. Раньше его звали Андрюс, но уже несколько дней подряд он велел называть его другим именем. Иногда тайком признавался, что у него много голов. Вместе с ними шли Зенка Каунетис и Алексис. Зенка говорил, что видел в жизни все, поэтому должен увидеть и это. К тому же он когда-то работал санитаром. Алексис шел на всякий случай. Если вдруг Беранкис упадет в обморок, обещал принести его на руках, как младенца. Алексис хорошо знал, что сейчас он крепче других – пока другие голодали, он все время ел несуществующую колбасу Элените. Они шли поспешным шагом, чтобы раскаленный на костре топор не успел остыть и растрескаться. Они думали, что быстро шагают один за другим, хотя в действительности ползли кто как мог, покачиваясь, словно огромные покряхтывающие улитки. Доктор беспрерывно вслух повторял, что такой мороз уничтожает все бациллы. Зенка Каунетис рассказывал один и тот же анекдот, который никто не слушал.

Они зашли за небольшой холмик, чтобы не видеть покосившейся, окутанной облаками пара хижины. Так хотел Беранкис. Он молчал, не заговорил, даже подойдя к огромному пню, похожему на бычью голову, только указал на него рукой. Трижды вскидывал топор, но все не рубил. Зенка Каунетис пробормотал, что топор остудится, и предложил подержать положенную на пень кисть, чтобы Беранкис случайно ее не отдернул.

— Дед, я не буду ждать, пока ее отнимут другие, – сказал Беранкис пустому пространству. – Сделаю это сам.

Топор отскочил от пня без всякого звука. Алексис подхватил падающего Беранкиса, а Зенка Каунетис схватил топор и засунул за пазуху. Доктор наконец заткнулся, поспешно перетягивая и перевязывая кровью истекающую культю. Отделенная от тела кисть, словно удивляясь, подвигала пальцами, повернулась на бок и застыла. Кровь из нее почти не сочилась.

Вильнюсские липы уже отцвели, уличный асфальт испускал еле ощутимый нездоровый пар. Беранкис забрал у соседки накопившиеся письма и тщательно пересчитал, хотя не помнил, сколько их выслал. Дом показался ему совершенно чужим, он не пошел навестить дочерей, только сходил в магазин и до отказа набил холодильник мясными консервами, яйцами, накупил свежей картошки и закрылся — никому не отворял дверей, не отзывался на телефонные звонки.

Витаутасу Беранкису надо было подумать. Надо было привыкнуть к самому себе, совершенно другому Витаутасу Беранкису, к человеку, осмелившемуся приоткрыть запретные двери, опуститься в ад и возвратиться, к человеку, захотевшему второй раз испытать то, что можно вынести только один раз, к человеку, носящему в себе двадцать шесть душ. Ему было странно, что ему хочется есть и пить, а потом мочиться и облегчаться. Ему было странно, что он засыпает и видит себя во сне безруким. Всю жизнь он видел себя во сне только с обеими руками. Безнадежно пытался почувствовать, а в самом ли деле его победа является победой (победой над кем?), ум здесь не мог помочь, ум давным-давно запрещал уезжать из Вильнюса, не объяснил ни злосчастного желания, ни дороги, ни возвращения. Витаутас Беранкис не понял, кто его погнал в эту злополучную дорогу, что он надеялся найти и что испытать. Да, двадцать пять мужчин жалобно звали его, последнего из всех, но ведь он мог бы и не ехать, это не было бы предательством. Он ничего не чувствовал сердцем, все пережитые за эти две недели чувства были не его, а кого-то другого. Да, он выиграл сражение, мог очень спокойно вспомнить всякое мгновение тех дней, долгое время бывшие в заточении воспоминания вырвались на свободу, но не могли его одолеть. Некогда вырванный из жизни кусок снова был на своем месте, все было на своих местах, но только куда-то исчез сам Витаутас Беранкис, его не стало, его надо было найти, а может, создать заново.

Четыре дня читал он свои (того, другого Витаутаса Беранкиса) письма, пробирался через заросли слов, желая хотя бы отчасти понять того, другого Витаутаса Беранкиса (понять самого себя), который так и не вырвался из того студеного края, остался там на все времена, сидел на берегу незамерзающей реки и все ожидал появления сколоченного из бревенчатых обломков плотика со знаком, все еще надеялся, что

по черным водам медленно приплывет его рука. Читал и громко спрашивал бумаги, почему надо было еще раз пережить то, что было один раз пережито и забыто. Неужели только потому, что человек не может жить без памяти? Но может ли он жить, превратившись в живую память двадцати шести мужчин?

На пятое утро он сложил письма красивой аккуратной стопочкой и перевязал лентой. День занимался красивый и свежий, опустевший город негромко шумел, несколько раз раздраженно заверещал телефон. Витаутас Беранкис заварил чай и тщательно позавтракал. Есть не очень хотелось, но чай ему и впрямь показался вкусным. Закрывшись в ванной, он еще раз прополоскал зубы и вернулся в кухню, ибо забыл спички. Телефон снова заверещал, верещал бесконечно долго и настойчиво — таким был последний звук, который слышал Витаутас Беранкис.

Если бы его душа (все двадцать шесть душ) могла со стороны посмотреть несколько дней спустя на свое обиталище, на его неживое тело, то увидела бы, как внутрь вместе с мужчинами, выломавшими дверь, прошмыгнула толстогубая соседка, с любопытством, без всякого отвращения осмотрела посиневшее, распухшее лицо, вылезший черный язык, блестящую смазанную жиром веревку, едва заметную на распухшей шее, ванну, усыпанную пеплом сожженной бумаги, и с искренним сожалением сказала:

— Вот тебе на! А ведь я бы могла побиться об заклад, что первым умрет Вацюкас из сорок шестой.

Выломавшие двери мужчины задумчиво повертели в руках удостоверение с женской фамилией и с вклеенной туда фотографией Витаутаса Беранкиса и сдержанно спросили соседку, не вел ли он себя в последнее время странно. Или, например, не хотел ли он превратиться в другого человека, не объяснял ли, что в мире умерших жить лучше. Соседка высокомерно покачала головой и сказала, что Витаутас Беранкис был спокойнейшим, трезвейшим из всех соседей и никогда не нес вздор. Его ничто не интересовало, и добавила — кроме дочерей и соседского кота.

В том краю зима продолжалась восемь месяцев. Другим временам года оставалось четыре.

Мороз одолевал все – живое и мертвое. Только река никогда не замерзала полностью. Ее течение было неодолимо, будто общее течение жизни всех выселенных на ее берега людей. Могли погибнуть десятки, сотни, тысячи. Но никакая сила не могла погубить всех до одного.

По реке плыл одинокий, из неотесанных бревенчатых обломков плотик. Он был пуст. Только внимательно всмотревшись, можно

было увидеть на срединном обломке бревна кривое блеклое пятно. К обледеневшей коре ржавым гвоздем была прибита кисть человека. Она была белым-бела, сквозь матовую кожу не видно было даже контуров жил. Эта кисть была знаком, который обязан был понять всякий.

Плот двигался вперед медленно, но упорно. А людей все не было и не было.

— ЭКСПЕРИМЕНТ БЫЛ НЕПРОСТЫМ. Мы стараемся не спаривать даже дальних родственников, выбираем индивидов из различных регионов. Кровосмесительство вредит не только королевскому роду.

— Таким образом, спаривая самых способных крыс можно вывести породу крыс-гениев?

— Совершенно справедливо.

— Соблазнительная перспектива. Однако генетических изменений надо ждать довольно долго?

— Отнюдь. От первых поколений ничего особенного не ожидали. Но уже потомки четвертого поколения были несравненно умнее всех предков. А индивиды шестого поколения демонстрировали просто чудесные способности. Моментально находили пищу в лабиринте из восемнадцати ответвлений. Нажимали на нужную клавишу, выбирая из многих, – совсем как дельфины...

— Следовательно, вас можно поздравить с победой?

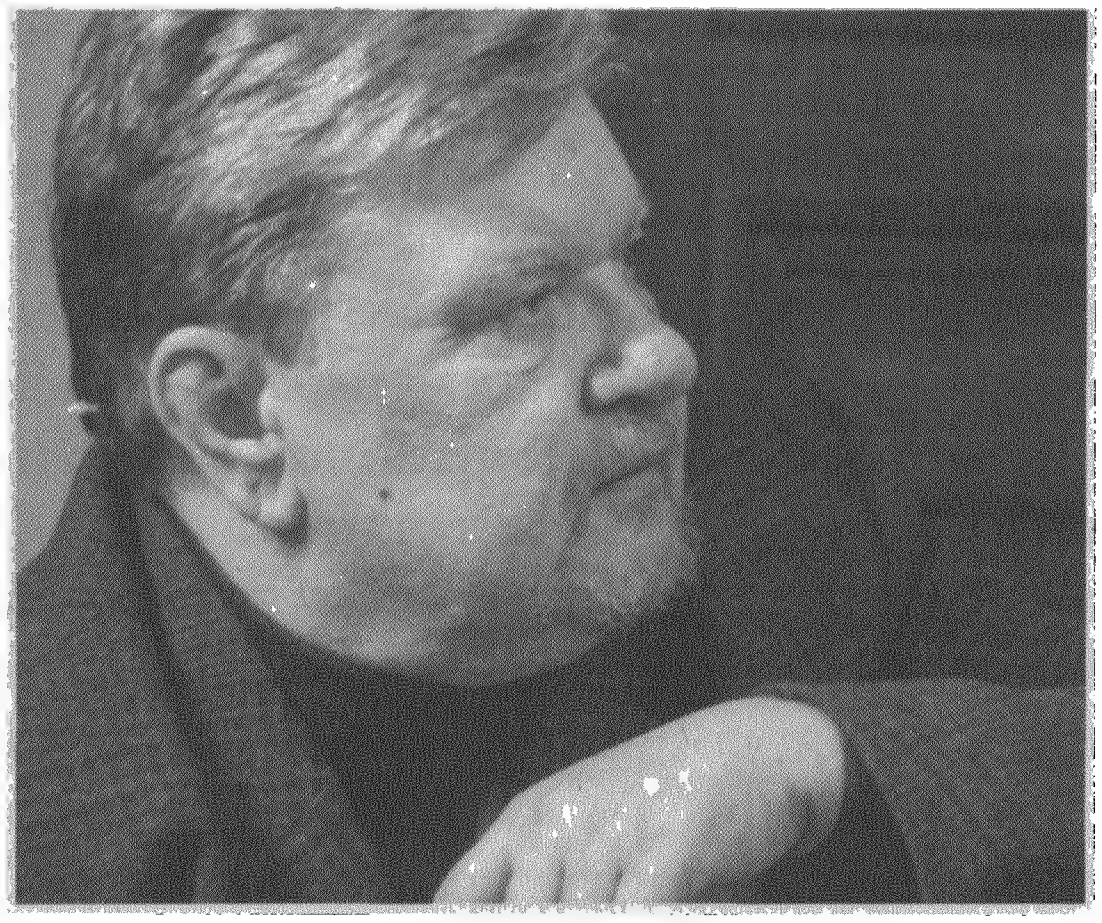
— Увы... Крысы шестого поколения все до одной страшные невротички. Они совершают чудеса только под воздействием сильного успокоительного – фенозепама. Пока мы нашли этот фенозепам, мы обзвонили несколько фармакологических лабораторий... Без успокоительных они вообще ничего не делают, только заползают в щели, вжимаются в углы. Их гениальность неизбежно сопровождается сильным неврозом.

— Однако какой-никакой выход найден. Фенозепам.

— Увы... На крыс шестого поколения фенозепам действует всего лишь несколько минут, хотя дозы огромны, почти опасны. Правда, возможности их интеллекта действительно феноменальны. Однако без успокоительных они становятся настоящими шизофреничками. Они подвержены страннейшим фобиям, их реакции неадекватны. Они не едят и не пьют. Можно сказать, природа защищается от слишком умных индивидов. Мы думаем прервать эксперимент. Он уже не имеет смысла.

1989 г.

Ромуальдас Гранаускас



Из книги "Жития святых"

Перевод Георгия Ефремова

Св. Паулина

КОГДА она подняла голову над швейной машинкой и посмотрела в окно, густая тень от крыши уже тянулась через двор по траве до самой калитки. В это время года солнце заходило с другой стороны за острый край ельника, будто ложилось на долгую зубчатую пилу и, поранясь об острия, вечерней кровью обрызгивало треть неба.

За калиткой — придомовая стежка. Такая короткая, с двумя желтоватыми колеями, полоской подорожника и клевера между ними. Она утыкается в гравийный проселок, а по другую сторону гравия — там соседка Бяржонскене, ею возделанная земля, а потом снова ельник, в который полупрозрачно вкраплены ольхи да березки. В окне усадьба Бяржонскене видна не целиком, лишь сеновал и край большого глинобитного хлева, однако, если притиснуться к самому окну и чуть наклониться вправо, можно разглядеть и сам дом: статный, на две половины, с застекленным крыльцом и бурой жестяной крышей.

© Romualdas Granauskas, 2013
© Георгий Ефремов. Перевод, 2015

Птица, взлетевшая над ельником для пути на юг, видит совсем другое. Это — огромное пространство земли с пахотой и угодьями, обрамленное елями, почти совершенный овал, только проселок делит его не по самой середке, а чуть сбоку: направо — усадьба Бяржонскене, а слева — владения сразу троих: ее, Паулины, родителей, Язбутиса и Милюса. Вроде бы и деревня, только уж очень маленькая, зато имя у нее есть: Дваралис. Может, совсем давно тут и был чей-то господский двор, прямо там, где теперь постройки Бяржонскене, но помнить об этом некому и никому это все не важно.

У Паулины родителей нет, на второй половине избы живет семья брата. Родители, как и старый Бяржонскис, поумирали один за другим под конец войны, однако Вайткус успел еще похлопотать о судьбе дочери:

— Богатства большого тебе завещать не имею, а куплю машинку швейную, и сможешь два года учиться на портняжку в Можейках у Александравичене, я сговорился. Ты про такую слыхала?

— Слыхала!.. Она в Риге у немчиков ремеслу училась!..

Когда Паулиной овладевало волнение, в глазах у нее будто бы зажигались две малые электролампочки, озарявшие все лицо. А отец такое вдобавок сказал:

— Еще мы на тебя записали меньшу́ю делянку и ту полосу, где ячмень в этот год, и пол-избы, вот и будешь в своем закуточке шить-вековать.

И ее лампочки вдруг погасли.

Одним словом отец постановил всю ее грядущую долю: без мужика, без семьи, без детей — жалкая жилистая вековуха, скорченная над швейной машинкой в своем закутке у окна, за которым — седая трава на дворе, стежка о двух колеях и темное марево ельника с редкими березняковыми просветами.

До хваленых этих Можеек она, если вправду, со двора толком шагу не делала, а только с младенчества — с матерью в церковь, только с тремя сыновьями Бяржонскиса — в сельскую школу, пока не прошла там шесть классов, и никуда больше. И всего-то — две версты лесом, пока не покажутся башни костела, и тогда уже легче, а когда они отдаляются за спиной и тают — от подступающих елей словно бы долетает ледяное дуновение страха, выступает ознобный пот, но требуется идти, а бежать нельзя, ведь мама как наставляла: если боишься — никогда не беги, страх все равно быстрее, нагонит и со злости удушит!.. Так она и росла: боязливая, слабая, вся белесая, чем-то похожая на весеннюю козочку.

Когда отец умер, она очень хотела забыть эти его слова об угасании-вековании. Нельзя долго злиться на своего отца, да

еще мертвого. Но каждым утром, расчесывая волосы, все она видела напоминанием в зеркале.

Да и без всякого зеркала она всю жизнь будет помнить то жаркое июльское воскресенье. Они с матерью вернулись из церкви, набрали воды из колодца, попили, и мать сказала:

— Переоденься и полезай нарви черешни. Той вон, желтой.

Она переоделась, взяла корзинку и полезла. Нарвала почти доверху, а больше ничего не помнит.

Четверо суток ее как не было. Ни во плоти, ни в рассудке. Еще под вечер того же дня пришла старая Бяржонскене, смотрела, смотрела, потом говорит:

— Только не трогайте, нибожежмой, не касайтесь! Ни мизинчиком!.. Если очнется — так, очухавшись, и будет жить полегоньку.

Когда Паулина впервые заново шагнула во двор, со стороны могло показаться, будто она, скосив голову на плечо и чуть кверху, слушает пение жаворонка в вышине, однако — откуда жаворонок, первый снежок только выпал!.. Чистый мир вновь распахнулся вокруг, и она боялась, что теперь он станет выглядеть по-другому, словно криво повешенная картина, но все обошлось: избы Дваралиса стояли привычно прямо, и ели по-прежнему стройно темнели. И она стала жить полегоньку.

Но как-то летом, в жатву, по просьбе Бяржонскене, она пошла на толоку. Рожь убирали в четыре косы, работали Милюс и три сына Бяржонскиса, парни как на подбор, все погодки, один другого сильнее и выше. Бяржонскене в поле не было, она оставалась дома и варила еду косарям. Паулина вязала за Повиласом, одноклассником по сельской школе. Работала вся в поту, а от иных не отстала. Весь долгий день пробыла согнувшись, а голова ни разу не поплыла, и мгла даже коротко не затмила глаза. Какая к вечеру была радость!..

Все три сына Бяржонскиса не были женаты. Повилас — это ясно, он учился в Каунасском университете, который немцы уже закрыли, но почему до сих пор оставались бобылями старшие? Потому ли, что вокруг шла война и никто не знал, придут не придут снова русские, или же потому, что старая Бяржонскене пока не хотела ни с кем ни одним делиться?

А были потом эти ясные тихие вечера на проселке, когда солнце легко налегало на ельник, а они всё ходили-ходили с негромким своим разговором, не прерывая слов ни на одну минуту, — от самой крайней делянки и до большого дуба, где свой овал замыкали деревья, а тропа ускользала вдаль между стволами. Уже в первый вечер, когда они сели на траву под огромным дубом, Повилас достал из пиджачного кармана сложенный вдвое журнал и показал ей:

— Хочешь поглядеть? Это я.

На фотографии точно был он: в студенческой кепке, сдвинутой набок, и чубом, выбившимся из-под нее. Даже красивей, чем тот, кто теперь сидел рядом. Крупными буквами — его имя, а снизу — стихи.

— Повилас, — удивилась она, — ты ведь Повилас, а тут написано — Паулюс?

— Знаешь... Повилас — не самое поэтичное имя. Поэтам разрешается не только имена, но и фамилии менять. Я фамилию не трогал, Бяржонскис в Литве один такой среди поэтов.

В ее глазах вдруг блеснули те две лампочки и померкли не сразу, а в голове послышался какой-то протяжный клич: "Боже!.. Он — Паулюс, а я — Паулина!.." Но она ничего не сказала громко, а только сидела, вся застынув и вслушиваясь, как эхо этого клича проваливается куда-то в самую глубь нее. Сказал сам Паулюс:

— Видишь, как складно выходит? Я — Паулюс, а ты — Паулина?..

И поцеловал ее.

Она закричала в испуге:

— Паулюс!.. Как ты можешь... Ведь я неученая, и!..

И договорила одними губами:

— ...и кривая...

Паулюс ей ответил спокойно, только чуть медленнее произнося слова:

— Знаешь, для поэтов не так важна внешняя красота женщины, как ее душа. А твоя душа чиста и прекрасна, как... — он поднял глаза ввысь и поглядел на дубовые ветви.

— Как белая роза!

Она посмела спросить:

— Паулюс, а про что эти твои стихи?

— Про свободу и родину!.. Я тебе сейчас почитаю.

В другие вечера он тоже читал ей свои стихи, только не из журнала, где их много и не могло быть, а из такой пухлой записной книжки, которую всюду носил с собой. Там были слова и про их любовь. Правда, самого слова "любовь" не было, только про белую розу, которая в лунные ночи светит, как золотая. Паулина сама догадалась, что это про их любовь.

Теперь по воскресеньям, не пропуская ни одного, Паулина ходила в церковь и жарко благодарила Пресвятую Деву за все, что та ей преподнесла. А вечерами, уже перед самым сном, никогда не забывала помолиться:

— Иисусе Христе, ты столько страдал, а за что мне такое счастье? За что?

Засыпала, так ничего не узнав.

Война кончилась, снова пришли русские.

За проселком в обширной усадьбе ходили три сына Бяржонскиса, исполняя всякие хозяйственные работы. Русские стали забирать литовцев в свою армию. Молодым ребятам, кто еще не пошел в партизаны, надо было прятаться, чтоб не призвали, и ждать, когда пожалуют американосы и вместе с нашими партизанами вышибут этих русских с литовской земли. Никто не думал, что они тут разместятся, как дóма, надолго.

Как-то вечером, перед закатом, в то их лучшее время, пришла Бяржонскене:

— Повилас велел извиняться, что даже проститься не смог.

— Боже!.. Где Паулюс?..

— Ушли сыновья мои в лес. Сама отослала и благословила: идите и не возвращайтесь, пока Литва не будет свободна!..

— Где они все теперь? У партизан или просто прячутся?..

— Кто их знает?.. — Бяржонскене отвела глаза. — Молодые, быстрые... Кто скажет, на какую тропку лесную свернули?.. И тебе лучше не знать.

Когда Бяржонскене вышла, Паулина сорвалась в крик:

— Какая ж я дура!.. До чего ж туполобая!.. Ведь она все сказала!..

Теперь ее вечернее моление изменилось:

— Иисусе Христе, ты столько терпел, упаси Литву, сохрани Паулюса, сбереги нас всех... Аминь.

Слово “любовь” она в молитвах своих не смела произносить.

Дни ее, вроде, остались такими же, зато ночи переменились. С вечера она забывалась, как мышь, чуткой пугливой дремой, прерываемой каждым шелестением, шорохом, будто слышала, как в самой черной осенней тьме через колодезный журавель перемахивают совы. Она сама не хотела засыпать крепко. А вдруг не услышит особенно тихий, сторожкий постук — со стороны двора в подоконник: тук-тук?.. И вновь через какое-то время, но еще тише: тук-тук-тук... Знала сама, что ничего не дождется, но не могла и себе не давала уснуть накрепко. С утра ломило голову, в глазах клубился туман, и трудно было прокладывать прямой шов. Она и сама словно съезжала набок вместе с переполнявшими голову мыслями.

И недели ее изменились. Раньше всякое воскресенье начинало близиться неторопливо и постепенно, светло и покойно, и она ожидала его, чтобы снова идти лесом в церковь. Ибо уже само это движение — есть несение помыслов кому-то сущему там, вдалеке, незримому в мареве грезном. Несешь эти мысли, будто в каком-то шествии, хотя знаешь, что ты

один. Донесешь, тихо возложишь к подножию, и станет тебе замечательно хорошо.

А теперь она чувствовала, что несет в себе прочный большой сосуд, в котором с самого понедельника копятся очень холодные и темные капли. Когда воскресным утром она выходила из леса и впереди вырастали две церковные башни, этот сосуд бывал уже переполнен. Она начинала дрожать, словно от холода, ноги слабели в коленях и ужасно разбаливалась голова.

Она уже дважды их видела, застреленных и брошенных на виду, и оба раза они там лежали по трое, но были то не Бяржонскисы, а вот средний — очень похож, но не Паулюс. Столько тогда и знали: если мертвым, убитым никто не видел, значит, жив пока. Если же подстрелили и закопали, все равно не узнаешь где.

В ту пору, как Паулюс ушел в лес, слегла сноха — жена брата. В самое время слегла. Паулина помешалась бы от векования в своем закутке, от глядения на пустой проселок, по которому изредка проезжал раздолбанный грузовик, полный стрибами[1] и солдатами. Были дни, когда стрибаки вваливались и к ним. Всем отрядом, понятно, ведь по одному боялись. Бандиты не заходили?.. Что вы о них слышали?.. А может, все ж таки заходили?.. Брат откупался двумя-тремя бутылями самогонки, всегда припасаемыми на такой случай. Все хранили и все варили, ведь самогон в пору войны, смуты, разрухи заменяет деньги и никогда не теряет в цене.

И брат, и сноха были юные сильные люди, а ребенок родился слабый и мелкий, кричал ночь напролет, что-то всегда у него болело. Хуже всего, если не знаешь, что́ у ребенка болит, потому и помочь не можешь, только носишь его на руках, тетешкаешь и жалеешь. Перед войной в местечке был доктор, хороший доктор, но русские, как пришли в первый раз, его выслали, а теперь в большом, красивом докторском доме угнездился самый их ястребятник. Правда, вместо доктора откуда-то выискался фельдшер не фельдшер, живодер не живодер, который и людей лечил, и поросят резал. Кто такому доверит малого ребеночка? И по жалости, и по душевной боли Паулина вызвалась помогать снохе, которая и по двору-то ходила качаясь. Шитья почти не было, негде было купить лоскут обыкновенного ситца, из местечка ей несли перелицевать разве что старый пиджак или юбку. Свой огород она пропололa четырежды, столько же раз могла и кар-

1. Стрибы — ополченцы советских добровольных истребительных отрядов в послевоенной Литве. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

тошку окучить, да брат запряг лошадь — и все дела, она даже расстроилась из-за этого. Однако все воскресенья принадлежали ей. Ни за что бы не отреклась она от этой дороги по лесу на подгибающихся ногах, от этого леденящего страха с приближением главной площади.

Бяржонскене с того раза больше не приходила, а сноха, которая к ней все бегала за советом и даже дитенка носила показывать, — сноха говорила, что та совсем плоха, дальше некуда. Вот Паулина и поразилась, когда перед самым закатом увидала ее на проселке, укутанную в широкий платок, под которым что-то она несла, может, какое лукошко. Ясно, что к ним идет, ведь их изба была крайняя, только не в ту сторону, где местечко. "Боже!.. — кольнуло Паулину в сердце. — Уж не свой ли саван попросит шить!.." И знала, что не откажет.

Но Бяржонскене была не так слаба, как говорила сноха. Паулина сразу же усадила гостью, та лукошко свое, рогожей прикрытое, поставила на пол:

— Ну и как ты живешь, детка?.. Знаю, что маешься, знаю, про что хочешь спросить... Живы, живы!.. Только Стяпонас ранен был, но теперь, сказали, выздоравливает. И наши с тобой молитвы пошли впрок, не иначе, я же вижу, как ты истово молишься в храме.

Паулина уронила локти на швейную машинку и во весь голос, трепеща плечами, зарыдала. Впервые с тех пор. Бяржонскене сидела над своим лукошком, как деревянная.

Когда Паулина отплакала, отрыдала, отскулила и снова выпрямилась над столом, Бяржонскене произнесла:

— У меня к тебе, Паулиночка, есть большая просьба. Как совсем стемнеет, не снесешь ли эту мою корзинку к большому дубу? Я сама не могу: ноги почти не держат... И еще вот Язбутис... Мы ведь живем с ним окно в окно.

Все немногие жители Дваралиса точно знали, что Язбутис красный. Еще до войны старый Бяржонскис нанял его в батраки, но совсем никудышный был из того работник. "Ежели пальцем ткну да еще подтолкну куда надо и колом подопру, тогда еще ладно, — сетовал Бяржонскис. — А если нет, так и лежит под кустом". Уже в первую зиму, волоча бревна из лесу, надорвался лучший битюг Бяржонскисов, однако старый хозяин ни в суд не подал, ни из жалованья не вычел, да и вычитывать было не из чего. Только перекрестил на дворе у колодца и так сказал: "Иди себе прочь, бедолага, на все четыре стороны и больше мне на глаза не являйся". Но Язбутис явился. Потеревшись в местечке год с небольшим, вошел примаком к пожилой вдове за проселком и лез на глаза Бяржонскису с утра до ночи.

Бяржонскене, чуть наклонясь, отогнула рогожку и начала объяснять про вещи, сложенные в лукошке, но сами вещи не трогала:

— Теперь, как меня раскулачили, сама немного имею. Вот полшмата сала, буханка хлеба, варенье малиновое, три десятка яиц вареных, чтобы не покололись в дороге, чего тут еще... Склянку самогона вложила. Не думай, это еще довоенный, сам Бяржонскис варил, двойная очистка, крепкий как спирт, для самой кровавой раны пригоден.

— А как я пойму, кому отдавать корзинку?

— Там человек будет ждать, он тебя хорошо знает.

"А вдруг Паулюс?!" — мысленно закричала Паулина, а в глазах заблистали лампочки.

— А если кого повстречаешь и спросят, куда так поздно, отвечай, что идешь к аптекарше, завтра-де надо за день обшить ей девочку, — Бяржонскене говорила спокойно, не повышая и не понижая голоса, и Паулина понять не могла, из чего сделана эта старая женщина: из дерева, железа или самого камня?

— А если назавтра спросят аптекаршу?

— Та знает, что говорить. А ты испугалась идти в темноте через лес и повернула назад. Ты, главное, поверху положи сантиметр, ножницы, клубок весь утыкай иглами... Сама ведаешь, что для шитья потребно. А машинка у аптекарши своя имеется. Вон, обернись в мой плат, корзина не будет в глаза бросаться, если встретишь кого.

— У меня свой, от матери.

Уходя, они ничего не сказала ни брату, ни снохе. Никому нельзя было говорить.

На дворе, на меже, на проселке было темно и тихо, но не так темно, что хоть глаз коли. Слава Богу, в небе не светил месяц, но где-то он все же был: то ли за тучей, то ли за лесом, то ли еще слишком юный, а то ли совсем уже стертый. Еще мерцали два окошка на половине брата, одно — у Язбутиса, а усадьба Бяржонскене справа тяжко и широко чернела. Как-то особенно тихо и грозно, только можно и не почуять той черноты, если не знать, что все в этом месте непременно должно так вот грозно чернеть. Подошвы готовы были ступить на хрусткую податливую дресву проселка, но она не двигалась, все стояла на месте и слушала. И слушала вовсе не тьму, а саму себя: очень ли жутко, очень ли сердце колотится? Она не была отважна, боялась мышей, пауков, грубой брани и молнии, даже еще чего-то, не все ведь уже случилось у нее в жизни, но в этот раз сердце стучало ровно, а теплота песка на проселке словно сама понукала идти. Она прошла дом Бяржонскене, усадьбу Милюса.

Дальше проселок ложился прямой и ровный, сотни раз хоженый, по обе стороны простерлись поля, и тьма запахла так, как пахнет стерня в сентябре. А дальше должна была начаться низина, приютившая редкий ольшаник. Как подросли деревца, она даже не заметила, ведь, когда ходила в школу, никакого ольшаника не было, а теперь стволы вымахали в два человечьих роста. И казалось глазам, что темнота в том ольшанике много плотнее, будто тьма была талой водой, способной сбегаться в низины. Подошвы сами почуяли, как тропа понижается, они же почувствуют, когда она понемногу станет приподниматься. А за низинкой опять будет ровно и прямо вплоть до большого дуба. Она старалась не думать, кто ее там повстречает, она только всю дорогу мысленно повторяла себе одно: "Не думай, не думай, не думай..." Так она и спустилась в самую черную тьму и тут ощутила, как зашумели ольхи и сразу несколько рук схватили ее за одежду:

— Ты куда?...

Она было приоткрыла рот для ответа, но кто-то уже тянул корзину из-под платка:

— Посвети!..

И почти сразу же тот самый голос теперь уже закричал:

— Бляяяя!.. Палец поранил!..

И верно: много там было иголок, воткнутых в нитяной клубок. Теперь в лукошко уже светили двумя фонариками, и две пары рук рылись в его нутре. Она видела, как сквозь их руки сверкнуло бутылочное стекло, а потом чей-то кулак ударил ее меж лопатками:

— Пошла!..

Сзади клацнул ружейный затвор, а она не шла, она стояла на месте в ожидании второго удара в спину и копила силы, а когда сил накопилось вдоволь, она набрала в легкие воздух и закричала так громко, как только могла:

— Паулюс, беги!..

Ее пригнали в местечко, которое таилось во тьме, притихшее и как неживое. Весь докторский двор они наглухо заколотили досками, соорудили двустворные ворота, чтобы свободно въезжали грузовики, а забор был такой высокий, что только рослый мужчина, поднявши руку, мог дотянуться до верха. В комнате ею были узнаны четверо: два брата Василюсы, Вищунас и Сопа, остальных никогда не видала. Ее платок и корзину с провизией сразу куда-то забрали, а саму обыскали, но при ней больше ничего не было. Дальше ее не дергали, никаких бумаг не писали, в комнате было тесно — столько туда набилось мужчин и ружей; потом Красный Василюс ухватил ее за рукав и повел в коридор. Тут горела слепая электрическая лам-

почка на длинном кручёном проводе, но после проселочной тьмы ей казалось, что свет очень яркий. Василюс отпер дверь, грубо обитую (небось, ими самими) оцинкованной жестью для прочности. И тут была такая же лампочка, только опутанная какой-то проволокой, а почти всю ширину земляного пола занимали нары, сбитые из нестроганных досок. Она присела на самом краешке и услышала, что Красный Василюс задвигает железный засов и вдевает замок в две проушины. Тогда она тихо легла на шершавые доски и закрыла глаза.

С одним из Василюсов, только не с этим, с другим, по прозвищу Киленосый, она ходила в начальную школу, он учился на класс старше, а этот, Красный, к тому времени школу, вроде, окончил. В самом деле, носы у них были замысловатые: у одного — длинный, крупный, крючком, а у Красного — шишковатый, на манер клубня, будто кто бросил в него картофелину, а та приросла к лицу. Дети в местечке всегда их дразнили:

У братьев Василей
Носы вроде килéй!..

Те делали вид, что не слышат. А Красный и вправду был красный: и лоб, и круглые щеки, а среди той красноты издалека сверкали глазные белки. Есть такая болезнь, когда у человека белеют и вылазят на лоб глаза.

В другом конце подвала была еще одна дверь. Когда Красный Василюс отпер ее, лейтенант Влоб что-то писал за столом.

— Товарищ лейтенант, мы схватили эту связную Бяржонскисов!

— Знаю.

Василюс мялся у дверей.

— Чего еще?

— Говорю, может, товарищ лейтенант сам?..

— Пшел к черту!.. — с ходу рассвирепел лейтенант. — На кой она мне, вся кривая!

Влоб был красивый неженатый мужчина, при этом никто не слышал, чтобы он посещал в местечке какую-нибудь вдову или девку. Возможно, он удовлетворялся, избивая ногами и кулаками ненавистного классового врага? Всяко бывает.

Василюс лихо прищелкнул обоими каблуками и, припрыгнув, сделал “кругом”:

— Ага, блядю так ночью оттарабаним, что и загривок выпрямим!..

Паулина лежала на тех же досках, как молодая монашка, приуготовленная к отпеванию: очи закрыты, руки перекрещены на груди, как-то особенно покорно и безмятежно склонена

набок ее головка. Она открыла глаза очень коротко, на один миг, чтобы только узнать, кто стоит возле нар и громко сопит.

Василюс дернул с плеча винтовку и поставил ее к стене, потом наклонился и отвернул вверх юбку. Показались белые трусики, она их сама пошила из тонкой льняной холстины. Паулина, не приоткрывая глаз, попросила его очень тихо:

— Василюс, отведи меня сперва в ту будочку...

Василюс поначалу растерялся, но, подумав, опять взял в руки ружье:

— Иди. Не то потом обоссышь меня.

Он попросту вывел ее во двор. Тут выше входной двери горела белесоватая лампочка, такая же, как в подвале. Паулина увидела серый колодезный сруб и какую-то хозпостройку, темневшую поодаль. У высоких дощатых ворот багровела папироса дежурного.

Лейтенант Влоб даже внизу у себя расслышал три или четыре выстрела. С пистолетом в руке он выскочил из подвала на двор. Василюс торчал над срубом и палил вниз.

— Чего шмаляешь, дубина!..

— Та блядя в колодец прыгнула!

— Сама утопнет!..

— А мы будем воду потом говняную пить!..

— С аптеки воду возьмешь!..

Только теперь сбежался с оружием весь отряд — они впопыхах рванули через парадную дверь не в ту сторону и были вынуждены огибать дом. Вищунас, перегнувшись и нацелив ухо в колодец, прислушался.

— Никто там уже ни буль-буль.

Все сразу утихли, один Василюс никак не мог смирить злобу:

— Ну, блядя!.. Ну, блядя!.. Таких еще свет не видывал!..

Св. Станислав

НА центральной площади, где когда-то стоял деревянный крест и по его бокам две темных ели, теперь сооружали памятник партизанам. Ну, до памятника было еще далеко, но уже вырыли прямоугольную яму и навалили две кучи камней. Слева лежали те, что побольше, для постамента, а слева — поменьше, с баранью голову, но были две-три величиной с конскую. Все знали, что памятник будет, как пирамида, — сужением кверху, с вмурованным кованым крестом и табличкой сбоку; а на той табличке — одиннадцать партизанских фамилий, потому как одиннадцать костяков откопали в песках и на торфяниках.

Нынче Станиславов день. В местечке были еще Станиславы, но все в годах, а из молодых никто не носил подобного имени. Те пожилые и будут вечером поздравлять других пожилых. Еще были две Стаси: Рокене и Скридайлене. Но кто к ним пойдет: Рокене — вдова, а Скридайлене... Таких любить некому: все *мне*, да *мое*, да *наше*!

— Верно ты говоришь: Рокене. Пошли.

Надвинули кепки, потопали прямо по улице, потом на другую свернули и после еще раз вбок. Тут, на краю местечка, уже повсюду цвели сады. Так хороши эти три белых улочки с черным асфальтом по самой середке, но было не до того. Миновали Шимкуса, а там и Скридайлу, стали подле калитки Рокене...

— Только надо не сразу, не сразу... — тихо сказал Сопа и открыл калитку.

Рокене в избе не было, нашли ее в огороде.

— Здрава будь, панна Станислава! — оба сдернули шапки и поклонились. — С именинами!

— Спасибо, спасибо.

Недолго простояли без шапок: оба седые, с въевшейся чернотой и корявые, что головешки.

— Ты вот скажи, панна Станислава... — Сопа состроил серьезную мину, будто чем озаботился. — Вот мы заспорили, сидя в избе: за что в ответе святой Станислав? Ты — женщина при костеле, обязана знать.

— Это как — в ответе?

— Ну, каждый святой в ответе за что-нибудь: Флориан — за пожарный стан, Иоанн Рудой — за млечный удой, Анна — небесная и земная манна... А за что Станислав?

— А не знаю... Вы это без подвоха?

— Какой там подвох!

— Знаю, что святой Станислав — он за Литву заступник.

— Быть не может этого, он ведь помер. Ландсбергис!.. Кто начал — тот и в ответе!

— Ландсбергис из жидов... — пояснил Василюс.

— Чего мелете! — обозлилась Рокене. — Шляются по деревне, плетут чепуху!

— Из жидов, это факт... — упирался Василюс. И Сопа привел доказательство: как Бразаускаса выбирали, приехал такой один из Вильнюса. Он и сказал: отец-Ландсбергис при Сметоне[1] держал в Седе лавку. На той улочке, что ведет в нашу сторону.

— Вы напрочь сдурели!

1. Анта́нас Смето́на (1874—1944) — президент Литовской Республики в 1926—1940 гг.

— Ну ладно, не из жидов, пускай... — сдался Сопа. — Но ты не сказала про Станислава, за что он в ответе.

— За пьянку... — не сдержался Василюс.

— Прочь со двора! — осерчала Рокене. — Таким-то охальникам — ни капли не дам, да и нету!..

— Мы ж не задарма просим. Можем какую гряду копнуть, можем полено расколотить. Ты ж католичка, должна понимать милосердие.

— Зато вы не католики!

Сопа весь распрямился, даже стал выше:

— Больно ты умная сделалась! А была — срань помойная, слово нам поперёк робела сказать!

— Нынче зато не робею!

Выходя со двора, Сопа нарочно не затворил калитку. Уже возле Шимкуса сообщил Василюсу:

— Блядя, а больше никто. И чего ты влез со своими жидами? Она ж как сбесилась!

Вернулись на площадь и подошли взглянуть, глубока ли яма. Немелкая. Сразу пошли на попятный, как-то было неловко тут отираться, уж лучше домой.

Тот деревянный дом, где теперь они вместе жили, стоял там же, только чуть под горку, ближе к мельнице. Была у них там комната с кухонькой, два окна глядели на площадь, а они — в эти окна. Сопа себя ощущал старше Василюса, ибо дом этот раньше весь принадлежал ему. Не ему — Сопене, отцом ее строился, с допотопных лет без ремонта, ну кровля шиферная, да что толку. Сопене еще была в колхозе дояркой, когда развелась с Сопой, а ту дверь, что из прихожей ведет на другую половину, заколотила огромнейшими гвоздями. Вовремя развелась, до сих пор жива. Все остальные вымерли от жуткой своей или мужниной пьянки. Сопене хотела совсем изгнать Сопу из о́тчего дома, но тот был неизгоняемый, еще и Василюса подселил. Василюс по смерти жены продал свой дом какому-то пришлому, когда грянула мелиорация, а деньги на пару с Сопой они за год пропили. Василюса больше никто не величал Красным, брата застрелили партизаны, путать его стало не с кем. Молодым-то дзынь, какие у кого были прозвища. И с лица краснота сошла, ходил теперь сивый, что сухая трава, одни глаза среди серости белели, как раньше.

Придя от ямы, сели они у окна прямо в кепках. Забарабанили пальцами по столу.

— Не стучи тут!.. — вдруг рыкнул Сопа. — Жилы тянешь!

— А чего сам трещишь?

В этом окне яма была не видна, только левая груда камней и конус выкопанной земли. Яма злила, и когда ее было видно, и когда не было. Василюс упер глаза в пол:

— Ступа чертей, так вот ради чекушки и погибать? Надо действовать!

— Ну и действуй!

— Нечего было переться к Рокене, зря тебя слушал. Раз уж баба шастает в церковь — у такой не проси сочувствия. У этих только: Христос терпел, а Христос терпел!.. А что рядом ближний страдает — кой-кому до лампады! Что ж, и на пиво не наскребем? Совсем шаром покати?

— А ежели подкатиться к Зубене? Заново спеть ей лазаря?

— В тот раз еще говорила: больше взаймы — ни капли, залог волоки. Сколько мы ей должны?

— За четыре.

— Скажи: Зубене, пускай будет пять. Счет ровнее — запоминать проще!

— Ребенку рассказывай, не Зубене.

— Давай заложим твою медаль!

— Хрен свой закладывай, а не мою медаль! Я ее за Бяржонскисов получил!

— Много там было твоей заслуги! За Бяржонскисов...

— Заслуги не было?!. А кто поверх бункера из пулемета строчил? Там комар не вылетел!..

— Они сами и застрелили.

— Потому застрелили, что никто драпануть не смог!

— Не поэтому. Потому, что военные газу внутрь напустили. Был приказ брать живьем. А те почуяли... Вот и не взяли ни одного.

— Если б не те военные, могли бы и взять!

— Это как взять? Ты бы полез прямо к Бяржонскисам в бункер?

— Нууу... Могли гранатами забросать.

— Бубнишь невесть что! Гранатами забросать — а потом брать живыми?

— Но медаль выдали!

— Ну и радуйся. Все равно прикалывать не к чему. Пиджак вроде сита... Теперь ту медаль никому лучше не показывай.

— Не отдам Зубене! И не мечтай!

— Пойду прилягу. Вдруг придет кто? Ну худо без опохмела, ну худо...

Их старые деревянные топчаны стояли один у одной стены, другой — напротив. Оба легли ничком. Но через какое-то время Сопа перевернулся и сказал в потолок:

— Э-эх... А на 9 мая всегда прикалывал... Это ж завтра... Слышь, вот Бразаускас в силе — а вдруг все вернется?

— Навряд... Без толку даже надеяться...

— Бля!! — взревел Сопа. — Раз так — пойду и пропью!

Старая Зубене жила в конце Кладбищенской улицы. До нее — полгородка и обратно — столько же. Пока Сопа ходил, Василюс, не отрывая глаз, бдел у окна.

— Принес?

— Ну.

— Медаль-то взяла?

— Нет. Но пришлось долго лазаря петь: Зубенечка, у меня завтра такой праздник, ну такой праздник, а та медаль моей кровью омыта, хочу приколоть напоследок, хоть по избе похожу...

— Хе-хе-хе!.. — веселился Василюс. — Где стопарик?

Условились: пить будут "по-немецки". Это значит — по малости, по глоточку. Для этого надо к стограммовому стакану придвинуть спичечный коробок, положенный набок, и лить с ним вровень. Так никто не в обиде. И пей себе, хлебушка отломи, за щеку заложи и сиди тишком. Не потому тишком, что хлебец помалу мякнет во рту от слюны, а потому, что в этом вся важность, даже вся святость момента. Сидишь, молчишь и себя слушаешь: вот глоточек, разгорячая горло, потек вниз, вот уже стало жарко внутри, теперь все впитается в жилы, по ним добежит до ног, рук и выше, и тогда в голове словно раздернется занавеска — и все предстанет по-доброму.

Оба они молчали и снова глядели в окно. Уже пора было закурить.

Начинало темнеть, но одна груда камней все еще виднелась.

— Хе-хе-хе!.. — веселился Василюс. — Дерьмяной у них выйдет памятник.

— Это с чего бы?

— Так Бяржонскисов не нашли! И не найдут! Тебя спрашивали про Бяржонскисов?

— И спрашивали, и по плечу гладили, и водки сулили, и денег. А тебя?

— И меня тоже. Не знаю, не помню, когда это было! У Влоба спросите.

— А Влоб, что ли, жив?

— Живехонек! Все это время в Кретинге жил. Знатный дом отгрохал, жену завел и детей. Не торопясь все сложил, мебель и прочее — и махнул в Россию.

— А чего не пришел добровольно? Почему не арестовали?

— А он гимны пел перед сеймом.

— Ну так пускай и дальше поет. Давай наливай.

Но сначала надо было зажечь свет. Встав со стула, Сопа задернул занавеску со своей стороны, Василюс — со своей. Теперь спешить было совсем некуда. Они выпили "по-немецки"

раз, и другой, и третий. Василюс даже побагровел, хотя и не так заметно, как в юности. И речи пошли бойчее. Ничего, что про то же: кто ловил, кто давил, кто стрелял, кто в карауле стоял.

Наливали скупо, а бутыль все равно пустела. И к полуночи вся истощилась. Василюс даже раз-другой хлюпнул носом.

— Слышь!.. — Сопе стукнула в голову добрая мысль. — Пойдем и насрем в эту их яму!

— Неа... — затряс головой Василюс. — Не выйдет.

— С чего ж не выйдет?

— Грохнемся вниз — и все.

— Да ладно! Я сяду — ты меня придержишь, потом я тебя.

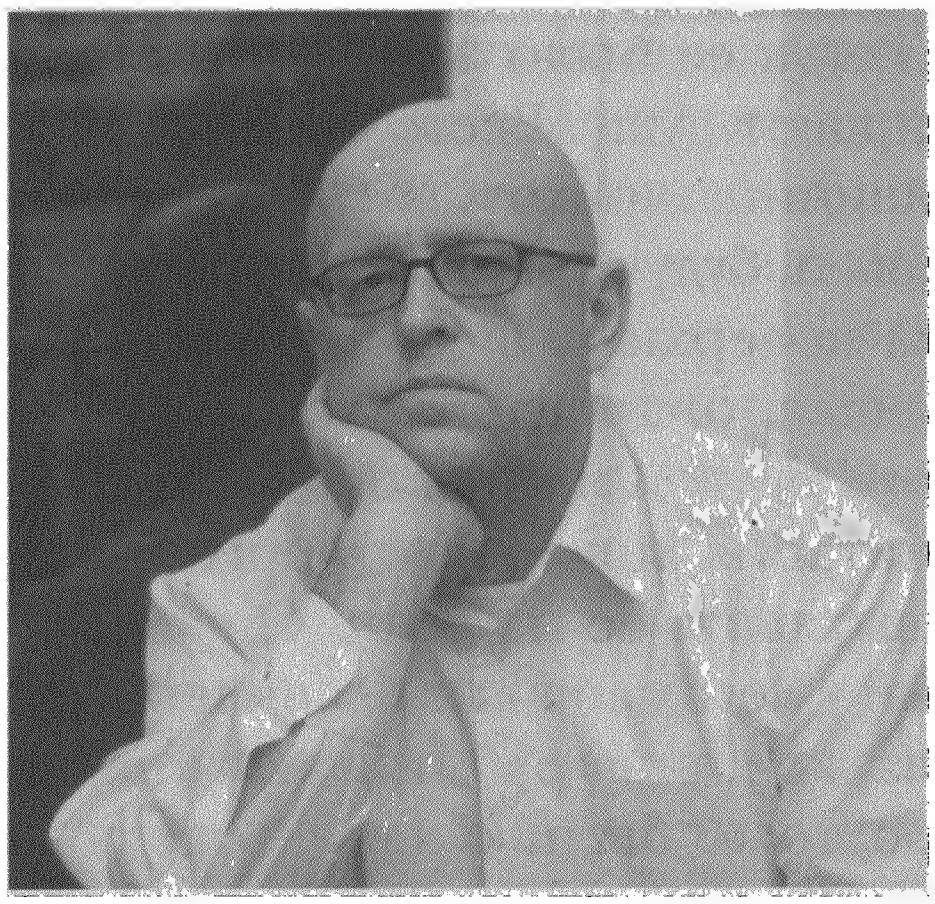
— Нее... Ноги послабли.

— То твои, а у меня еще — во!

Сопа встал, сделал вперед три шага — и припал на одно колено, даже пол затрещал. Хорошо еще, что ладонями успел упереться в край каменки. Снова присел к столу, уронил голову и застыл.

— Чего с тобой? — удивился Василюс. — Так больно ударился, что слез не уймешь?

Саулюс Томас Кондротас



Рождение нации

Перевод Томаса Чепайтиса

ЖИЛИ мы вслепую, как только что выпавшие из гнезд пташки, и непорочная жизнь наша была однообразна и скучна, если не считать двух сезонов, набухших ожиданием чего-то. Каждой весной, эдак в марте, талый снег превращал высохшее русло реки в мощный бурлящий поток. В его бурых струях проносились мимо нас ветви, стволы деревьев, выкорчеванные пни, кусты, пучки травы. Мужчины баграми вытаскивали бревна на берег, оставляли их сушиться, потом рубили на дрова и везли на телегах домой. Огромные ветви, облипшие грязной травой, и корни, все в глине, таили диковинные закуты, полные неожиданностей: то труп какого-нибудь животного, то настоящего утопленника. Мертвецов мы хоронили сразу, пока они не начали разлагаться и распространять заразу, но сперва тщательно обыскивали их, выворачивали карманы: вдруг попадется монета или другая ценная вещица. Чаще всего мы ничего не находили, но порой у утопленника в карманах обнаруживалась глиняная трубка, складной ножик, медный портсигар или даже серебряные часы-луковица. От женщин обычно не было никакой пользы. Там, в горах, живут настоящие голодранцы, не тратящие денег на украшения своим женщинам — у тех даже обру-

© Saulius Tomas Kondrotas, 2004
© Томас Чепайтис. Перевод, 2015

чальных колец нету. Единственным подарком судьбы могли быть те случаи, когда женщина утонула недавно, была молодой и на вид пригожей. Тогда ее было жалко, а жалость со страданием, конечно, очищают душу. Всего однажды в истории нашей общины утопленница пригодилась нашедшему ее мужику. Женщина очнулась, и, будучи зарыта неглубоко, взломала гроб и выбралась на поверхность земли. Бледная, как привидение, голая, дрожащая, она навела ужас на весь приход, бродя от одной двери к другой и моля о помощи. Никто не откликнулся на ее причитания, никто не отворил ей двери, кроме того мужика, что вытащил ее из реки. Он узнал ее и впустил к себе в дом. Семьи у него своей не было, и он вскоре женился на ней. Она была женщина работящая, и подарила ему пятерых — все пятеро тоже были очень трудолюбивы. Они построили себе большой дом и жили не тужили, не ведая ни голода, ни горя. Так что этот человек был вознагражден за свое доброе дело, но в глазах общины ни женщина, ни ее дети никогда окончательно не избавились от презрения: во-первых, она так никогда и не научилась правильно выговаривать по-нашему, во-вторых, она нам так всегда и казалась ходячим трупом. Чтобы это больше не повторилось, гробы мы теперь делаем очень крепкие и могилы роем глубокие.

Каждой осенью, эдак в сентябре, навьюченные товарами и новостями, к нам прибывают чужеземцы. Они бывают двух видов. Цыгане приезжают в кибитках, скупая все, что мы производим за лето: овечью шерсть и козьи сыры, дубленую кожу и мед диких пчел. Они стараются заплатить как можно меньше, но, кроме них, некому пополнить наши кошельки, потому мы не слишком сердимся. Кроме того, хоть они и обманывают нас, но сами не кажутся богачами. И впрямь, выглядят они неказисто, грязнее и бедней даже нас, ей-Богу. И это приятно.

Торговцы другого рода, хотя не такие уж и другие, — это евреи. Они приезжали к нам на доверху груженных товаром телегах: ткани, нитки, пуговицы, иглы, топоры, камфара, конфеты для деток, чего только душеньке угодно. Вещи, без которых мы не можем обойтись, и вещи, без которых можем, но не хотим. Деньги, выуженные у цыган, долго в наших кошельках не задерживались и перекочевывали к евреям.

Порой чужеземцы привозили с собой частички загадочной цивилизации, начинавшейся там, где оканчивался наш мирок. То были неимоверно дорогие, большинству из нас недоступные товары: швейные машины, выделывающие такие швы, что мы диву давались; ружья, которые можно было зарядить не одним патроном, а несколькими; устройства, благодаря которым с сыроварением справился бы и младенец;

магниты, с которыми так удобно искать потерянные иглы; увеличительные стекла, позволяющие разжечь огонь, направив луч солнца на сухой лишайник, — словом, всякие чудеса. Порой пришельцы привозили деревянные ящики, которые они называли фотографическими аппаратами и нас снимали, а мы покупали у них эти снимки для украшения своих жилищ. Иногда у них были с собой фотографии, на которых позировали голые курвы с бритыми лобками: сиськи, как сырные мешки, а кожа такая белая, что видны жилки. Этих уж совсем невозможно было не купить, каждый мужчина в нашей деревне где-то прятал одну-две фотографии; ты мог часами разглядывать их, воображая умопомрачительные вещи. Даже у священника было несколько таких снимков, он их прятал среди страниц Библии. Во время мессы, когда он надолго умолкал, мы знали, что он раскрыл не ту страницу.

Немалый спрос имели и фотографии простых людей, которых эти скитальцы посетили в своих странствиях. Эти стоили гроши. Вы можете спросить, почему мы их покупали? Да потому, что люди на этих фотографиях были не такие, как мы. Ничего даже отдаленно похожего. То были приятные, чисто выбритые мужчины и красивые женщины в шляпках, все улыбались: никаких тебе пожелтевших зубов, волосы тщательно пострижены и причесаны, а одежда такая легкая, что в ней ни поле не вспашешь, ни овцу не зарежешь, — она сразу превратилась бы в лохмотья. Руки, в которых они держат бокалы вина или мундштуки с сигаретой, не созданы для труда. Такими длинными, тонкими пальцами невозможно поднять вилы с навозом. Кто их кормит? Это было для нас загадкой. По одной из гипотез, они так отличались от нас, что вообще не ели, потому им и работать было не нужно. Хотя это еще бабушка надвое сказала: глядя на них, ты не мог представить, что эти женщины когда-нибудь ходят на горшок или что у них вообще есть задний проход. Когда мы спрашивали об этом наших гостей, те отвечали: “О, нет сомнения, что они это делают. Разве что потом дочиста подтирают зад специальной бумагой”. Хочешь верь, хочешь проверь: то ли врут, то ли сами не знают.

Хотя солнца здесь вдоволь, осень у нас в горах холодная. Вечерами мы сидели, прижавшись друг к дружке, и пили мутную сливовицу, от которой темнеет рассудок, но согревается душа. Именно тогда у пришельцев развязывались языки. Поначалу они кидали какую-нибудь новость — а для нас все новость, — кидали ее на стол осторожно, как игральные кости, но вскоре теряли бдительность и, чувствуя себя в безопасности, сыпали новости, как горох.

Начинали они с невиннейших историй, своих личных дорожных впечатлений. Но к концу вечера души все больше распахивались, рассказы становились всё забористей, все подробнее — и понемногу мы узнали много такого, что навсегда изменило нашу жизнь.

Пожалуй, одной из самых странных вещей, которую поведали нам пришельцы, было то, что где-то есть море и что наши птицы прилетают с берегов этого моря; что оно не так далеко от нас, около ста километров, вряд ли больше.

Тут я должен отступить на шаг в сторону, нужно сказать пару неотложных и важных вещей. Первая — про чувство расстояния. Я хорошо помню ту ночь, когда они рассказали нам про море, потому что вечер перерос в страшную драку. Цыгане говорили, что море от нас в ста километрах, евреи утверждали, что оно ближе, а мы совсем потеряли головы — что это за напасть такая, километр? Евреи обозвали нас тупицами, и нам это не понравилось. Известное дело, мы не слишком речисты, но и замшелыми шпалами нас тоже не назовешь. Одно то, как ты измеряешь расстояние, еще не делает тебя ни светочем разума, ни ослом. Хотя кто его знает? Мы поспорили, и пришельцы проиграли. Хотя это не так уж важно.

Важно другое — море и птицы. Каждой осенью южный ветер приносил в наши края истощенных чаек; люди глядели на них — и создалось впечатление, что мир не кончается на наших горах, что он стелется вдаль, словно сон. Помнится, еще в школе мы, облепив окна, глазели на странных, усталых птиц, дремлющих на площади. Мы кормили их кукурузной кашей, но чаще всего у них даже не хватало сил ее проглотить. Они ничего у нас не брали, ни воды, ни корма, просто сидели, копя силы, а ночью исчезали. Улетали своей дорогой.

Правда, не все. Самые слабые оставались, и тогда мы могли с ними делать все, что взбредет в голову. Исподволь это вошло у нас в привычку. Мы ждали, пока птицы не околеют, тогда учителя вспарывали им животы и показывали, что внутри. Там была уйма интересных вещей: останки рыб, малюсенькие моллюски, какие-то рачки, водоросли, то да се. "Это водные птицы, — говорила учительница. — Им пришлось проделать долгий путь, прежде чем они попали к нам". И хотя после третьего закона термодинамики учительница сошла с ума и повесилась и это автоматически опровергло многое из того, чему она нас учила, нам всегда казалось: быть может, море где-то и есть, только чтоб до него добраться, нужны крылья, а возможно, в пути и погибнешь, как чайка. Поэтому мы не забивали себе голову и никогда это не обсуждали. Мы просто ползли по жизни, будто на четвереньках:

понимали, что некоторые вещи есть, ничего не попишешь, но никогда не пытались их себе представить или приручить сердцем. Как вдруг являются какие-то цыгане с жидами и пытаются вывести нас из равновесия...

Но они своего достигли. Зернышки, рассыпанные пришельцами, проросли в наших сердцах тоской, и вскоре не было и дня, когда бы мы не думали, что море так близко, всего сто километров, что бы это ни значило. Мы доили своих коз и стригли овец, как вдруг нас охватывало чувство, что оно достижимо. Всего сто километров, что бы это ни значило... Это же, черт возьми, измеримо, а если измеримо, то и достижимо.

Однажды мы не выдержали, собрались все вместе, около тридцати мужиков, и спустились с гор. Четыре часа в битком набитом автобусе с немытой деревенщиной, землистые лица которой навевали мысль о кладбище, воняющей сигаретным дымом, с кудахтающими курицами в корзинках. Люди в принципе хорошие, все христиане, распоясывающиеся только, когда начинают желтеть их гнилые зубы; они выспрашивали у нас самые разные вещи и делились бурдюками с вином. Когда путешествие уже близилось к завершению, мы, знатно нарезавшись, дрыхли как хорьки или суслики...

Что же мы увидели, вытряхнувшись из тарахтящего автобуса с похмельными головами, — мы увидели край, или страну, пока еще безымянную, меланхоличную и таинственно нежную страну, освещенную солнцем. Мы сидели на пыльном придорожном лугу и просто глядели по сторонам. Деревьям, казалось, тесно в своей шкуре — они метались в послеполуденном ветре. Перезрелые фрукты, головокружительный запах эвкалиптов, мгновения, до смешного похожие одно на другое, так что все вместе казались какой-то длиннотой. Голоса, чересчур грубые для такой нежной сиесты, усыпляющее жужжание мух, едва ощутимый запах дерьма.

Мысли — неважные, бесцельные, краткие, никуда, ритмичными волнами. Глупые. Тоже.

Спустя какое-то время, когда первые впечатления немного улеглись, мы поднялись и пошли к морю. Мы ни у кого не спрашивали, где оно. Шли по запаху, по сырой вони, липнущей к ноздрям, хорошо нам знакомой, — ровно так же воняли птицы, залетавшие в наши края.

Необъятной шири корыто! Сияющее на солнце огромное зеркало, отражающее жидкие белые облачка и чаек на голубом дне — и впрямь величественное, но не совсем то, чего мы ожидали. Ни малейшего признака драмы. Оно разлеглось там, оцепенелое, сонное, слишком апатичное на наш вкус. В отличие от трепетного напряжения наших гор, море было

равнодушным, словно ничто ему не было важно. Нас с отчаянья охватила злость. Столько надежд, упований, столько волнения — и ни капельки радости...

С другой стороны, нас раздражило не только отсутствие развлечений, была задета наша гордость. Нас не предупреждали, что горизонт здесь будет так широк: мир оказался огромен, куда больше, чем мы осмеливались представить. На фоне этого бескрайнего равнодушия мы чувствовали себя мелкими и незначительными. Неважно, где мы были, там или здесь — ничто не имело смысла, мы могли сгнить заживо у себя в горных селах, и никто бы этого не заметил. Наши горы были живыми и тотчас же откликались на зов. Достаточно было громко сказать что-то, и все слово в слово возвращалось нам эхом или даже вызывало обвал. Тут не было эха. Совсем. Как будто мы вдруг оглохли. Весьма прискорбно.

Так вот, мы все это обсудили, пока шли пляжем к маяку вдалеке. Не удавалось только договориться, возвращаться ли домой, раз море мы уже видели, или еще покрутиться тут часок-другой. Уже казалось, что наш отряд расколется, как вдруг кое-что произошло — и заставило нас заново сплотиться.

До маяка оставалась половина пути, когда мы подошли к променаду. Едва поднявшись по лестнице, мы увидели нечто такое, от чего у нас перехватило дыхание, а вскоре принесло еще одно разочарование. Нас окружила густая толпа, и эта толпа поразила нас, ибо в ней были все те люди с фотографий, годами глядевшие на нас со стен. Люди в белых одеждах, беседуя, прогуливались под каштанами. Женщины с зонтиками, мужчины с тросточками, некоторые с собачонками на поводках, семьи с детишками, выглядевшими уменьшенными копиями своих родителей. Ошарашенные, мы стояли не в силах оторвать от них взгляда, думая, что этого не может быть, что весь этот сияющий, улыбчивый род живет в двух часах пути от нашего мира, а мы об этом даже не подозревали. Мы почти сразу забыли море и простили ему то настроение, что оно в нас вызвало. С другой стороны, эти люди тоже не обращали на нас ни малейшего внимания, будто мы были для них слишком мелки или прятались за какой-то стеной.

Но их презрение к нам на этом еще не кончилось, потому что через часок мы услышали где-то за деревьями музыку оркестра. Но какую! Простую, земную, странную, обольстительную и бесстыдную, у нас прямо крыша съехала: мы краснели, потели, словно подростки, когда они трахались с овцой.

Жаль, никто не видел, как энергично мы вбежали в парк с дощатым помостом для танцев и оркестра, игравшего такие жаркие и пряные мелодии, что сразу пересыхало горло, а у

новичков, наверное, обострялась язва желудка. Толпа, хоть и радовалась музыке, держалась вежливо, и либо прикинулась глухой, либо и впрямь за отсутствием музыкального слуха ее не слышала. Пары весело прыгали кто как, но было видно, что музыка их не заводит.

Для нас эти звуки были словно струя керосина на гаснувшие угли. Мы вспрыгнули на помост, схватили по девке и пустились в безбашенный пляс, как то велела музыка. Ошибка выяснилась тут же, потому что девушек хватил столбняк и танцевать с ними было то же, что перекидывать мешки с картофелем. Мало того, их родители оправились от удивления и в ярости орали что-то на языке, на котором мы не понимали ни слова, махали костылями, потом забрались на танцплощадку и силой вытаскивали своих дочек из наших объятий. Убедившись, что с нами не осталось ни одной, они прогнали нас сперва с танцев, а потом и из парка.

О, мы пришли в ярость, советовались, отойдя в сторонку, что делать, вооружиться ли и отлупить их сразу или прийти попозже. Пока мы решали, подошли две улыбающиеся барышни. В черных сетчатых перчатках, с белыми зонтиками в руках, они обнюхали воздух вокруг нас и что-то сказали на своем языке. Увидев наше замешательство, они сменили наречие на другое, не наше, но настолько похожее, что мы почти все поняли. Им понравился наш запах — баранина с луком, он будил в них воспоминания о дачах в горах, не в наших горах, но в похожих горах где-то еще. Они, дескать, видели нас пляшущими и, если нам и правда хочется потанцевать, им известно одно местечко, куда лучше этого помоста в парке с надутыми ничтожествами, которые только прикидываются, что танцуют. Барышни проводили нас в дом на той же улице, где нам обрадовались: стадо женщин в ночных рубашках, куцых шелковых юбочках или вообще голых, в одних чулках, встретило нас очень весело. Увы, и тут нас подстерегало разочарование, потому что все улыбки исчезли, едва выяснилось, что у нас нет денег. Мгновенье спустя нас не слишком вежливо выпроводили вон. Мы стояли, унылые, обманутые, помятые ихней охраной.

Мы уже успели порядком проголодаться, так что нашли дешевую забегаловку, в которой нам дали хлеба с рыбой, да вот беда, мы к ней не привыкли. Все закончилось довольно весело, насколько я помню, потому что повара забыли вынуть у рыб глаза, и те глядели на нас с такой неприкрытой злобой, что есть их было все равно как биться насмерть. Надо сказать, что рыбы победили: почти всех нас вырвало чем-то зеленым. Половые совсем растерялись, и это увеличило общее недовольство нами. Мы это чувствовали.

Уже смеркалось, когда мы прошли всю дорогу назад — еще разок взглянуть на море перед возвращением домой. Тогда-то и случилось самое важное.

Был отлив, и море отступило, обнажая тьму всяческих вещей. Зрелище голого морского дна, где совсем нет никакой воды, разозлило нас даже сильнее тех выпучивших глаза рыб. Видеть такое дно моря было стыдно. Постыднее чем в борделе, потому что там было так задумано, а тут — лишь неприличие природы. На променаде никому — ни матронам с зонтиками, ни усатым кавалерам, ни танцорам из парка, ни полуголым курвам и их сутенерам — даже мысль о таком неприличии не приходила в голову...

Утомленные событиями дня, мы уехали на скрипучем автобусе домой, вышли на знакомом перепутье и взобрались на крутой косогор сквозь заросли горькой полыни под широким, унизанным звездами небом. Не произнося ни слова, мы пили свежий воздух своих гор без этой соленой вони.

Мы вернулись иными. Теми же, но и нет. Пропала невинность. Мир может быть таким большим, что в него вместится и море, но нам в нем места немного. Мы — путники, непрошеные гости, засранные пришельцы, с которых лучше не спускать глаз. И это нам не понравилось. С другой стороны, мы радовались хорошим, трезвым чувством — наш ум прояснился, в душе зарождался лад. Никогда прежде мы не были так едины.

На следующий день все, что мы годами подбирали за цыганами и евреями, вылетело в трубу — все доказательства, что где-то там, за нашим мирком, простирается таинственная цивилизация. Мы сожгли снимки этих курв, ну так что ж, если сиськи у них, как сырные мешки, ничем они не лучше наших овечек. Смеясь, мы обратили в прах и пепел приятных, чисто выбритых мужчин и их красавиц жен в шляпках, все эти улыбки без единого гнилого зуба во рту. Нам теперь было наплевать, едят ли и срут ли они...

Мясо чаек, особенно жареное, не так уж дурно, разве что жуется с трудом. Но мы это делали не с голодухи, не потому что нам нечего было есть. Нам больше не были нужны ни пришельцы, ни проходимцы, ни чужеземцы, будь они людьми или птицами. Вот отчего...

Теперь мы ждем весны...

Встали в круг, взялись за руки, смеемся *по-македонски.*

Альвидас Шляпикас

Выпускной вальс

Перевод Тамары Перуновой

Посвящается Гинтарасу Граяускасу

— НАШУ школу не забудем и на стены ссать не будем! — пьяно мычал радостный Альгис, опорожняясь за углом школы.

Данюс стоял несколько поодаль от одноклассников, курил и глядел в небо. Звезды были неправдоподобно большими в светлом, тихом, вечереющем небе, и Данюсу вдруг подумалось, что наверняка кто-то еще смотрит на эти звезды в Африке или Италии: вот так же смотрит сейчас и видит такие же нереально яркие звезды. Его охватила непонятная грусть, однако глубоко в сердце тут же заскребся какой-то неуемный чертенок — Данюс вдруг понял: наконец-то он станет по-настоящему свободным и весь мир будет принадлежать ему.

— Не торчи на дороге, — Зигмас раздраженно отодвинул Данюса в сторону.

Когда мальчики вернулись в актовый зал, директор произносил очередную речь, приличествующую моменту: возносил руку с бокалом шампанского и желал всем светлого пути, "а главное — быть людьми". Данюс стоял у стенки рядом с дверью и видел, как мать тоже с бокалом в руке подбежала к директору,

© Alvydas Šlepikas, 2013
© Тамара Перунова. Перевод, 2015

обняла его и поцеловала, несколько ошеломив своим женским энтузиазмом. Потом она повернулась ко всем присутствующим и, выкрикнув: “Да, да, чтоб были людьми, людьми были”, — запрокинула полный до краев бокал и осушила его до дна. Волосы у нее были всклокочены, лицо раскраснелось и светилось какой-то безмерной животной радостью. Данюс опустил взгляд на свои ботинки, которые, несмотря на вычищенность до блеска, давно напоминали двух жаб.

— Ну-ка, девчата и пацаны, выпейте и вы, сегодня уже можно! — захмелевший отец Зигмаса совал всем стакан водки, к которому то и дело прикладывался сам.

Данюс со стороны наблюдал, как по залу закружились в танце училки и принаряженные родители одноклассников.

— Бля, Рыжий, все, не буду тебе больше вешать пендели. Ты понял? Не буду, и твою мордаху больше не увижу, — станешь по мне скучать, а, Дань?

— Альгис, оставь ты этого дурачка в покое хоть сегодня.

— Ха, и костюмчик к выпускному приобрел классный — чистый писец, весь же, как шевелюра, ты же теперь рыжий с головы до ног!

Данюс стоял молча. Что он мог ответить? Костюм и вправду был рыжий, почти красный, как и его волосы. Мать привела в порядок почти неношеный костюм покойного отчима. Одежка была выпускнику великовата, Данюс, стоя у стены, чувствовал себя, словно его зашили в мешок.

Неожиданно перед ним возникла мама. Она была оживлена, весела и очень довольна: сын, которого она так трудно растила и которому часто не хватало самой обыкновенной еды, вот он стоит красивый и стройный, и костюм Антанаса, старательно перешитый, так ладно сидит на его худощавой фигуре.

— А ты, Данюс, чего не танцуешь? Приглашай девочек. Танцуйте, дети, сегодня ваш праздник!

Данюс молчал, он хотел, чтобы она поскорей ушла, ему было стыдно за свои ботинки и свой костюм, он не знал, куда девать руки. А главное, ему было стыдно за мать, такую необразованную, такую нелепую среди других родителей, приглаженных и ухоженных; стыдно за ее красное лицо, ее возбуждение, ее зеленое с вышитыми цветами и блестками старомодное платье, за этот идущий от нее запах: он пропитывал волосы, одежду и руки всех женщин-работниц на лисьей ферме, его не перешибал ни один одеколон.

— Девочки, чего не танцуете? — мать повернулась в стайке одноклассниц. — Хватайте Данюса, поглядите, какой он у меня, а как пляшет, сама учила!

— Мама!

— Чего стоишь, приглашай девушек, — велела мать Данюсу и прикоснулась рукой к лицу сына, словно хотела убедить-

ся, что это и вправду ее сын, наконец возмужавший, однако такой по-детски робкий и наивный.

Данюсу хотелось провалиться сквозь землю. Одноклассницы поглядывали в его сторону и, посмеиваясь, о чем-то шептались, насмешливые, глумливые улыбочки кривили их губы.

Мать выволокла сына на середину зала, и они сделали несколько неуверенных па.

— Почему я должна тебя вести, тебя же учили, — тихо шепнула мама на ухо сыну.

Данюс чувствовал, что все на них смотрят, ноги стали вялые, словно картофельная ботва, пот прошибал, и ему казалось: никогда этот танец не кончится. Мать в самом деле обучила его вальсу, вечерами они кружились в пустой комнате, и сын, весь в поту, то и дело наступал матери на ноги.

— Пригласи на танец какую-нибудь одноклассницу, не стой, как пень... Ты такой красивый, сынок, я горжусь тобой.

— Мама, ты пьяна...

Танец закончился, все опять бросились к еде. Данюс сидел почти в самом конце стола. Мать взяла бокал, подошла к директору и что-то ему сказала, директор расхохотался, после чего они чокнулись и оба выпили. Данюс уткнулся взглядом в стоявшую перед ним тарелку, на которой приятно соседствовали обглоданный окорочок и ананасная корка.

— Иду домой, с директором уже попрощалась, тебе станет спокойнее, не будешь таким робким. Повеселись хорошенько, — промолвила мама и влажными губами поцеловала его в щеку.

Данюс понимал: он должен ее проводить. Если не до самого дома, то хотя бы до дверей. Однако не двигался с места, а продолжал смотреть на грязную тарелку.

Вновь звучала музыка, кто-то танцевал, кто-то громко смеялся. Отец Зигмаса, расстегнув пиджак, со знанием дела продолжал разливать водку всем подряд, настаивая, чтоб каждый пил до дна. Очередь приближалась к Данюсу, и мальчик решил, что пора выйти покурить. Он поднялся и неожиданно увидел маму. "Блядь, эта дура, мать Рыжего, опять возвращается", — услыхал Данюс.

Мама приблизилась. Выглядела она растерянной.

— Почему ты вернулась?

— Со мной такого еще не было... вышла из школы и не знаю, в какой стороне дом. Иду туда, иду сюда, и не понимаю, куда идти, — голова закружилась... ветер сильный, деревья шумят, вижу какие-то огни, а где дом — не знаю.

— Как это, не знаешь, где дом? Прямо вдоль акаций, потом налево, немного пройдешь — и дома...

— Понимаю, но так закружилась голова, ужас просто, такого раньше не бывало. Правда, сынок, идем — проводи, стыдно кого-то просить, я, правда, дорогу никак не найду, только не говори никому — проводи и все.

На улице они увидали, что все как-то странно переменилось — ветки деревьев царапали наэлектризованную ночную тьму, звезд не было видно, чёрные облака заволокли небо, слышалось глухое прерывистое гудение церковного колокола под ветром. Данюс и его мать шли вдоль акаций, потом свернули в сторону церковной стены — чем дальше от школы, тем кромешнее становился мрак. Что-то треснуло, видно надломилась ветка старого клена, посыпались искры с электрических проводов и потухли последние огоньки в городских окнах.

Они шли вперед, однако Данюс уже не был уверен, что идет правильно. Мать сохраняла равновесие, крепко уцепившись за руку сына, и тоже ничего не видела. Темнота наплывала со всех сторон и, казалось, густела.

Вдали что-то зарычало, завыло, потом грохнуло, как грохочет летом в грозу, небо на мгновение озарилось, но светлее вокруг не стало.

— А вдруг там пожар? — сказала мать в страхе.

И точно, где-то вдали полыхало зарево, а сквозь ярость и рычание ветра временами слышались грозные, неясные звуки.

В растерянности они не понимали, куда идти. И в этот миг, будто рассеченное огромным ножом, треснуло полотно черных туч, застилавших небо, и возникшую прореху заполнила гигантская ослепительная луна. Мир перечеркнули изломы деревьев, грозные контуры ночи. Ветер не утихал.

Было необъяснимо жарко, и мальчик учуял тягостный запах гари.

— Сынок, — вскрикнула мать и, будто щипцами, стиснула руку сына. — Господи, что это, Даник?

Теперь Данюс тоже увидел — нечто огромное, исполинское поднималось над ними; трудно было поверить, но это *нечто* подцепило могучее, растущее напротив дерево, и мгновенно сбрило с него все толстые ветки. Мать с сыном стояли, объятые ужасом, а ветки падали вниз, чудом не задевая людей. Ноги словно вросли в землю, пустили там корни и не давали двинуться с места. Вставший перед ними гигант испускал невыносимый смрад, а бешеный ветер разносил эту вонь по округе. Чудище невероятных размеров обернулось к людям, и они увидели два большущих звериных глаза, каждый размером с луну.

— Бежим, сынок, бежим, — воскликнула мать.

— Мама... — едва отозвался сын.

Они пустились бежать, спотыкаясь и падая, ветви кустов рассекали им лица. Они слышали, как за спиной ломаются и визжат падающие деревья.

Внезапное пламя осветило округу — деревья, корявые комли, почему-то сваленные друг на друга, куски бетона и какие-то обломки металла. Мать с сыном упали, прячась в груде камней, и огонь оступился, но стало казаться, что теперь горит сама земля вокруг. Данюс вылез из-за укрытия и увидал, что зверь уже рядом.

Мать ухватилась за его руку, и они побежали дальше, не помня себя. Вдруг Данюс, поскользнувшись, упал на землю: расшиб локоть и расцарапал лицо. Он лежал на земле и смотрел, как огромная, мерзко шипящая голова приближается, а в ее глазах ясно видны змеиные зрачки. Тварь приоткрыла пасть, и Данюс почувствовал, как из ее глотки извергается страшный жар, словно внутри полыхала доменная печь.

Данюс смотрел не мигая и понимал, что сейчас умрет. Зверь как-то странно повел головой, будто курица, заметившая червя, и еще шире распахнул пасть. В эту секунду послышался материнский голос. Мать, защищая сына, рванулась вперед — встав между сыном и этой гадиной, и с отчаянным криком принялась тыкать в звериные ноздри палкой, подобранной тут же. Зверь зарычал, встряхнулся и резким взмахом подхватил маму Данюса своей жуткой пастью, усеянной огромными зубами, тряхнул ее, будто цапля, поймавшая рыбу: послышался хруст костей, брызнула кровь, измазав Данюсу лицо, потом зверь запрокинул голову и, часто подергивая чешуйчатой шеей, поглотил жертву. Данюс видел, как исчезают ноги матери в этой зловонной пасти.

Сердце, казалось, выпрыгнет из груди, и хотелось проснуться, но это не было сном. Из звериной пасти торчал деревянный кол, вогнанный матерью, и текла смердящая черная кровь. Чудище трясло головой, терлось мордой о землю, рычало от боли — Данюс его не интересовал. Потом зверь вновь отрыгнул огонь, так что заполыхали дубовые ветки, развернулся, расправил огромные могучие крылья, затмившие небо, взмахнул ими и тяжело-тяжело, ломая все вокруг, поднялся, сделал несколько кругов по обложенному тучами небу и улетел. Несколько мгновений Данюс лежал на земле и смотрел на звезды. Сияла слепящая, злая луна, ветер стал утихать.

Наконец он поднялся с земли. Ноющей от боли рукой стер с расцарапанного лица липкую кровь.

— Мама. Мама... — тихо произнес Данюс.

Он был один.

Огляделся вокруг — все кругом изменилось, будто с глаз упала невидимая пелена: он стоял на окраине городка, четко виден был дом соседа.

Данюс прислушался. Везде было тихо, только со стороны школы ветер доносил музыку. Издалека, словно сквозь пыль времен, горько и безнадежно звучал выпускной вальс.

Дануте Калинаускайте

Выселить призрака

Перевод Тамары Перуновой

ПРОДАТЬ свой дом, к тому же дом, в котором ты родилась и выросла, не так-то просто. Хотя порой приходится продавать нечто и более ценное. К примеру, одного из своих чад, почку или печень — из-за нищеты, или сдавать кровь на пункте переливания за жалкую миску супа. При всех своих моральных устоях, убеждениях, тайнах и прочих неколебимостях, что скрывать — все равно продаешь. А тут всего-навсего старенький дом, в котором и жить-то некому.

В семье я из трех сестер старшая, в родительском доме прожила дольше всех: ходила за слабеющими родителями. Не стану сравнивать себя с Ферулой из "Дома духов" Изабель Альенде, смирившейся с ролью сиделки при матери, посвятившей ей жизнь и "душу свою заточившей". Однако зависимость от престарелых родителей и собственного прошлого в этом доме глубоко въелась — вросла, будто ноготь в мясо. Когда я куда-нибудь уезжала, пусть ненадолго, одно мое легкое всегда оставалось дышать там — за них: глядишь, мама, заплутав в собственном доме, сляжет от недоедания или отец, вздумав поглядеть

© Danutė Kalinauskaitė, 2008
© Тамара Перунова. Перевод, 2015

на мир, заберется на крышу и раскрошит бедро — кости у стариков хрупкие, как стекло. Полтора года назад не стало отца, а через полгода мама умерла в психбольнице. Теперь дом продается. *Ты обретешь свободу и, наконец, вздохнешь с облегчением,* — говорит мой друг. Вздохнула бы, отвечаю, но не вернуть мое легкое — то, которое осталось в родительском доме. Там остался и мой сон, крошечными ночными дозами отмерявшийся на аптечных весах. Осталось еще кое-что, чего я никогда не смогу вернуть. Запахи этого дома: компота из ревеня, вишневых сумерек, нечесаной шерсти, прелых листьев, полинялого на солнце полотна — они преследуют меня в самых неожиданных местах: на улице, рынке, в парке, в моей или чужой квартире, — и тогда мне кажется, я никогда уже не стану свободна. Не так-то просто откупиться от прошлого, чтобы оно не стояло поперек настоящего. Не об этом ли говорил поэт: *Чтоб начать новую жизнь, сперва приведи в порядок прежнюю.* И эту работу следует выполнять предельно тщательно.

...Приобретая дом, чаще всего забываешь, что покупается еще и многое другое, что не было предметом торга и не входило в цену: слоны клубящегося сентябрьским утром тумана, щиплющие траву меж деревьев; весенний паводок с рыбьими чешуйками на огороде, остающимися после того, как схлынет вода; главный певун и его гнездо в кустах смородины, порой — домовой и всегда — соседи. Однако мой "покупщик", по имени Адольф, эксперт-менеджер из "Modern Houses", которого я привезла осматривать дом и с которым мы, скорее всего, сговоримся, знает все. Едва мы входим в калитку, зрачки у этого приветливого человека сужаются, как у питона, мгновенно превращая его в холодного стратега. Сразу видно — в "Modern Houses" веников не вяжут.

Мы стоим посреди двора, и я вдыхаю испарения можжевельника. Сразу ясно — дом, вроде этого, никто добровольно не покидает, если к тому не вынудят пожар, болезнь или смерть. Родителей однажды вынудили — в войну, когда немцы погнали отца рыть окопы, а пятнадцатилетнюю маму с родителями и братьями — выгребать руками свиной навоз у хозяев в Германии. У мамы в ту пору пропало все: изба на две стороны, мебель орехового дерева, хозяйственные постройки, скотина и утварь, сгорел вишневый сад и пчелы, сучка Мирта носилась по полям, пока не свалилась в воронку от бомбы и не сломала спину. Накануне этих событий, надеясь на возвращение, родители мамы кое-что закопали: книги, фарфоровые тарелки и пузатую супницу с ручками в форме львиных голов, столовые приборы из тяжелого серебра, золотой половник, царские банкноты, американские часы и барометр. Однако,

едва они успели отбыть, как этот "скарб" тут же выкопали родственники, те самые, что были так щедры на советы, где что зарывать. "Это — пустяки, — говорила мама, когда русские стали бомбить вереницы беженцев, — ведь все богатство не сто́ит и ломаного гроша". В вязкой хляби дорог Померании среди разбросанных свитков дорогущего английского шелка и тончайших фарфоровых предметов — вывороченные кишки; еще "живые", дышащие, но уже перепачканные землей, и ничьи легкие; глаза, выскочившие далеко из орбит и глядящие с ужасом из древесной гущи... Через полсотню лет немцы надумали возместить ущерб, в том числе и "моральный", — начались компенсации. Но почему-то деньги через русские банки ползли черепашьим шагом. Возможно для того, чтобы все старички-получатели успели вымереть? Не дождались компенсации и мои родители. Понятно, тех, кто не дождался евро, тут же берут на учет высшие инстанции, и совершается подлинное воздаяние — каждому по труду и совести. Теперь, казалось бы, можно и отдохнуть. Только отец мой не отдыхает. Я его знаю: отведав голубой похлебки, как называл загробную пищу один писатель, и, подремав после обеда, он идет копать небесный окоп. Нелегко старичку, отпахавшему целую жизнь, хлопотать на том свете, чтобы наши счета оплатить. Небесные кассы нам, наследникам, сколько-то выделяют, но компенсаций этих "за прошлое" нынче хватает лишь на жалкие мелочи: оплату мобильника, на полушубок на рыбьем меху, мышь для компьютера, ну, еще на подписку какой-нибудь "Утренней жвачки". А серьезные дыры мы залатаем, если продадим этот дом, где, так уж вышло, жить некому.

— Давайте начнем изнутри, — говорю Адольфу, отпирая дверь.

Всякий раз, когда входишь, немного боязно: какой разор тебя там ждет? Но теперь нас встречает только застывшее время, засахаренное, затвердевшее, как смола. Такая тишина бывает на глубине четырех тысяч метров в трюмах затонувшего корабля. Помню, после смерти отца, забирая к себе маму, я торопливо (что свойственно литовцам) запихивала в полиэтиленовые мешки посуду, белье, пальто из каракуля и тащила все на чердак, желая перехитрить того, кто ночью разобьет окно и полезет в ничейный дом за легкой добычей. Или станет — "ради спортивного интереса" — потрошить подушки и выпускать из диванов пружины. Корабль тонет, подумала я, и мы карабкаемся на верхнюю палубу.

Теперь я вижу — красть тут нечего. И Адольфу, оглядевшему меня с головы до ног, уже ясно, к какой социальной прослойке я принадлежу. Ясно, от каких вещей я "произошла".

Вещей — без пробы. В моей жизни были минуты стыда, оттого что я вылупилась не из золотого яичка, а из отцовской шапки-ушанки. Из большого пальто на вырост, рассчитанного на пять лет носки. Из ватника — эта отцовская бессменная прозодежда теперь где-то на чердаке, а ведь она впитала мшистую осеннюю темень, дым ботвы, запах антоновки.

Адольф ходит по комнатам, простукивая стены костяшками пальцев, замирает у капитальной стены, он склонен пофилософствовать:

— Вот видите, едва люди покинут жилище, их место тут же занимает кто-то другой — природа пустоты не любит.

И в самом деле, на столе и подоконниках, даже в уголке с образом непорочной девы, — всюду мышиные какашки. Я умалчиваю о том, что под ковриком в коридоре кишмя кишит и другая живность. Уловив сигнал тревоги микроскопическими антеннами, она уже торопится, прихватив яички — свой драгоценный каракуль, — подальше во все щели и трещинки. Не знаю, кто меня дернул за язык, но я сказала:

— Не хочу вас пугать, но, кроме муравьев и мышей, у нас живет еще кое-кто.

И сразу же пожалела. Весь год этого кое-кого — хруст веточек за спиной, в полночь скрип педали "Зингера", ледяные пальцы у воротника — я скрывала от соседей. Никому не проговорилась о том, что в нашем доме по ночам приоткрывается скрипучая дверца кладовой, приглашая заглянуть... Мне известно, что в домах Англии реальный и параллельный миры прекраснейшим образом веками накладываются друг на друга, и англичане еще с тех времен, когда королям отрубали головы, соседствуют и даже дружески делятся своей жилплощадью с таинственными "формами энергий" (там никого не удивят ни Генрих VIII, являющийся в "историческом наряде" в замке Хэмптон-Корт под Лондоном, ни девушка в платье времен королевы Виктории, ни старый бородатый моряк из Давенпорта). Но я почему-то не ужилась — капитулировала. Возможно, виной тому нервы? А может — традиции? Может, земля Девы Марии[1] не слишком благоволит привидениям, даже если они предстают в историческом одеянии, наподобие костюма Барборы Радвилайте[2]? Я вздрагиваю от того, как легко Адольф готов раскрыть свою профессиональную тайну:

1. Так записные патриоты высокопарно именуют Литву — последний оплот католического консерватизма. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Она же Варвара Радзивилл (1520–1551) — Королева польская и Великая княгиня литовская, знаменитая литовская красавица, супруга Станислава Гаштольда, а затем Великого князя литовского и Короля польского Сигизмунда II Августа.

— Призраки — это, как правило, головная боль физических лиц, приобретающих домá, где что-то мерещится, а для специалистов, вроде нашего "Modern Houses", это не проблема. Призраки разного возраста, экспансивности и плотности в нашем деле встречаются часто, и мы выселяем их самым решительным образом. Даже без их согласия.

Адольф берет меня двумя пальцами под локоть, ведет через маленькую гостиную к диванчику и, как стоматолог, который только что осмотрел ваш проблемный рот и теперь должен констатировать пренеприятные вещи, говорит:

— Видите, здесь все придется сносить. Окна, двери, стены, крышу. Даже, возможно, фундамент по периметру (а для призрака любая переделка — удар ниже пояса). От всего этого останется только адрес. Он красиво звучит. Все остальное — увы... потому что для хорошего B&B ("Bed and Breakfast" — ночлег и завтрак), на котором мы специализируемся, необходимо все современное: строгие предметы интерьера, стеклянные стенные блоки, каменная глазурованная плитка, душевые кабины с кондиционерами, — "Modern Houses" веников не вяжет. Зато пальчики оближете, когда приедете сюда через полгода — ничего не узнаете. Как бывшая хозяйка, вы сможете поучаствовать в акции "ночлег со скидкой". Испытаете нечто особенное. А главное — ни один призрак не будет вас донимать. Фирма гарантирует. В случае неудачи деньги мы возвращаем... Ну, а со всем этим — тактично вздохнув, он махнул рукой в сторону стены с "Тайной вечерей" и "Грачами" Саврасова, — наши люди отлично справляются. Мы, чаще всего, покупаем со всем имуществом. Оптом. Поверьте, с этим хламом сегодня никто не возится, пнул ногой — и привет. Но, может быть, вы хотите что-нибудь взять?

— Да нет, ну что вы, — как просто, тоже оптом, я отрекаюсь от всего, что было моим домом. — Разве какую-нибудь мелочь. На память.

Как сомнамбула я брожу по пыльным артериям и капиллярам наших комнаток и не знаю, что делать. Где тут мелочи, а где драгоценности? А где — я сама? Слышу, как Адольф уже громыхает в чердачных застрехах — роется в наших "каракулях". Я топчусь у окна. Присаживаюсь на родительскую кровать. Кажется, все на своих местах: над кроватью Христос в ореоле бумажной сирени, всюду запах дряхлого дыма, палочка для задергивания штор, даже волосы на расческе, а дома — нет. И не может быть — в прошлый раз я заполнила им до отказа коробку из-под итальянской обуви. Маленькие отцовские шахматы и перочинный ножик, рецепт песочного пирога, написанный маминой рукой, чайная чашка, газовая косынка,

вышитый крестиком настенный коврик и фотографии – все, что я уместила в своем "сундучке для ловли призраков". Внезапно мне захотелось, пока не поздно, прихватить еще кое-что. И еще кое-что. Только всю свою жизнь не унести на горбу в мешке. И потом – зачем? Прошлое перестанет дышать в затылок, только если его не тревожить; если не загроможденное вещами оно спокойно переселится в гербарий, который я листаю: лепестки заячьей капусты и листья черемухи, подернутые многолетней патиной-паутинкой, слежавшейся меж страничек, пырей – когда-то я им ранила до крови пальцы и губы – теперь он совсем седой, стал похож на полоски папиросной бумаги. Хочется курить.

На дворе Адольф улаживает по телефону дела за "своим" углом в конце дома, я перекуриваю – за "своим". Мне уже известна предварительная цена, и теперь надо все взвесить. В кармане – "Турецкий марш": из Вильнюса звонит сестра Вилия.

– Ты на месте? С этим типом из фирмы? Долго держать не буду – тебе сейчас позвонит Чикаго. Лора велит ни цента не уступать этим жуликам. От себя прошу: не выдавай им наши места. Лежанку над гаражом, гамак под "Баравинкой", то деревце, ну, что весной расцветает из пеликаньего клюва. Не проговорись, что дичок годится для приготовления вина... Не выдавай призрака, – сестра хнычет в трубку.

– Все будет ОК, – говорю я, – не кисни. Держу руку на пульсе. Этого типа волнует лишь термоизоляция, а наши "места", поверь, ему по барабану.

Признаюсь, Виля меня удивляет. Я слишком хорошо знаю свою младшую сестру. По части обязательств перед близкими или привязанности к другому человеку она – марсианка. Несколько лет назад развелась с мужем. С ее слов, исключительно по причине мелких бытовых неурядиц. На деле, пока ее муж закладывал основу их молодой семьи на лондонских стройках, вкалывая по семнадцать часов в сутки и высылая деньги домой на ее счет – в общий чулок, Вилия планомерно облегчала этот самый чулок: шиковала, немного играла, потом отыгрывалась под опекой некоего приятеля, "прокатилась" к коралловым рифам, там поныряла. "Вас разделяет культурная пропасть и несоответствие менталитетов, ты не имеешь права опускаться до его уровня, – увещевал тот самый приятель, режиссер короткометражек в маркизетовой рубашке. – Он тебя не достоин и должен быть благодарен за то, как умело ты тратишь его деньги..." Когда через три года муж вернулся без переднего зуба, с дыркой в желудке и проседью в косе, которую он не остригал в Лондоне из соображе-

ний экономии (он ведь не Мик Джаггер), она встретила его несколько смущенно, точно ребенок, опустошивший тайком банку варенья. Но горячо оправдывалась и даже сама уверовала в свою правоту: мол, ее впечатлительность безмерна и затягивает с такой центростремительной силой, которую можно сравнить разве только с энергией черных дыр, поглощающих свет. Это — выше человеческих сил. И винить ее не за что. В конце концов — что такое деньги... Но муж, пребывавший на противоположной стороне культурного космоса, весьма ее осудил. Несколько недель пришлось ходить в черных очках. После развода Виля осталась ни с чем: с пачкой сигарет на завтрак, обед и ужин, без понятия — за что зацепиться, на что прожить. Вечно озябшая. С пустым желудком. Однако — не жаловалась. Марсиане — они такие: потери переносят легко, скорбят лишь о тотальном и вечном — о бойне в Кашмире, о режиссерских тайнах Ларса фон Триера или об угрозе существованию пчел, но только не о том, что они спустили чужие деньги, или что холодно, или что близкие умирают от эпидемии гриппа. Она младше меня на пятнадцать лет, и ей без всяких "капитальных вложений" известно, что "жизнь человеческая — это странствие, в которое надо пускаться налегке".

Холодно. Я лязгаю зубами. Адольф, консультируясь с кем-то (по-английски) и давая указания (по-литовски), уже распатронивает наши потайки — шифер на крыше гаража. Мне бы только не закричать. Наконец и у меня подкрепление: Лора. Ее обволакивающий голос, как сказал бы Бронюс Радзявичюс[1], "облеплен землей".

Чего мне сейчас не хватает, так это облепленных землей Лориных слов. Я так не хотела ее отъезда. А она только ждала удобного случая. Но при желании случай находится. С двумя чемоданами и гитарой она улетела в Америку к своему pen-friend'y[2] Бену.

Местного уроженца Бена воспитала бабушка: родители погибли в аварии, когда ему было пять лет. Восьмидесятилетняя Роза с перламутровыми клипсами и прической а-ля Барбара Буш, курившая, как паровоз, нажила в Америке три дома. Энергичная женщина работала всюду, где хорошо платили: полировала мебель и рубила мясо, несколько раз даже перевозила мелкие партии контрабандного груза под париком —

1. Бронюс Радзявичюс (1940—1980) — литовский прозаик, особенно популярный в 70-е гг. XX в.
2. Знакомый по переписке (*англ.*).

каштановой копной семидесятых годов, под которой затылок покрывался по́том (от страха). Когда Бен достиг совершеннолетия, а затем стал закоренелым холостяком, Роза настойчиво подталкивала его к женитьбе. Не секрет, в тех краях есть тенденция — брать невест из этнической Литвы. Бытует мнение, будто, взращенные среди чистоты и свежести, они не утратили базовых ценностей и способны приготовить яичницу. Одним словом, Лора оказалась в нужное время в нужном месте. Хотя вскоре выяснилось, что Бен как мужчина не в ее вкусе: "Сам, как тюлень, и, что настораживает, на груди ни единого волоска". Зато у него был собственный таксопарк. К тому же он обещал повозить ее по Мексике и Америке. Вскоре мы стали получать желтые конверты с фотографиями. Большой Каньон в Колорадо, синяя вода в горных кратерах, похожих на чернильницы, белая козочка в красной пустыне, Лора с Беном на фоне необъятной секвойи. В одном из писем она прислала лепестки магнолий ("Когда цветут магнолии, кажется — на деревьях множество голубей, соцветия — размером в два кулачка"), в другом — обрывок крыла бабочки, похожей на махаона. Только крупнее и ярче... Потом что-то произошло, и они расстались. Видно, "импортная невеста" не оправдала Розиных надежд: дерзкая, в супермаркетах платья выбирает самые дорогие, хуже того — носит сережки в виде крошечных бритв. До Розы дошли слухи (злые языки постарались), будто в Литве криминогенная обстановка; говорят, будто мафиози и убийцы там, в тюрьмах, кроме всего прочего, тренируются такими бритвочками резать (продольно) глаза... Расставшись с Беном, Лора в Литву не вернулась. Горестные ветры выдули из писем лепестки магнолий и махаонов. Взамен — пиццерии и мойка посуды по ресторанам. Ее обманул турок, пекущий кебабы, для которых она рубила мясо. Пакистанец, владелец гостиницы, заставлял ее бегать с пылесосом по извилистым, как арабская вязь, коридорам, отчего пересыхал язык, становясь похожим на пемзу. На нервной почве кусок не лез в горло, и она похудела на пятнадцать килограммов. В последний раз она писала об албанском ресторане. Теперь она беспрерывно таскает глиняные горшки. Но уже не расстраивается из-за опущения матки. Матки постепенно со всем свыкаются. Просто, уподобляясь своей обладательнице, матка сжимается в твердый кулачок для битья, и тогда уж ты твердо стоишь на ногах. Так твердо, что тебя не волнуют, как Вилию, всякие мелочи.

— Ты не проговорилась про дыру в трубе? Замаскировала в подвале то место, где сочится вода? Сделала в салоне косметику? Где? Господи, там, где плесень в углу, уже забыла? Залила

муравьев в коридоре? Нет? Детка, на что мы надеемся. Как же мы, черт подери, продаем?

— Лора, остынь, тебя здесь не было четыре года, и ты многого не знаешь: наш дом здорово обветшал. Они, скорее всего, купят место и будут строить все заново. Они из говна пуль не льют, они — "Modern Houses". И ты их не перехитришь. Здесь, к твоему сведению, будет B&B. Есть шанс, что они вырoют три этажа под землей и окажутся по ту сторону реки. Они и на другие дома зарятся.

— Нам до лампочки, что они там будут рыть. Нам наше гнездо слишком дорого, чтобы отдавать его аферистам. Я лучше знаю цену всем этим вещам. Не уступай. Не забывай, наша земля — святая. Ландшафтный заповедник. Пять минут до центра. Делай акцент на землю, на вид из окон. Дави на него...

Видит Бог, я давлю. Целюсь прямиком в этого молодого человека. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся, так, что сердце сейчас из груди выпрыгнет, говорю: мой отец, портной, исколол себе пальцы, обшивая с головы до пят всю округу, чтобы это построить. Если все его пальто, костюмы и женские платья сцепить рукавами, цепочка, типа Балтийский путь[1], опоясшет весь город.

— Санта-Мадонна, — Адольф, закатив глаза, отступает на шаг. — Извините, любезная, но вы должны еще раз трезво оценить: ЧЕМ-ХОРОШ-ВАШ-ДОМ?

Это трудно, так же трудно, как определить собственную группу крови, и ты задумываешься... С годами становится ясно: домом может быть все. Дорогой человек. Место, в котором ты находишь гармонию, сохраняешь цельность. Пространство, творимое клубами дыма от "L&M", — без всяких обязательств перед местом и населением. Способы пребывания в мире — спальный мешок на листе картона у станции метро ("Change, please") и два квадратных метра теплотрассы. Тамбуры поездов и причалы, всякий раз с новой татуировкой и бытом (бытием) в брезентовом рюкзаке. Тарзаново дупло. Многое другое. И все же дом полноценен, когда он — космос. Пусть малогабаритный. Когда есть все составляющие и все они собраны воедино: отец, мать, сестры, косточки Мирты (в память еще о той Мирте) под корнями смородины, все оболочки материального мира и эфемерные субстан-

1. Мирная акция, проведенная 23 августа 1989 г. Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной почти в 600 км (около двух миллионов человек, то есть примерно 25 % населения трех прибалтийских республик в то время), соединив таким образом Таллинн, Ригу и Вильнюс.

ции — варенье из ягод и домашнее вино, кексы с изюмом из "чудо-печки", клубы пара в морозном окне и в котле для стирки, как в начале мира, нитка из зеленой кофты, вплетенная в гнездо соловья, магия полупрозрачных комнат в сумерках и глянцевая темнота ночи, солнечные столбы, точно колонны, поддерживающие воскресный послеобеденный мир, вечерние шорохи и ритуальные фразы, отгадывание погоды, мистика полуденных грядок — метровые стрелки чеснока в гномьих шапочках и "приземленные" нами НЛО патиссонов, зонтики укропа и покорные ржавчине гроздья сирени — и, конечно же, запахи, заготовленные для будущего, для будущих твоих жизней капканы. И т. д., и т. д. Это космическое согласие обычно возникает из маленькой точки — чемодана с окованными углами или узла с барахлом, а порой — узелка, где в носовом платке таится золотая коронка, и растет, и расцветает, переходя в нечто вроде глубокого умопомрачения, затем начинает никнуть и пустеть, пока в прозрачных, похожих на человечью кожу оболочках еще остаются муравьи, мыши и призраки.

Призраки хорошо знают свой график и появляются, когда бьет их час. Чувствуешь, как ноги подкашиваются от страха, учащается (или пропадает) пульс, прошибает холодный пот, слышно, как на кухонном столе (тебе это не снится) сами собой открываются кастрюльки, ведь за стенкой явно кто-то есть. Сейчас приоткрою дверь... Боюсь: там, и вправду, может стоять отец. Я целый год это подозревала. Не тот, которого мы похоронили с "фантазией"[1] в кармашке, а всамделишный: в потрепанном берете, рабочем балахоне, с ведром пепла в руке. Он стоит боком, чтобы лицо было в тени. Я знаю почему — его глаза, после того как сам он отправился на небо, а череп вернул земле, уже запорошены снегом, залиты дождем. Неласково, даже строго скажу ему: "Ступай восвояси и никогда больше не возвращайся. Тебе здесь больше делать нечего. Здесь, папа, будет B&B, и это, поверь, не для тебя". Закажу молебен. Если воздух наэлектризуется (бесконтурная энергия), увижу маму. В сосняке, у больницы, где она сидела в коляске, не узнавая меня, с отвисшей челюстью, с детскими мячиками в руках, чтоб подушечки пальцев не набухали, точно подушки... а на самом деле — ее уже не было. Она так и осталась тут — в недовязанных рукавицах и настенном коврике. Этот коврик — девочку в чепце с горшочком земляники и надписью "Приятного аппетита" — она вышивала крестиком, в молодо-

1. То есть с носовым платком в верхнем кармашке пиджака.

сти, когда была мною беременна, очень боялась смерти, и все еще было впереди. Но чтобы этим призраком стала я сама?!

Я за порогом, и я у порога — мы, не моргая, глядим друг на друга. Вот и встретились... Та, что по иную сторону и весь год мне мерещилась, нажимала на педаль "Зингера", — неопрятная, волосы всклокочены. Из-под нестриженых бровей — волчий взгляд. И чернота под ногтями, сразу ясно, какие у нее пристрастия: сдвинуть колоду и нюхать плотную землю, расковырянную червями и белыми ниточками травы, искать "прошлое" — обжитые места, изжитые вещи. Такая плесень всеми способами противится жизненному ходу и всюду пускает корни, за все цепляется — за людей, дом, ступку для перца, а при расставании вырывает сама себя, как ноготь из пальца. Хуже всего, что эти комплексы возведены в ранг высших ценностей; с таких вершин высокомерного одиночества легко всех осуждать, а меня — попросту ненавидеть. Неужто, милочка, мы будем соперничать? А может, обуем калоши и отправимся в сад биться на рапирах? Еще лучше — в "Зарю", закажем "Кровавую Мэри", закусим сельдереем и станем ждать: кто кого? Пишут, будто так поступал португальский поэт Фернандо Пессоа: в кафе заказывал два бокала вина: один — себе, другой — тоже себе, оттого что жил в многомерности. Довести себя до такой многомерности ничего не стоит. К счастью, по словам психиатров, множество долей его личности, кстати, имевших имена и фамилии[1], обладали способностью сочинять. Когда Пессоа умер (от пьянства: ему так и не удалось прийти в согласие с самим собой и обрести желанную одномерность), вместе с ним умерли и те, другие Пессоа. В гробу, который как предмет быта странствовал из одного уголка Лиссабона в другой и употреблялся для складирования бесхозных рукописей, было найдено 27 543 заполненных страницы. Ясное дело: в одиночку, без этой company, поэт не мог бы столько понаписать. И что любопытнее всего, в жизни эти собутыльники были свободнее самого хозяина, ведь их не волновала единственность и, разумеется, ежедневное бритье.

Захлопываю дверь. На многомерность я никогда не жаловалась. К тому же, слава Богу, я не пишу. Но эти переговоры насчет дома очень меня угнетают.

Почему-то не в комнате, а на прогретых солнцем ступенях, где любила умываться наша кошка, мы с Адольфом сговарива-

1. Португальский поэт, прозаик, драматург, эссеист Фернандо Антонио Пессоа (1888—1935) подписывался несколькими гетеронимами, а по-английски писал под псевдонимом Alexander Search.

емся, и я беру у него задаток. Еще через неделю мы встретимся, чтобы подписать документы, и я отдам ключи. “Когда навестите нас?” — вопрошает Адольф по пути к калитке, он снова мил и приятен. Вряд ли, говорю я, можно вернуться туда, где ты жил, даже если у тебя есть привилегии.

Я не решаюсь войти. Брожу по двору. Вроде бы дел у меня тут больше нет. Мимо уха жужжит шмелиный дирижабль, напоминая, что пора ехать. Поеду. Только еще посижу на родной колоде перед дорогой. Привалюсь к стенке дома, закрою глаза и разнежусь на солнышке, как земляная жаба. Тополиный пух витает, будто в замедленной киносъемке. Теплый предсумеречный ветер приносит с реки аромат перечной мяты, ивовой коры и тины. Поеду. Вот только послушаю, как падает в траву каштановый ежик, он подкатывается к моим ногам, и в расколотой скорлупе я вижу только что отполированную поверхность дорогущей ореховой мебели, несомненно — высочайшей пробы. Слушаю, как затихает ветер — весь этот год он гнал вперед паруса нашего стираного белья. Со стены свешивается плющ — розовый, пурпурный, темно-синий. Эта его синева напоминает что-то очень давнее и далекое. Вспоминаю — “побитую кровь”. “Побитой кровью” отец когда-то называл чернику на наших расцарапанных руках и ногах и, конечно же, “фонарики” — синяки от ушибов. Когда твоя кровь уже порядком “побита”, можешь надеяться: работу выполнишь чисто, спокойно и без боли откупишься от прошлого. По праву сможешь заполучить обратно свое легкое. Увы, не раньше. Раньше и даже со скидкой его удается вернуть, только если ты — марсианин.

— Ну что, порядок? — интересуется по телефону мой друг.

Этот человек явился в мою жизнь прошлой зимой, когда я очень тяжело болела гриппом (штамм А), а моего четвероклассника-сына избила и напихала в ранец снега дворовая шпана во главе с грозой нашей улицы — подростком по кличке Серый. В тот день мой новый знакомый, рыбак и охотник, взял в руки топор и, стиснув зубы так, что ходуном заходили скулы, решительно вышел на балкон — порубить цукинию для фирменной похлебки. С тех пор мы вместе. Он умеет не только готовить, но и выполняет все немыслимые желания моего сына, как то: исследовать, наблюдая в военный бинокль, поверхность луны, или “живьем”, не в террариуме зоосада, увидеть болотную черепаху. Но главное, его интересую я.

— Рассчитался наличными? Деньги в сумочку не клади. Засунь в лифчик или в ботинок. Возвращаться как будешь, автобусом или поездом?

— С душманами, — отвечаю. — Так быстрее.

Я вру. Не говорю, как буду возвращаться. Река. Я хорошо плаваю кролем и брассом, но теперь поплыву, как покойница, — лицом ко дну. И это будет последний мой путь из отцовского дома.

Попрошу течение, чтобы несло меня не спеша. Выше нас по реке нет дороги на Вильнюс, придется — кружным путем. Поток будет с меня смывать поочередно туфельки со всеми полученными наличными. Сорвет с шеи крестик, надетый мамой, и прочие цацки. Мимо меня проследуют соседские огороды, картошка и спаржа, пузыри парников. Домик рыжеволосой Зоськи — говорят, она варит мыло из приблудных собак. Промелькнут стайки подсолнухов, прикрытые марлевой чадрой, и постовые — топинамбуры. Трехэтажный замок Арлаускаса, возведенный из женских колготок ("Modern Houses" возьмет штурмом и его башни, но лишь после N-й попытки), с одинокими, не ладящими между собой хозяевами. Самые кущи начнутся за пригородной свалкой, поросшей чертополохом и крапивой, там сотни слипшихся хибарок. Когда-то среди угольных и дровяных сараев мы играли в прятки. Засев в джунглях сныти, мы грызли полузеленые ворованные яблоки. Весной шел снег из опилок. Оттуда мы приносили вшей, и мама чесала наши склоненные головы до тех пор, пока белый лист бумаги под ногами не превращался в газету. Теперь на этом месте в самом маленьком домике, растопив буржуйку (они, как туберкулез и вши, снова в моде), ютятся ссыльные из Сибири — "по тундре, по железной дороге" они пришли с четырьмя внуками, русскоязычными пацанами от разных отцов, а путь их мамы Дануты затерян в безвестности... За бывшими советскими казармами, которые натовский стандарт превратил в карамель цвета хаки, железнодорожная насыпь, клочья сохлой травы и прозрачные облачка купыря — все, что впечаталось в жесткий диск памяти.

А книзу — подводные рыбьи города и поселки из лягушачьих икринок, белесые утопленники, затерянные часы, кольца, сережки и намеренно брошенные, чтоб скрыть преступление, топоры, ножи и багры. Там, на дне, всякие железяки, куски арматуры, массивные бронированные двери с надписью "Вход воспрещен" и скромные дверцы холодильника "Ока" — все, чем богаты наши реки. Поток вынесет меня, окутанную слизью ила, израненную топляком, на мель, и черный ворон из предрассветных снов (на вершине тополя в гнезде из хвороста он сторожит железные яички) будет клевать мой застывший затылок, и я вновь поплыву, петляя, зигзагами из реки в реку, пока без признаков жизни не буду выброшена на берег под мостом, где-то на подступах к городу. Начнет смер-

каться. Я еще не приду в сознание, когда надо мной наклонится та, что вернулась раньше меня, потому что ехала вместе с душманами:

— Ты чего себе такое вообразила? Юмористка! Провинциалка несчастная. Клаустрофобка. Тебе известно, блин, что мир не кончается твоим домом и печкой. Помнишь, что говорил поэт: "Голым пришел, голым уйдешь. Но тебя, даже голого, не останется. И душе твоей слабой не за что зацепиться, даже пылинка тебе не принадлежит!"[1] Ты пойми: пускать корни бессмысленно. Привязываться к мелочам. К дому, к родине. Что за радость — привязываться? Даже к близким, к детям...

"Знаю", — бурчу себе под нос. Только люди, говорю ей, бывают двух типов: "собачные" и "кошачные". Еще пишут, бывают "спортивные" и "осенние". А я — видит Бог — зацикленная, "домашняя".

Однако эта душманка меня не слушает. Она взбирается по насыпи ловить попутку и, опережая меня, спешит к моему охотнику. Ясное дело, достанется мне пустая похлебка. А как бы все же хотелось, чтобы она свернула себе шею. И Боженька, невзирая на всю свою доброту, подослал ей по дороге маньяка. Тогда я отдышусь. Постепенно верну себе равновесие, залижу раны. Не знаю, как там насчет собак и кошек, но подлинные "домашние" должны жить в одиночестве.

1. Из интервью Сигитаса Гяды (1943–2008) — литовского поэта, эссеиста, драматурга.

Антанас А. Йонинас

Перевод Анны Герасимовой

* * *

Последний лист трепещет в небе стылом
попал к ветвям в расставленную сеть
день вырыт в мерзлом грунте как могила
светло и хочется зарыться не смотреть

нацелен в небо оловянный дыма палец
с откоса реку видно хорошо
жених свернувшись на кровати засыпает
забыв что он посвататься пришел

зима. стеклянный воздух рвет как пес
когтями бронхи но куда хитрей
двуглавый пес залегший на откос
чтоб дом свой чуять парой пар ноздрей

зима без права выбора. ну что же
придется согласиться с ней похоже

Осень в деревне

Осеннее солнцестояние
неяркое и невысокое
морщинистый огрызок яблока
валяется с лузгой подсолнечной

день легок дом осенний пуст
лучи последние согрели
пионовый увядший куст
и бультерьера Даниэля

у магазина тракторист
к забору трактор привязав

© Antanas A. Jonynas
© Анна Герасимова. Перевод, 2015

шуршит монетами в горсти
и солнце прямо бьет в глаза

а Даниэль грызущий прутик
лишь мордой розовою крутит

* * *

Идут ко дну в потоке невесомом
былых времен тяжелые куски
и в повседневном ритме незнакомом
все больше отчужденья и тоски

как старые часы с беззубыми колесами
показываю время как музей
иду с дождем не мучаясь вопросами
считать могилы умерших друзей

пусть состраданье на денек осталось
пусть рамы на зиму позатыкала жалость
лохмотьями чернеющих небес

но мчит опушкою собака ледяная
и как луна из тьмы тоннеля лая
несется паровоз наперерез

* * *

Вечер открыт
Двор перерыт
Чистый паркет
Радио табурет

Убран пространства тетраэдр
Быта один сантиметр
Кто тут в тебя играет
Гёте в гольфах и гетрах

Почта. Скорая помощь
Лает собака у дома
— Что, ничего не помнишь?
— Все я прекрасно помню

Гитис Норвилас

Перевод Георгия Ефремова

футбольный чемпионат

...новые миры рождаются из напряжённостей

---я шел прогуляться в поля
железные истуканы высокого напряжения
с оглядкой на запад
махали электрическими кнутами
рулонной соломой гоняли в футбол
а тем временем в городах
люди плодили детей и пускали деньги
—
я оказался в галлюциногенном офсайде

счастли́вы – покуда в озере---

...постели мы хребтами бороздили, обменивались
позвонками – играли в собственные кости...

I

лодкой скользя по озеру, на другой берег---

лезвием языка нежничаю с твоим горлом, сползаю по шее, плечам, кисти пролизываю и пальцы, бережу пуповину, и пах запахивается, и впиваюсь как истомленный всем летом клещ

лодкой скользя по озеру---

влажно лакомлюсь спелой грушей твоего подбородка, где звучно пируют пчелы, тяну к себе набрякшие сливы сосцов, от полноты норовящие лопнуть, изнывшие дрожью как овечки катящиеся с горы.

© Gytis Norvilas
© Георгий Ефремов. Перевод, 2015

лодкой скользя по озеру - - -

щекой глажу виски, пересекаю брови и лоб, губами
срываю поспевшую виноградину пота - - -

II

когда мы ночью перечеркнули озеро лодкой,
не зная куда со стыда деваться, звезды кашляли в
кулаки. мы махали знаменами наших рубах, мы
ногами гребли и топили невод памяти, мы якоря
оборвали, а ими нас удерживала земля.
встречный ветер обратно впихивал в горло
мечтания, крики и жалобы - - -

не зная куда со стыда деваться, звезды кашляли в
кулаки - - -

пока мы карабкались на другой берег, к захолустному
городку по имени, что ли, Гадес, месяц хохотал во
все горло - - -

а лодочника мы напоили и уложили его в камышах.
на его кровные мы хотели купить опия и ракии. чем
ближе был берег — тем он становился дальше. смутно
виднелись ясли, к ним дикие звери строились в
очередь, Пан мелодично играл в косточки. не зная
куда со стыда деваться, звезды кашляли в кулаки и
гляделись в озера — отворенные земляные язвы, где
извивались мы, страстью набитые черви, голодные
жаждой *жить* и *умирать*. каждый за двоих.
счастливы — покуда в озере, посреди всех этих
глагольных неопределенных форм - - -

Гинтарас Патацкас

Перевод Анны Герасимовой

Лунное

Над серебряной луною пахнет черной глубиною
там пульсары и квазары рой планет и вой комет
под луною город-морок меркнет тысячами норок
мостовых хрустит костями сонно стонет новостями
ворох маленьких иллюзий и порталов тяжкий бред

на закате на причале волны лилию качали
темной музыки агония корона ореол
вдаль уплыл кораблик пьяный нас не взял в другие
страны
оттого ли что рассвета не дождавшись день прошел

оттого ль что догорело не дождавшись слова дела
мы притихли приуныли потеряли смысла нить
ну когда же из аорты словно клерки из конторы
хлынет кровь чтоб мир постылый без остатка
затопить

позабывши о протонах заседаем на понтонах
все понты давно слетели развалились пополам
по балам по маскарадам спертый воздух пахнет адом
там младое незнакомое клубится по углам

будем живы шепчет каждый общей правдой общей
жаждой
но не вытерпев однажды убежим толпой одной
черный холод нас проглотит и поштучно приколотит
к городским вратам дубовым под серебряной луной

Слепые

И снится мне, как в темной колбе матки
Заводится таинственная течь.

© Gintaras Patackas
© Анна Герасимова. Перевод, 2015

О новой жизни, о ее загадке
Микроб любви ведет слепую речь.

Луна мне снится голубым овалом
И грозная падучая звезда,
Что прежде матери меня поцеловала,
Едва я высунулся из гнезда.

Еще мне снится рынка пестрый гомон,
Твой гомон, жизнь, базар немолчный твой,
Фотоны лип, сигналы насекомых
И метеора пламень ледяной.

И снится мне земли бессонный кокон,
Спираль летящих в бесконечность окон,
А то весенние кошмары снятся
В ноктюрне вечереющих акаций.

И снится мне, большому телу снится,
Как на его печаль косится птица,
Когда сливаю белое каленье
В тень женщины, стоящей на коленях.

И снится вечер, ветер, море, облако,
И пиковая дама — нечем крыть,
Но не успеть ей мой телесный облик
Прожекторами смерти ослепить.

Томас Венцлова

Перевод Владимира Гандельсмана

Вариация на тему пробуждения

Т. М.

Чье эхо в темноте? Июньский ветер,
бродящий в приозерных огородах?

© Tomas Venclova
© Владимир Гандельсман. Перевод, 2015

И значит, мы на дачном чердаке,
заснувшие под утро, молодые.
Глухой мотора звук? И значит, мы
в трущобе возле порта, в той стране,
где глаз держи востро, и своенравной
морской стихией так утомлены,
а не любовью. Тикает ли дряхлый
будильник старомодный, прошивая
жару? И значит, мы в Тоскане, где —
не помню точно. Помню, что проснулись.

Смешались времена, не различить
оттенков звука или мест. Остались
твоя ладонь, прильнувшая к моей,
и легкий стон, который сном навеян
и собственного голоса ясней.
Все, что сплелось, не расплести. Остались
одни мы. Дети выросли. Не счесть
друзей ушедших. Каждый день из снимков,
как из тумана, выплывают лица,
которые увидишь только в них.
И где-то в центре, в зале среди кленов,
концерта взрыв нам открывает ночь.

Трепещет штора. Шорохом листва
становится за ставнями, по стенам —
скольжение прозрачных силуэтов.
Как все это назвать — любовью или
непоправимой верностью: бездонный
испуг, когда должна ты прилететь,
но самолет опаздывает, кровь
на марлевом бинте, который тщишься
скрыть от меня, — сейчас неважно. Спать
и притвориться, что не знаем: кто-то
из нас исчезнет раньше, чем другой.
Лучше исчезнуть, чем об этом знать.

Вновь эхо. Это колокол, конечно.
Собор? Часы на башне? Все равно.
Из жажды, из размолвок и страданий
рождается вселенная двоих,
над нами реет неизвестность — с нею
и делим этот многомерный дар.
Нас виноградники стеречь с тобою
поставили, и строить дом из кедра,
и в пламени сгорать неутолимом.

Почти что день. Как повелела Книга,
пока ты спишь, я не бужу тебя.
В гул вслушиваюсь, затаив дыханье.

Ц*иклон*

Зеленоватое мерцанье на экране.
Спираль дрожит, вращаясь. “Нынче это
обыденность”. Дня через два рванет.

Качнется небоскреб, как борт, в небесной выси,
всплывут в затопленной подземке трупы крыс,
сигналка включится — застонет на парковке
авто и стихнет, точно раненый. На всех
не хватит раскладушек в терминалах.

Жизнь чья-то пресечется. Чья — бог весть.

Семья, пока открыты магазины
в прибрежном пригороде, пополняет
запасы кукурузных хлопьев. Муж хотел
уехать, но супруга ни в какую.
Где безопаснее — на чердаке? в подвале? Этот
дубок того гляди на крышу рухнет.
Сей спор не для ребяческих ушей.
А впрочем, дети носятся с собакой,
читают “Спайдермэна” и не слышат
родителей; сегодня школа, к счастью,
закрыта; темнота для пряток — благо;
их на ночь спальники еще не приютили,
и можно напугать в два счета взрослых,
вдруг выскочив с фонариком на них.

И впрямь — им все до лампочки,
даже при этих спорах (дернуть
через границы или здесь остаться,
ибо нигде не ждут их, а сыр-бор,
быть может, кончится?).
Но споры припозднились —
стучатся стройные ребята в дверь,
(знак молнии на их мундирах), цепью
идут бойцы, усадьбу окружая,
карают коллаборационистов
старатели свободы, и толпа с мачете
стоит вплотную.

Человек, конечно,
один в природе так умен, что в силах
природу упорядочить. Лишь он
собратьев сортирует по сословью,
по форме черепа и по акценту, отделяя
зерна от плевел.
Светлый день. Цветет пион.
Воркует иволга. Погода шепчет
тому, кто победил.

В итоге улыбается и нам.
Мерцанье
экрана уплывает к северу. На тротуаре
скелет убитой телефонной будки,
торчит один фонарь над променадом.
Но уж земля под паром. Пес
бежит за малышней. Дубок воспрял.
Оставшись при своих, мир снова в форме.

* * *

Покой, казалось, после стольких бед,
благоволит нам. Нет, был краток роздых,
когда мы пировали и чуть свет
вдыхали стихотворства чистый воздух.

Звук флейты под аркадами в садах,
везде — дух мудрости, и отдаленный
шум ярмарок на ранних площадях,
и ароматных специй галеоны.

Цвета мозаик радовали глаз,
созревший плод манил, но те пророки-
безумцы, над которыми не раз
мы насмехались, протрубили сроки.

Набухли небеса, и отчий кров
настороже, и в страхе домочадцы.
Задуй свечу, а двери — на засов.
Калигула с чумой в твой дом стучатся.

2014. VIII

Йонас Айстис

Перевод Георгия Ефремова

Ах, сегодня Млечный Путь подобен многоточью...
Дан любому — свой неповторимый небосвод.
Ныне одному тебе глаза раскрыты ночью —
Только для тебя все мирозданье дышит и цветет!

Без тебя умолкнут реки, и деревья
Онемеют без тебя, не выпадет роса,
И светила неба оборвут свои кочевья,
И вселенную обрушит, разгромит гроза...

Ты живешь — недолговечен и увечен,
Неприметен в круговерти грозовой...
Но когда умрешь — и день умрет, и вечер,
И померкнут все светила заодно с тобой!

О*фелия*

Прозрачней слезы, даже призрачней инея —
Офелия-дурочка, плакса-Офелия.
Стена Эльсинорская, речка пустынная
И гул немоты, немоты и безверия!..

С букетиком чахлым, набившим оскомину...
Что вербы? Ах, вербы!.. Слабеет литания:
Слезою покатится звездочка по́ небу...
Что может быть в мире глупей ожидания!

Что принц! Отголосок никчемного имени,
А вербы метутся в глухих повторениях:
Офелия, нимфа, припомни грехи мои
В молитвах своих, в непорочных молениях!..

П*ейзаж*

Поле, крест, пустой проселок,
Словно льдины — облака,

© Jonas Aistis
© Георгий Ефремов. Перевод, 2015

Свет в долинах невеселых,
Песня грустная легка...

Век идет незрим-неслышим,
Внятен крон приветный взмах.
Мох взбирается по крышам,
Хриплый пес ворчит впотьмах.

Там село мое в тумане,
Мир труда и забытья...
Липы реют за домами,
Даль своя, печаль — своя.

Журавель застонет кратко,
Прянет стая в облака...
Тут, в Литве, и горе сладко,
Даже смерть и та — сладка!

Снег

Снег! Боже мой, так белозвездно,
Свежо, безмолвно — чу!..
И сладко, только чуть морозно...
Иду и сам себе шепчу.

Предместье, гаснущие блики,
Все в бледно-розовых шелках —
Гортанные вороньи клики
И эти дети на коньках.

Гуляка — прочь из кабарета
С ним девка о́б руку, пьяна...
Она — любовь, что мной воспета,
Изольда — это все она?!

Тупая, жалобная, злая
Толпа — куда-то стороной...
А вечер плавится, пылая
В жаровне юности хмельной.

На тумбе мятый снег, как шапка,
Извозчик расправляет кнут...
А мне зачем-то очень зябко,
Мне очень зыбко тут...

Генрикас Радаускас

Перевод Анны Герасимовой

Зимняя песня

Вся в застывших цветах, в замерзающих нотах,
В непролазных, нетронутых снежных холмах
Затворилась зима — в непроглядных высотах,
В заблудившихся птицах и нежных тонах.

А стихи просто так — словно ветер — родятся
И, звеня, побегут по сугробам петлять,
Но сквозь снежные толщи не смогут прорваться
И домой — словно ветер — вернутся опять.

Сон в летнюю ночь

Вечерами, когда засыпаю,
Но еще не гашу ночник
(Хоть зевает лягушка резная
И слипаются веки книг),

Где-то там, у соседа, ниже,
Бой старинный часов — дин-дин...
И я слышу: все слаще и ближе
Зацветающий пахнет тмин.

И я вижу прокос хороший,
Где усталый пахарь лежит:
Летний вечер траву ерошит
И в соломе шляпы шуршит.

И я вижу, словно в тумане:
Самодельной мелькнув блесной,
Пастушок меня к речке манит,
Тот, что умер прошлой весной.

И кричит он тонко и звонко,
Искупаться зовет меня,
И на личике пастушонка
Белый отсвет вечного дня.

© Henrikas Radauskas
© Анна Герасимова. Перевод, 2015

Вечерняя заря

Девчонка-танцовщица греет сердце
Дряхлеющего мира. Патефон
Устал играть. Затертая пластинка,
Как ветер, шелестит. Заря плывет
К холодному оконному стеклу
И, в зеркале несмело повторяясь,
На темном лаке столика блестит
В последний раз — и гаснет. На стене
Еще видна японская гравюра:
На платье узкоглазой куртизанки
Цветут, не увядая, хризантемы,
А за спиной туман клубится желтый
И дерево ветвится без корней.

Сумерки

Туманом вечер стал, спускается над садом,
Пропущенный стеклом листвы зеленоватым.
Тенями шелестит прохладная трава,
И сказочные в ней белеют существа.
Им грустно на земле, они боятся ночи —
Огромен черный свод, а нежный пух непрочен:
Как пена на песке, растает белизна,
И Богу не состричь волшебного руна.

Альфонсас Ника-Нилюнас

Перевод Георгия Ефремова

Детство

Мне спящему, мне одному был крик: вставай же!
И я обрел весну, и вторгся ветер в комнату мою.
С годами утоление все дальше;
Весна уже свежа, как раньше,
Но силы нет вставать... И я тогда пою.

© Alfonsas Nyka-Niliūnas
© Георгий Ефремов. Перевод, 2015

Домик у реки

Хочу тебе вернуть я давний домик тот
У речки, до́ крови родной,
Чтобы в какой-то миг отвлечься от забот
И в этот миг забыться тишиной;
Вновь различить весну, чьи вздохи глубоки,
И осень сонную разбередить в груди,
Потом оставить домик тот у кровяной реки
И лишь за смертью вновь прийти.

Б*еспокойные осенние птицы*

Собьются в стаю стай, на зависть черной кроне,
И вознесутся ввысь, как палые листы,
Когда под бурей все дубы перегибаются в поклоне
И все поля полны непостижимой грусти и пусты, —
Они, чьи крылья словно ломкие ладони,
Усеивают голые деревья и кусты.
В смиренье дерзостном, в порыве похоронном
Они царят над садом, скорбным и нагим,
Подобны крылья их приспущенным знаменам,
Осенний внятен им невыразимый гимн.
А ветер множит фугу — траурное пламя
(о, помню этот звук, он и горяч, и свят);
Как души моряков парят над кораблями —
Подъяты бурей, стебли молча по небу летят.
Им снятся злые сказочные сны: затем так беспокойна
стая.
Их дуб отечески баюкает в трепещущих ветвях,
Но слышит чей-то зов (так нас поля зовут и вся земля
пустая),
И леденит его тогда слепой, тоскливый страх.
А в полночь грянет клич, как эхо из колодца:
“Я слышу!” И тогда, от ужаса страшна,
Как вечная скиталица, вся стая содрогнется
И прянет в ночь, где ждет ее глухая вышина.

П*есенка*

Не грусти, что песня детством убаюкана,
И не плачь у двери: все прошло, увы!
Скоро сядешь на крыльце — и осень юная
Прямо в сердце наметет березовой листвы.

Мария Чепайтите

Литовский номер "Синтаксиса"

Историческая справка

В Московском отделении общества "Мемориал" хранится часть документов, изъятых КГБ при первом аресте Александра Гинзбурга[1] летом 1960 года. В пяти папках – разрозненные машинописные странички разных номеров альманаха "Синтаксис", рукописи московских и ленинградских авторов, личная переписка А. Гинзбурга и другие материалы, изъятые при обыске. Среди них – машинописные и рукописные листы со стихами литовских поэтов-эмигрантов: Ника-Нилюнаса, Брадунаса, Радаускаса, Нагиса[2]. Это – материалы к пятому, неизданному, литовскому номеру "Синтаксиса", который по просьбе А. Гинзбурга готовили его друзья: Александрас Штромас и Юозас Тумялис[3].

В 1959–1960 годах А. Гинзбург подготовил и издал в самиздате три номера поэтического альманаха "Синтаксис". Сам

© Мария Чепайтите, 2015

1. Александр Ильич Гинзбург (1936–2002) – журналист, издатель, правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Составитель одного из первых сборников Самиздата – журнала "Синтаксис". За антисоветскую деятельность был осужден трижды: в 1960 г. (на 2 года) – за издание "Синтаксиса", в 1967-м (на 5 лет) за так называемую "Белую книгу" – сборник материалов по делу А. Синявского-Ю. Даниэля, в 1978-м – в рамках кампании по борьбе с Хельсинским движением (на 8 лет). В 1979 г. по договору между СССР и США был обменен вместе с тремя другими политзаключенными на двух сотрудников КГБ, осужденных за шпионаж. Материалы, изъятые при обыске в 1960 г., ФСБ вернуло А. Гинзбургу в 1995 г.. Часть документов хранится в архиве "Международного Мемориала" (Москва), Ф. 118. Личный фонд Александра Гинзбурга.

2. Альфонсас Ника-Нилюнас – см. в настоящем номере "ИЛ"; Казис Брадунас (1917–2009) – поэт, публицист; родился и учился в Литве, в 1944-м покинул Литву, жил в США, при жизни выпустил 23 сборника стихов.; Генрикас Радаускас – см. в настоящем номере; Генрикас Нагис (1920–1996) – поэт, литературовед, переводчик. Родился и учился в Литве, в 1944 г. покинул Литву, жил в Германии, США и Канаде, при жизни выпустил 8 сборников стихов.

3. Александрас Штромас (1931–1999) – юрист; окончил Вильнюсский университет и аспирантуру МГУ. В 1964-м защитил в Москве докторскую диссертацию, работал в Вильнюсе, Иванове, Москве. В 1973 г. эмигрировал, стал политологом, деятелем литовского зарубежья. Похоронен в Каунасе. Юозас Тумялис (р. 1938) – переводчик, литературовед, библиограф. В 1990–1993 гг. руководил движением за независимость Литвы "Саюдис".

А. Гинзбург рассказывал: “Было правило: пять стихотворений поэта, десять поэтов в выпуске. Пять стихотворений — это два листа, сложенных пополам, как бы маленькая тетрадочка. Десять таких тетрадочек не вкладываются одна в другую, а складываются и даются под одну обложку. Обложка мягкая”[1]. В первом и втором номерах были стихи московских поэтов, в третьем — ленинградских. Четвертый номер должен был выйти летом 1960 года, но Гинзбурга арестовали, а все его бумаги были конфискованы КГБ.

О том, как готовился пятый номер “Синтаксиса”, рассказывает Томас Венцлова[2]: “Дело было, если не ошибаюсь, весной 1960 года. Александрас Штромас меня познакомил в Вильнюсе возле ресторана “Паланга” с приятного вида молодым человеком, который оказался Аликом Гинзбургом. И мы стали ходить-говорить... По-моему, нас было трое — кроме меня с Аликом, был еще Ромас Катилюс[3], но, может, и Юозас Тумялис. Алик начал издалека: ‘Я — ленинец’. Это смешно, потому что большего антиленинца, как вскоре выяснилось, трудно себе представить. Но тогда он сказал, что при Ленине было все более-менее правильно, но сами видите, что из этого получилось. Мы грустно покачали головами: мол, сами видим. Хотя ленинцами мы уж точно не были. Он сказал, что все это надо как-то исправлять, и дело мыслящих личностей делать это общими усилиями. ‘Вот я и приехал в Литву искать мыслящих личностей’. Мы опять покачали головами и сказали: ‘Да, да, мы мыслящие личности, очень приятно’. Тогда он приступил к делу: ‘Я решил издавать неподцензурный журнал — первый эдак примерно с 1918 года. Называется *Синтаксис*. Могу вам кое-что показать’. И показал нам два или три номера: на белой бумаге — бледная машинопись. На нас это произвело большое впечатление: вот это настоящая конспирация, мы только на кухне разговоры разговариваем, а тут люди делом занимаются. Он говорит, что один экземпляр в КГБ отсылает, чтобы они знали, что там ничего антисоветского нет и что мы не скрываемся. Это, кстати, тоже в первый раз было: мы вот легалисты, ничего против закона не делаем. А там ничего против закона, собственно, и не было. Разве что такие стихи: ‘Стыдно смотреть: отслужив, отработав, / Скучные лица вдоль улиц наляпав, /

1. Интервью Раисы Орловой с А. Гинзбургом. Вашингтон, 1 ноября 1985 г. (кассета №8/46). С. 3 // Архив “Международного Мемориала” (Москва). Ф. 118. Личный фонд Александра Гинзбурга.
2. Запись беседы М. Чепайтите с Т. Венцловой, 27.09.2014, Вильнюс. — См. в настоящем номере “ИЛ” его стихи, а также интервью “Москва 60-х”.
3. Ромас Катилюс (1935–2014) — физик, работал в институтах России и Литвы. Одноклассник Т. Венцловы, составитель книг о И. Бродском.

Ходит спокойно толпа идиотов / В черных и сереньких шляпах...”[1]. Так изображать советских людей уже было как бы дело подсудное. Вот он и говорит, хочу, мол, издавать национальные номера. По моим сведениям, в Союзе есть две интересные литературы — грузинская и литовская. Предлагаю вам принять посильное участие. На это я сказал, что в принципе можно, но десять поэтов мы точно не наберем, не потому что их нет, а потому что побоятся. Мы гуляли тогда по ночному Вильнюсу, по набережной. До моста через Вильняле, а потом обратно. Было тихо, спокойно, явно никто не подслушивал. И мы решили, раз уж точно не хватит литовских поэтов, взять поэтов-эмигрантов”[2].

Поэтов-эмигрантов вызвались отбирать Александрас Штромас и Юозас Тумялис. Хранящиеся в архиве А. Гинзбурга переводы стихов и подстрочники, которые относятся к литовскому номеру “Синтаксиса”, принадлежат только им. Составлял номер, по-видимому, А. Штромас, поскольку именно его рукой[3] на обороте перевода стихотворения Г. Радаускаса “Весенняя ночь” написаны имена поэтов А. Ника-Нилюнаса, Л. Швядаса[4], Г. Нагиса и названия их некоторых стихотворений, а под ними сокращенно, так сказать, шифром — содержание номера[5]:

Kossu *Йонас Косу – Александравичюс (Айстис)*

Brazd. *Бернардас Браздженис*[6]

Rad. *Генрикас Радаускас*

Račk. *Рачкаускас (Томас Венцлова, который в то время публиковал стихи под своим вторым именем и девичьей фамилией матери – Андрюс Рачкаускас)*

Mač. *Витаутас Мачернис*[7]

1. Ошибка памяти: эти стихи Ю. Галанскова в “Синтаксисе” не печатались, но были процитированы в разгромной статье Ю. Иващенко (“Известия”, от 2 сент. 1960) об А. Гинзбурге и альманахе “Синтаксис”. По-видимому, автор статьи пользовался материалами КГБ, поскольку в 1960 г. А. Гинзбург, Ю. Галансков, Н. Горбаневская и В. Осипов начали готовить новый журнал, который должен был называться “Вторая культура” и включать не только поэзию, но прозу и публицистику.
2. Запись беседы М. Чепайтите с Т. Венцловой.
3. Почерк определен его двоюродной сестрой Иреной Вейсайте.
4. Ляонас Швядас (1918–2003) — поэт, прозаик. Учился в Литве, после войны эмигрировал в Польшу. При жизни выпустил 11 книг на литовском и польском языках.
5. Благодарю Ю. Тумялиса, Т. Венцлову и В. Чепайтиса за помощь в разгадывании имен авторов.
6. Йонас Айстис — см. в настоящем номере “ИЛ”; Бернардас Браздженис (1907–2002) — поэт, драматург, литературный критик. В 1944 г. покинул Литву. Жил в Германии, США. При жизни вышло 23 сборника стихов, книги для детей.
7. Витаутас Мачернис (1921–1944) — поэт, погиб во время войны. В 1936–1944 гг. публиковался в литовской периодике, сборники стихов изданы в 1961-м (США) и 1991-м (Литва).

J. T. *Юозас Тумялис*
Nagys *Генрикас Нагис*
Šv. *Ляонас Швядас*
Nyka *Альфонсас Ника-Нилюнас*

Таким образом, поэтов было девять, а не десять. Десятой, по свидетельству Виргилиюса Чепайтиса, была Юдита Вайчюнайте[1]. Виргилиюс Чепайтис вспоминает о своем участии в издании номера: "Я передавал стихи из Москвы в Вильнюс и обратно. Однажды пришел к Алику, и увидел, что в его комнате сидят чуть ли не двадцать машинисток, печатают, аж все дымится. Дело пахнет керосином, подумал я и попросил у Алика обратно стихи Томаса и Юдиты как бы для правки. На следующий день Алика арестовали"[2].

По свидетельствам очевидцев, в 1959—1960-м в подготовке литовского номера участвовали следующие лица:

Александрас Штромас — в 1955—1959-м учился в Москве в аспирантуре, близко подружился с А. Гинзбургом. Инициатор литовского номера. В связи с арестом А. Гинзбурга в 1961 году его не раз вызывали на допрос в КГБ Литовской ССР.

Юозас Тумялис — в 1956-м поступил на филологический факультет Вильнюсского университета, в 1959-м был исключен. С А. Гинзбургом подружился во время создания литовского номера "Синтаксиса", потом переписывался с ним[3]. Собирался публиковать свои стихи в готовящемся литовском номере. В 1961 году у Ю. Тумялиса было произведено несколько обысков в связи с арестом А. Гинзбурга, его вызывали на допросы в КГБ Литовской ССР.

Виргилиюс Чепайтис — в 1956—1961 годах учился в Литературном институте им. М. Горького в Москве. С Александром Гинзбургом познакомился во время учебы в Литинституте, где у Гинзбурга было много друзей. В 1958-м вместе с П. Моркусом выпустил в самиздате первую книгу стихов Т. Венцловы "Pontos Axenos"[4], сделал для номера подстрочники его стихов. В КГБ Литовской ССР его начали вызывать в 1964 году.

1. Виргилиюс Чепайтис (р. 1937) — переводчик, писатель, в 1988—1990 гг. был членом инициативной группы движения за независимость Литвы "Саюдис". Юдита Вайчюнайте — см. в настоящем номере.
2. Запись беседы М. Чепайтите с отцом, февраль 2014, Вильнюс.
3. Архив "Международного Мемориала" (Москва). Ф. 118. Личный фонд Александра Гинзбурга. Т. 2, с. 7, 10, 12.
4. Andrius Račkauskas. Pontos Axenos. — Pasirašyta spaudai 1958. XI. 22, baigta spausdinti 1958. XI. 27. Leidinio Nr. 0001. Tiražas 4 egz. Leidykla "Eglaitė". Mikės Pūkuotuko spaustuvė. (Андрюс Рачкаускас. Pontos Axenos. — Сдано в набор 1958. XI. 22, подписано в печать 1958. XI. 27. № изд. 0001. Тираж 4 экз. Изд-во "Ёлочка". Типография Винни-Пуха).

Пранас Яцкявичюс (Пранас Моркус)[1] — учился в 1955–1957-м на филологическом факультете МГУ, в 1957-м перевелся в Вильнюсский университет. Познакомился с А. Гинзбургом в Москве на лекциях Л. Е. Пинского[2]. В связи с арестом А. Гинзбурга в 1961 году его вызывали в КГБ Литовской ССР.

Томас Венцлова — в 1954–1960 годах учился на филологическом факультете Вильнюсского университета. Познакомившись с А. Гинзбургом в Вильнюсе, договорился с ним о публикации своих стихов в литовском номере. В 1961-м Венцлову вызывали по делу Гинзбурга в КГБ Литовской ССР. Чтобы избавиться от преследований, он в том же году переехал в Москву.

Юдита Вайчюнайте — училась на одном курсе с Т. Венцловой. В 1959-м во время учебы в университете отказалась от членства в комсомоле. Ю. Тумялис подтвердил участие Ю. Вайчюнайте в литовском номере "Синтаксиса", на что Томас Венцлова, который не знал об этом, заметил, что сама она могла и не быть в курсе того, что друзья отдали ее стихи А. Гинзбургу.

Некоторые из создателей литовского номера "Синтаксиса" в 1958 году участвовали также в создании в Вильнюсском университете литературного альманаха "Куриба"[3]. Составителем был Ю. Тумялис, "...которого, — как гласили отчеты КГБ, — университетская общественность не раз критиковала за декадентские тенденции, но который остался при своих порочных идеологических взглядах"[4]. В этом альманахе планировалось напечатать стихи Ю. Вайчюнайте, стихи и статью Т. Венцловы, который рассказывает: "Я был на третьем курсе, а Тумялис на втором, и у меня произошел душевный переворот, потому что уже было венгерское восстание и я о нем написал стихи. <...> Тумялис пришел ко мне: "Тут мы издаем студенческий альманах, будет называться 'Куриба'. Это я придумал, говорит, название". Из-за названия нас в основном и схватили потом за шкирку: так назывался и журнал Кялюо-

1. Пранас Моркус (р. 1938) — эссеист, сценарист, радиожурналист. В 1962–1964 гг. учился на Высших сценарных курсах в Москве.
2. Леонид Ефимович Пинский (1906–1981) — филолог, литературовед, эссеист; преподавал историю западноевропейской литературы в ВУЗах страны, в том числе — в МГУ; арестован в 1951 г., реабилитирован в 1956-м. В 1960–1970 гг. участвовал в диссидентском движении, подвергался преследованиям со стороны КГБ.
3. Kūryba — творчество (*лит.*).
4. Информация КГБ Лит. ССР от 03.03.1959, LYA (Чрезвычайный архив Литвы), ф. к-1, т. 3, д. 519, с. 18–19 в: J. R. Bagušauskas. Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1999. C.108.

тиса[1], который издавался при немцах. Для немецких времен это вполне был такой себе диссидентский журнал, как "Новый мир" какой-нибудь. <...> Но до этого совпадения докопались и обвинили нас в том, что альманах как бы продолжает традицию. И нам стали показывать кузькину мать... У Тумялиса была великолепная секретная библиотека довоенных книг, и всякий самиздат шел через него, он был такой центральной фигурой университетской жизни"[2]. Набор альманаха был рассыпан перед самой печатью, Ю. Тумялиса выгнали с третьего курса, трех преподавательниц филфака – с работы. Было устроено показательное судилище, на котором заставили выступить Т. Венцлову – он выступил, но не покаялся.

Через три года, в 1961 году, в справке КГБ об антисоветских действиях в Литовской ССР А. Штромас, П. Яцкявичюс (П. Моркус), Ю. Тумялис и Т. Венцлова именуются "группой декадентов"[3]. Тридцать с лишним лет спустя, в 1992 году, Венцлова, просмотрев свое дело в архиве КГБ Литовской ССР, узнал, что он там фигурирует под псевдонимом "Декадент"[4].

Под таким же прозвищем появляется и Юозас Тумялис в семейном самиздате В. Чепайтиса и его первой жены Натальи Трауберг[5]. В том же 1960 году, когда готовился литовский номер "Синтаксиса", они сочиняли домашнюю машинописную книгу "Жизнь и мнения Тристрама Шейди"[6], сопровождая ее картинками и коллажами. В ней юмористически описывается знакомство авторов и первый приезд Н. Трауберг в Вильнюс вместе с Владимиром Муравьевым[7] (чьи стихи хранятся в архиве А. Гинзбурга вместе с переводами литовских поэтов), ее

1. Юозас Кялюотис (1902–1983) – журналист, редактор, писатель, переводчик. В 1931–1940 гг выпускал журнал "Науейи Ромува" (Naujoji Romuva); в 1943–1944 выпускал журнал "Куриба". Арестован в 1945, вернулся в 1956 г. В 60-х к Кялюотису ходили беседовать о литературе студенты Вильнюсского университета, за что их и его неоднократно вызывали в КГБ.
2. Запись беседы М. Чепайтите с Т. Венцловой.
3. Справка 2-го отдела КГБ Лит. ССР об антисоветских действиях и чрезвычайных происшествиях от 01 12 1961, LYA, ф. к-1, т. 10, д. 301, с. 90–91, 149. в: J. R. Bagušauskas. Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1999, c. 379.
4. "KGB archyve pasidairius", Akiračiai, 1992, No. 9 (243), c. 6.
5. Наталья Леонидовна Трауберг (1928–2009) – переводчик, писатель. Была женой В. Чепайтиса в 1959–1968 гг.
6. Виргилиюс Чепайтис, Наталья Трауберг "Томас Чепайтис. Жизнь и мнения Тристрама Шейди". М.: 1960. Сыну Н. Трауберг и В. Чепайтиса Томасу при крещении в Литве дано имя Тристрамаса, Шенди переделано в Шейди: трансформация девичьей фамилии матери В. Чепайтиса – Шаджите.
7. Владимир Сергеевич Муравьев (1939–2001) – филолог, переводчик, литературовед. Дружил с А. Гинзбургом. Его стихи не были опубликованы в первых трех номерах "Синтаксиса".

общение с литовскими друзьями: Ю. Тумялисом, П. Моркусом и Т. Венцловой. В книге приведено стихотворение Г. Радаускаса "Замок ветра"[1] и стихи самого Юозаса Тумялиса. Домашний самиздат семьи Чепайтисов — это еще одно свидетельство того, как создавался литовский номер "Синтаксиса". Судя по записям в этом самиздате, Юозас Тумялис "пробовал на вкус" и читал московским друзьям свои стихи и лирику литовских эмигрантов — то, что собирался переводить и публиковать в "Синтаксисе". В те годы создатели литовского номера, кроме А. Гинзбурга, дружили с кругом Г. Померанца, "лианозовцами", Н. Котрелевым[2], чьи стихи были опубликованы во втором номере "Синтаксиса"[3].

Книги литовских поэтов-эмигрантов, из которых А. Штромас и Ю. Тумялис выбирали стихи для перевода, в большинстве своем, как нам удалось определить, были изданы на Западе после 1944 года, то есть в советскую Литву попали нелегальными путями. Исключение составляют альманах "Варпай"[4], изданный в 1943 году, и сборник поэзии Г. Радаускаса 1935 года[5], хранение которых также грозило неприятностями. Судя по почеркам, Александрас Штромас перевел Г. Радаускаса, Г. Нагиса и А. Ника-Нилюнаса[6], Юозас Тумялис — А. Ника-Нилюнаса, К. Брадунаса и Г. Нагиса[7]. Сборники А. Ники-Нилюнаса, из которых они перепечатывали стихотворения, вышли в 1946-м ("Симфонии потери") и 1957-м ("Апрельская вигилия")[8] годах, сборники Г. Нагиса — в 1947-м ("Ноябрьские ночи") и 1952-м ("Солнечные часы")[9].

Среди переводов литовских поэтов — семь машинописных листков со стихами Сен-Жона Перса ("Песенка", "Ветры" и

1. "Замок ветра" ("Vėjo pilis") — стихи Г. Радаускаса из сборника "Фонтан" (1935).
2. Григорий Соломонович Померанц (1918–2012) — философ, культуролог, эссеист. Воевал, арестован в 1949-м за антисоветскую деятельность, освобожден в 1953-м. Участник диссидентского движения. "Лианозовцы" — объединение художников и поэтов 1950–1970 гг. Собирались у художника О. Рабина в Лианозово; Н. В. Котрелев — см. с. 303 настоящего номера "ИЛ".
3. "Синтаксис", 1960, № 2. См. также в настоящем номере: Т. Венцлова, "Москва 60-х".
4. "Varpai" — "Колокола" (*лит.*).
5. "Varpai". Šiaulių meno ir mokslo centras, 1943; Henrikas Radauskas. Fontanas: eilėraščiai. — Kaunas, 1935.
6. Архив "Международного Мемориала" (Москва). Ф. 118. Личный фонд Александра Гинзбурга. Т. 4, с. 386–391, 393, 396–398, 400.
7. Там же. С. 383–385, 392, 394, 395, 399.
8. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Praradimo simfonijos — Tiubingen: Patria, 1946; Alfonsas Nyka-Niliūnas. Balandžio vigilija. — Chicago: V. Saulius, 1957.
9. Henrikas Nagys. Lapkričio naktys. — Freiburg, 1947; Henrikas Nagys, Saulės laikrodžiai. — Chicago, 1952.

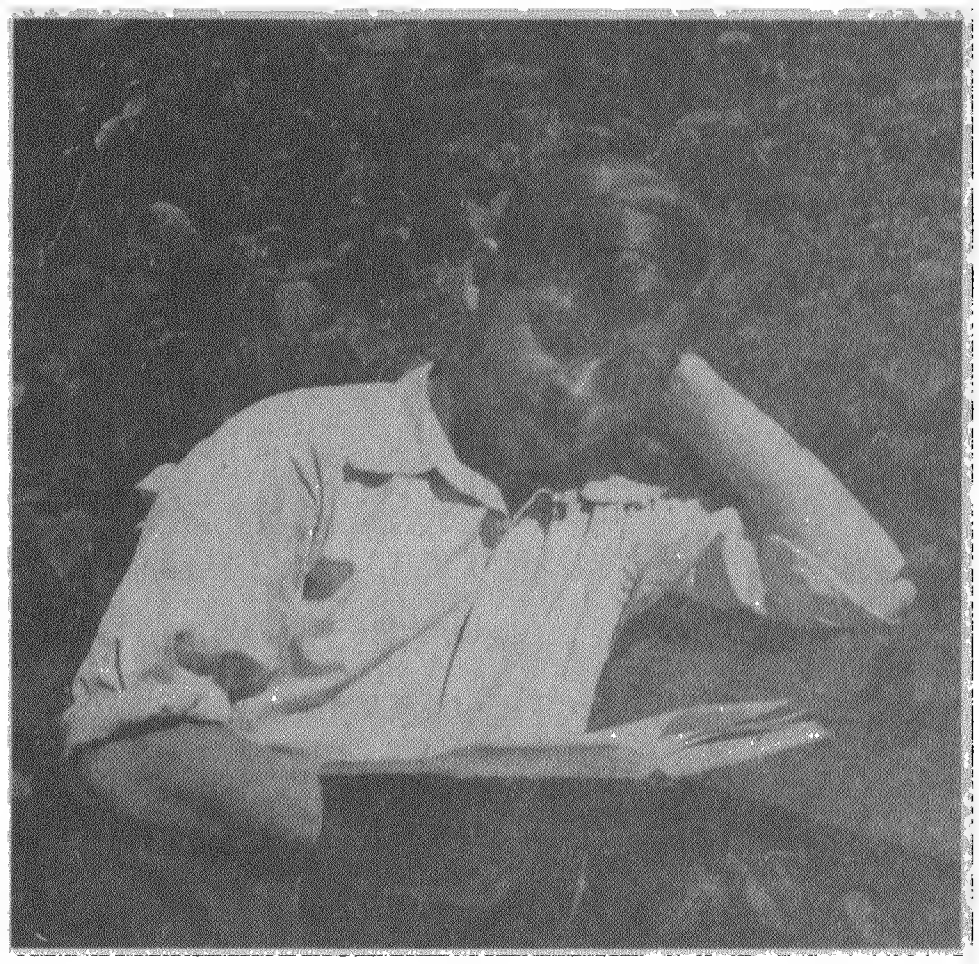
два фрагмента из “Анабазиса”[1]) по-русски, которые, по свидетельству Т. Венцловы, Ю. Тумялис именно в то время распечатывал и давал почитать друзьям. Два стихотворения — “Безнадежность земли” и “Пути согласия”[2], судя по оглавлению, должно быть, принадлежали перу Л. Швядаса, но, к сожалению, оригиналы не найдены. Еще одно стихотворение, “Ночь”[3], находящееся в рукописи А. Штромаса между стихотворениями Г. Радаускаса, не соответствует известным стихам автора под тем же названием. Всего листов — 26, на некоторых написано: “Изъято при обыске 4/VII 60 г.” или “Изъято при обыске 12/VII 60 г.”.

Томас Венцлова вспоминает: “Тумялис тогда сказал великолепную остроту, которую мы все повторяли. Когда Алик стал к нему приставать с ‘Синтаксисом’, он заметил: ‘Молодой человек, перед тем как изучать синтаксис, вам следовало бы изучить фонетику и морфологию. А теперь, после *Синтаксиса*, гарантирую, что вы будете изучать географию’”[4]. К сожалению, так и случилось — в июле 1960 года А. Гинзбург был арестован и осужден на два года, которые провел в лагере в Коми АССР. Литовский номер “Синтаксиса” не вышел, но в этом нашем, литовском, номере “ИЛ” мы пользуемся возможностью познакомить русского читателя с некоторыми из авторов, которые должны были прозвучать по-русски в 1960 году.

Автор благодарит за помощь в подборке материала Московское отделение общества “Мемориал” и лично Алексея Макарова. В тексте использованы записи бесед с И. Вейсайте, Т. Венцловой, Н. Котрелевым, П. Моркусом, В. Тумялене, Ю. Тумялисом, В. Чепайтисом.

1. Архив “Международного Мемориала” (Москва). Ф. 118. Личный фонд Александра Гинзбурга. Т. 4, с. 375–382.
2. Там же. С. 390 “Безнадежность земли” (в оглавлении “Žemės neviltis”); с. 391 “Пути согласия” (в оглавлении “Keliai į santaiką”).
3. Там же. С. 397.
4. Запись беседы М. Чепайтите с Т. Венцловой.

Альфонсас Ника-Нилюнас



Фрагменты дневника 1938–1975

Из записей 1938–1944 годов

Перевод Марии Чепайтите

1938

Из блокнота записей за сентябрь, октябрь, ноябрь

<...> Приехал в Каунас. Последние дни в Нямеикшчяй провел со своими стихами: читал, правил, уничтожал. Всего получилось около 20. Из них отобрал 10: “Весенняя девочка”, “Поэма блудного сына”, “Фермеры говорят о жизни”, “Детство”, “Песня”, “Кошка”, “Последний сон”, “Мандолина”, “Дорога”, “Зов реки” — все те, которые еще дороги мне, которые остались частью моей души, ритмом моей крови, моим миром. А теперь не знаю, что с ними делать. Печатать? Да кто их будет печатать? Кому, кроме меня, они могут быть интересны? Все они не созвучны тому, что сейчас пишут и печатают. Кроме того, напечатав, я могу их лишиться: они станут не

© Alfonsas Nyka-Niliūnas, 2002
© Мария Чепайтите. Перевод, 2015
Фото из архива музея Майрониса (Каунас).

только моими. Это что-то вроде предательства своего мирка, как будто я продать его хочу. Ведь я пишу для себя, а не для других, и все это — *наша* собственность: моя, моего мирка и друзей моих — вещей. Никто не продает своего королевства. Никто не продает своих друзей. Никто не продает себя.

* * *

Сегодня утром в университете я выполнил все регистрационные формальности и стал легальным "фуксом", имеющим право носить студенческую шапочку — белую, с зеленым околышем. <...>

* * *

Помаленьку включаюсь в повседневный ритм университета. Первое любопытство постепенно сменили учебные заботы. Большинство профессоров уже объявили, когда, в какие часы и что будут читать. Знакомые по книгам и газетам имена и фамилии превратились в живых или почти живых людей, и почти все они, хотя бы в моих глазах, немножко "умалились".

Один только Путинас стал еще более далеким и таинственным. Большинство же — как будто карикатуры на самих себя: Миколас Биржишка, которого нельзя причислить ни к одной категории живых людей — он как будто сошел со страниц старого учебника; громадный Изидорюс Тамошайтис, с громадной головой, громадной шевелюрой, громадным портфелем, громадными шагами входящий в аудиторию; Антанас Салис, напоминающий упитанного ребенка-переростка; Пранас Скарджюс, чей профиль — точь-в-точь скульптура с острова Пасхи; неловко, как бы наспех сложенный гигант Балис Сруога и миниатюрный Шарунас Винцас Креве[1].

1. Винцас Миколайтис-Путинас (1893–1967) — поэт и прозаик, общественный деятель Литовской ССР. Преподавал в университете Витовта Великого современную литовскую литературу, историю литовской поэзии и эстетику. Миколас Биржишка (1882–1962) — историк литовской литературы, был деканом факультета гуманитарных наук университета Витовта Великого. В 1944 г. покинул Литву, жил в США. Изидорюс Тамошайтис (1889–1943) — священник, философ, общественный деятель. Преподавал логику, метафизику психологии, этику, философию религии. Сослан в лагерь в Красноярске в 1941 г. Антанас Салис (1902–1972) — языковед, диалектолог, создатель первой карты распространения литовских наречий. В 1944 г. покинул Литву, жил в США. Пранас Скарджюс (1899–1975) — языковед, диалектолог, преподавал историческую грамматику, историю литовского языка, диалектологию, прусский язык. В 1944 г. покинул Литву, жил в США. Балис Сруога (1896–1947) — поэт, прозаик, драматург, театровед, фольклорист. Преподавал русский язык, историю театра, вел семинары по театроведению и славистике. Жил в Литовской ССР. Винцас Креве-Мицкявичюс (1882–1954) — писатель, драматург, общественный деятель. Автор драмы "Шарунас", в университете Витовта Великого преподавал историю мировой литературы, был деканом факультета гуманитарных наук. В 1944 г. покинул Литву, жил в США. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

* * *

Университет (через месяц) все более начинает напоминать не Храм наук, куда допущены лишь избранные, а место для увеселений. Лекции, от которых я так многого и так трепетно ожидал, разочаровали и постепенно уходят на второй план. Оказывается, свет надо искать самому. Да! Самому!

* * *

Вчера получил переводы Китса на французский язык, в том числе и "La Belle Dame Sans Merci"[1]. Читая эти стихи, я сам был рыцарем, блуждающим по берегу осеннего озера, и каждая строфа, каждая строчка, каждое слово бередили шрамы, которых у меня не было, растравляли раны, которых я не получал.

* * *

Предполагаемое название сборника стихов (если когда-нибудь соберусь выпустить): "Песни обо мне и вещах, которые были моими друзьями".

* * *

Мистика университета. Университет — мистическое тело, соблазн, искушение, которому в какой-то степени может поддаться любой человек. Своеобразное государство в государстве со своей территорией, жителями и своим правительством; с гимном, который призывает к радостям жизни; со своим фольклором, его героями и шутами. Самые лояльные жители этого государства не учатся, а студенчествуют, верноподданнически исполняя слова гимна, который для них стал чем-то вроде конституции. Это единственная в их жизни возможность сверкнуть, стать героями дня, поскольку позже ("post jucundam juventutem"[2]) им суждено погрязнуть в безнадежной серенькой трясине будней, трудясь учителем или чиновником где-нибудь в захолустье. Они живут двойной жизнью: меж внешним блеском на людях и убожеством частной жизни. На людях (в университете) они появляются только в модных костюмах с изящно повязанными галстуками, в рубашках снежной белизны, лакированных ботинках, всегда красиво причесанные, побритые, надушенные. А частная их жизнь протекает в нищете: вместо отдельной комнаты они снимают какой-нибудь угол — кровать в темной прихожей или закутке коридора и шкаф, чтоб

1. "La Belle Dame Sans Merci" (т. е. "Прекрасная дама, не знающая милосердия") — стихотворение Джона Китса (1795–1821).
2. "...post jucundam juventutem" — "...после веселой молодости" (*лат.*); строка из средневекового студенческого гимна "Gaudeamus".

повесить там роскошную униформу. Домой они возвращаются только переночевать. Едят они (если их не пригласит на обед какой-нибудь почтительный фукс) только один раз в день и чаще всего — в студенческой столовой, где надо платить только за суп, а хлеба можно брать сколько угодно.

"O alte Burschenherrlichkeit!"[1] <...>

1939

Нямеикшчяй

26 июня

До обеда был с братьями на речке. Улов на редкость удачный. Когда вернулись, первые слова мамы: куда я столько дену? Я сказал, что можно часть отнести тетушке. Словно поняв мои слова, сбежались все кошки и стали громко требовать свою долю. А я лег во дворе на травку и понемногу отдалился от всего.

После обеда принесли почту с двумя последними номерами "Les nouvelles littéraires" от Й. К. и целую охапку литовской прессы. Такая бередящая вставка в недавно начавшееся лето, диссонанс в "июньской симфонии". Я, наверное, еще никогда так интенсивно не жил собой, как сейчас. Граница между мной и внешним миром увеличилась почти до бесконечности. Ничего не читаю. Поскольку сенокос еще не начался, и не работаю тоже.

27 июня

Аристократия. Аристократия природы. Аристократия времен года. Аристократия восходов и закатов. Аристократия интенсивного общения с вещами. <...>

Пятница / 1 сентября

Приходит папа из Утяны и торжественно объявляет, что началась война. Сегодня утром немецкая армия перешла границу Польши и наступает по всему фронту. В Литве тоже объявят мобилизацию. Мама тут же начинает волноваться, что же будет с Адольфасом[2], который сейчас служит в армии. Зашел сосед, у которого — радио, рассказывает, что Литва уже объявила нейтралитет и не будет соваться в войну. Выходя, добавляет: "Хорошо чертякам-полякам: это им за ультиматум!"[3]

1. "O alte Burschenherrlichkeit!" — "О, старое студенческое братство" (*нем.*); строка из одноименного немецкого студенческого гимна начала XX в.
2. Адольфас — брат автора.
3. 17 марта 1938 г. Польша объявила Литве ультиматум, требуя установить дипломатические отношения между странами, которых не было 20 лет, поскольку Литва не признавала Виленский край частью Польши.

Война! Это слово, как и сама реальная война, знакомы мне только по молитве “Под Твою защиту прибегаем”, да из рассказов в раннем детстве, и всегда вызывает у меня мистический озноб. Помню, как когда-то наш сосед Стасюнас, прозванный Болтуном, только начал рассказывать, мол, вот евреи говорят, скоро война начнется, а я уже затрясся всем телом. Ровно такое же неуправляемое чувство и сейчас.

Понедельник / 11 сентября

Новости с фронта. В полях и в доме — чувство пустоты. Последние дни дома. С раннего утра до обеда бродил по лесу — собирал грибы и орехи (мама ругалась, что я так долго не приходил есть). Потом до сумерек переписывал “урожай” своих стихов (“Слепой рассказывает о доме”, “Домики у реки”, “Книги”, “Сестра”), кое-что еще поправил.

Чтение: “Du côté de chez Swann” и “A l’ombre des jeunes filles en fleurs”[1]. Обе эти книги заняли три летних месяца, и сейчас, собираясь обратно в город, я еще опьянен ими. <...>

[*Каунас*]
11 октября

Не греза разве это? Не мечтанье —
Еще вчера не знавшее надежд?[2]

Наконец (со вчерашнего дня) *Вильнюс наш*! Да! *Наш*! Я шел по улице в шумной толпе студентов и думал: вот исчезла эта постоянно саднящая боль, преследовавшая меня с самого детства, зажила вдруг ноющая рана, которая отравляла мою жизнь, из-за которой я все время был ущербным, обиженным. Только сейчас я стал совершенно свободен. Кто-то предложил идти к посольству СССР, и демонстранты, распевая “На Вильнюс! На Вильнюс!” бросились в ту сторону, но полиция не пропустила. И опять думал: а вот еще недавно я собирал картинки нашего Священного Града, которые вкладывали в пачки папирос “Вильнюс”!

* * *

Письмо из дома. Она́ пишет, что поля опустели и леса желтеют; что внезапный порыв сильного ветра сорвал во дворе с

1. “В сторону Свана” и “Под сенью девушек в цвету” — части романа Марселя Пруста “В поисках утраченного времени”.
2. Строки из стихотворения Майрониса (Йонас Мачюлис, 1862–1932) “Когда вернулась независимость”. Перевод Г. Ефремова.

угловой липы наш с Йонасом[1] самолетик; что они с немалыми трудами водрузили его обратно, на самую верхушку, и он ровно так же меланхолично свистит, как и раньше: ждет моего возвращения домой. <...>

1940

[*Вильнюс*]
Четверг / 14 февраля

Долго не мог собраться (а может, просто не хотелось) и сесть за эти записи. Живая жизнь привлекательнее ее фиксации. Все не могу никак прийти в себя от эйфории общей (общежитийной) жизни. До сих пор все еще не нашел времени, чтоб остановиться, задуматься, вернуться в себя. Дни заполняет университет, вечера (иногда до поздней ночи) — dolce far niente[2] у друзей, в коридорах, на лестнице или в читальне (в которой царит такой шум, что и при большом желании не почитаешь). В этом очень помогают многочисленные "специалисты по времяпрепровождению", которых всюду полно: у доски объявлений в вестибюле, на возвышении дежурного, возле полочек для почты, — где только хочешь.

Каждый день обещаю себе придерживаться некоторого распорядка и каждый день не сдерживаю обещаний, поскольку, как известно, гораздо приятнее чего-то не выполнять, чем выполнять.

Для равновесия (хоть бы раз в неделю, чаще всего в одиночестве) брожу по поразительному центру Вильнюса. Это помогает мне восстановить душевное равновесие и заново примириться с самим собой.

27 февраля

Приезжал Гедиминас Й.[3] из Каунаса. Поскольку он дворянин, у него в Вильнюсе много родственников. Пока мы не придумали, чем заняться, он пошел по родственникам: отдавать визиты, относить передачи и тому подобное. Всюду ходили вместе. Большая часть — говорящие по-польски и не знающие литовского "литовцы". Все очень вежливые, от всех несет нафталином. Нигде не встретили ни одного молодого человека, они только на фотокарточках, в форме польской армии. По-

1. Óна — сестра автора. Йонас — брат автора.
2. Dolce far niente — сладкое ничегонеделанье (*итал.*).
3. Гедиминас Йокимайтис (1920–1986) — поэт. В университете Витовта Великого изучал языки и психологию, в 1941 г. вывезен в ссылку на Алтай, потом в Якутию, откуда в 1947-м сбежал. Жил в Литовской ССР.

следняя старушка, которую мы навестили у церкви Бонифратов (Св. Креста), вроде бы кузина бабушки Гедиминаса, сидя в кресле под огромной картиной “Bitwa pod Magenta”[1], сурово отчитала своего родственника за то, что он плохо говорит по-польски, и сама застрекотала по-литовски.

Много времени провели на лыжах, ездили по холмам Зверинца и Каролинок. Последний вечер визита посвятили экспедиции по вильнюсским магазинчикам bric-à-brac. В одном из них Гедиминас купил старую шапку повстанца, которую решил подарить какому-то очередному родственнику, чей дед участвовал в восстании 1863 года.

29 февраля

С утра с Казисом Умбрасасом и Витаутасом Мачернисом[2] пошли в антиквариат (в переулке Литераторов). После долгого торга (за пол запрошенной цены!) купил выпущенные перед Первой мировой войной V и VI тома сочинений Гоголя (Полное иллюстрированное собрание сочинений). Когда вышли, начался снегопад, и в мгновенье ока улицы; крыши, весь Вильнюс и даже вороны, сидящие на проводах, покрылись белоснежным полотнищем и тишиной. <...>

Нямеикшчяй

Пасхальное утро / 24 марта

Дóма (в этом слове вся моя история жизни). Стол. Часы. Кошка. Matka Boska Częstochowska[3] с шрамом на лице, которую подарил настоятель из Утяны, Адомас Вишняускас, моему отцу, тоже Адомасу, в день его крестин. Святой Иоанн, который с самого раннего детства подглядывал, стоя позади, что бы я ни делал — писал, читал или просто так сидел, глядя в окно. Огромные снежные пятна до сих пор белеют на южном и северном склонах. На севере поля маячат той неживой чернотой, которая всегда пугала меня в детстве. Тогда поля с черными придорожными крестами, деревьями, домами и дорогами казались мне похожими на кладбище. <...>

1. “Bitwa pod Magenta” — “Битва при Мадженте” (*польск.*). Речь идет о сражении, произошедшем 4 июня 1859 г. во время Австро-итало-французской войны. Победу одержали французы.
2. Казис Умбрасас (1916 — 1970) — литературовед, прозаик, переводчик с русского. Учился на факультете литовского языка. Жил в Литовской ССР. Витаутас Мачернис (1921—1944) — поэт, учился на факультете философии. Убит снарядом в 1944 г.
3. Икона Ченстоховской Божьей Матери — одна из главных святынь Польши.

[*Вильнюс*]
Суббота / 7 мая

Может ли что-нибудь быть прекраснее монотонной жизни? Та же самая комната, тот же стол, те же книги, те же цветы в вазе на комоде, те же мухи, дерущиеся в стакане, тот же неповторимый запах мебели... Если бы утром я всего этого не обнаружил, я почувствовал бы себя бездомным беднягой, у которого вдруг отняли все, что у него было. Монотонность повседневности — как летний день, одуряющий своей неподвижностью и неизменностью, уверенностью, что никто его у тебя не отнимет.

16 мая

Августин: "Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas; et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende at te ipsum"[1].

14 июня

Известие об ультиматуме СССР. Из Каунаса звонил Йонас. Советовал немедленно вернуться в Нямеикшчяй. <...>

15 июня

Утром пошел в университет вернуть одолженные на кафедре[2] книги, поскольку после обеда еду домой. Выхожу из двора на улицу Св. Иоанна, женский голос говорит по польски: "Zosiu, patrz! Zołnierze rosyjcy!"[3] И точно, по Замковой улице в сторону Кафедрального собора катятся советские артиллерийские орудия, которые тащат грустные, обросшие прошлогодней шерстью лошадки. Рядом апатично топают солдаты в зимних шинелях. И опять тот же голос: "Jakie ubogie wojsko!"[4]

Нямеикшчяй
Воскресенье / 16 июня

Только вчера вернулся домой (автобусом через Молетай, где вылез поехавший вместе со мной Умбрасас), но успел уже пустить корни и чувствую себя, как будто вообще отсюда не уезжал. Все опять мое, и я во всем.

1. "...из себя не выходи, а сосредоточься в самом себе, ибо истина живет во внутреннем человеке; найдешь свою природу изменчивой — стань выше самого себя". Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологический трактат. — Мн.: Харвест, 1999 (*переводчик неизвестен*).
2. В оригинале кафедра романистики, на которой учился автор, называется семинаром романистики.
3. "Зося, смотри! Русские солдаты!" (искаж. *польск.*)
4. "Какое бедное войско!" (*польск.*)

19 июня

Головокружительное чувство растворения и слияния с пульсирующей природой, которое вдруг накатывает на меня, когда я смотрю на волнующуюся рожь или иду в ветреный день по лесу. Да, ничто не мое, но я во всем.

14 августа

В газетах — всё Сталин, Сталина, Сталину... Его именем начинают и заканчивают все собрания, все манифестации, все речи, все резолюции... Товарищ, отец, учитель, вождь... Невозможно поверить, что бывшие революционеры-демократы и борцы с автократией за свободу личности могут так рабски поклоняться одному человеку, — это комедия (или трагедия), смысл которой я до сих пор не расшифровал. Отчего это все? Из подхалимства? От страха? Заставили?

Письма от Умбрасаса и Мачерниса. Чтение последнего месяца (ничто не лезет в голову): Rosa и Benoni Гамсуна[1] (немецкие переводы), "Детство" Горького и "Les Souvenirs d'un âne" Мадемуазель де Сегюр[2] (да!).

Понедельник / 19 августа

Хорошо летом ничего не делать. Даже не думать о том, как тебе хорошо. И не знать об этом. Но я целыми днями все-таки думаю и думаю, какой я счастливый, что могу вот так абсолютно ничего не делать, только жить, подавляя трепещущее в глубине сердца желание все это выразить. Сегодня утром долго слонялся по тропкам во ржи и по стерне, валялся на траве, смотрел в высокое и прозрачное летнее небо. По самому солнцепеку пошел на почту, надеялся получить письмо от Йоне. Но письма не было. Вернулся домой, не в силах совладать с тревогой, которая нарастала вместе с ожиданием, перечитывал уже сто раз читанные ее письма, в одном из которых, написанном в конце июня, она говорит, что все время думает и думает "чем же сейчас занят светловолосый мой мальчишка". <...>

1. Романы "Роза" и "Бенони" норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859—1952).
2. Графиня де Сегюр (1799—1874; в девичестве графиня София Федоровна Ростопчина) — французская детская писательница русского происхождения, дочь московского губернатора Ф. В. Ростопчина (как считается, организатора московского пожара 1812 г.). Среди ее произведений особой известностью пользуется книжка "Записки ослика" (1860).

Вильнюс
Среда / 9 октября

Теперь, когда сброшена власть кулаков и эксплуататоров и перед рабочим классом открылись более широкие горизонты, в общежитии появилось много новых жителей, которые со всей большевистской бдительностью следят, что кто делает, что говорит, с кем общается.

Во всей студенческой жизни кто раньше был "никем" сейчас стал "всем". Создаются разные списки. Все ждут еще одного — списка исключенных из общежития. В нем должны быть все, не доказавшие своего "пролетарского" происхождения.

Появилась стенгазета общежития, с которой усердно сотрудничает поэт Ляонас Швядас[1], живущий в соседней комнате.

Основан кружок безбожников, и начали вербовать членов. Кто хочет вступить, должен написать свою фамилию на листке бумаги, который специально для этого прикреплен на доске объявлений. За несколько дней на листке появилось много фамилий самых набожных обитателей общежития, вписанных проходящими мимо друзьями или, наоборот, врагами. Организаторы поняли, куда идет дело, и сняли листок, а то на нем уже красовалось имя самого Иосифа Виссарионовича Сталина.

11 октября

Другие новости нашего общежития: ввели обязательную утреннюю зарядку; каждую неделю, если не чаще, проводят лекции "политпросвещения", которые волей-неволей надо посещать, если не хочешь подпортить "общественное мнение" о себе в глазах бдительных активистов нового режима. Перебрался в новую комнату (на третьем этаже) и сейчас живу с К., правоведом из Укмярге, служащим какого-то треста. Неплохой человек, хоть и считает себя сочувствующим теперешнему курсу. У него есть интересная особенность — утром он первым делом надевает рубашку, повязывает галстук, влезает в пиджак и пальто и только тогда, босой и без штанов, умывается. Потом садится завтракать. После еды натягивает штаны, обувается и, сияя, преисполненный чувства собственного достоинства, идет на работу.

14 октября

В университете пока все идет по-старому, не считая некоторых изменений в профессорском составе и введения обяза-

1. Ляонас Швядас (1918–2003) — литовский и польский поэт; певец. После войны эмигрировал в Польшу.

тельных для всех лекций по марксизму-ленинизму. Из нового и несколько шокирующего — реплики слушателей в аудиториях. Рассказывают, что во время лекции Карсавина[1] встал комсомолец Л. и стал доказывать, что у лектора есть расхождения с марксистской точкой зрения на исторические закономерности, что его терминология — буржуазная, абсолютно чуждая историческому материализму.

Сам я ни при чем подобном не присутствовал.

10 ноября

Письмо от сестры: "...я все время думаю о Вильнюсе (которого я никогда не видела), потому что Ты там, — только поэтому. Мы все по Тебе очень скучаем. Когда Ты был дома, и поля, и леса были светлее. Ты был такой веселый. А сейчас... Осенью и так стало пусто и грустно, как будто попрощались с кем-то навсегда, а без Тебя еще гораздо, гораздо грустнее... Я не могу даже описать, как все опустело. Даже астры холодных оттенков, которые мы с тобой посадили, помнишь, в том углу у самой стены, где растет переступень, тоже начали увядать. Вот и сижу у окна (все, кроме нас с мамой уехали в Утяну) и повторяю про себя все стихи, которые учила наизусть в школе — единственное, что напоминает о том времени. Ты знаешь, как трудно иногда оставаться наедине с собой".

Вторник / 26 ноября

На кафедре романистики с Йонинасом[2], с которым недавно познакомился, и он теперь довольно часто ко мне заходит. Замечательный, с живым умом, здравомыслящий, открытый и во всех смыслах солидный человек, от которого так и веет уверенностью в себе и в своем предназначении. Интересен он еще и тем, что он — продукт совершенно чуждого мне, то есть совершенного иного мира — яркий, так сказать, представитель своего "класса", своего сословия (интеллектуальной элиты времен независимости), напоминающий Антуана Тибо. Он в данный момент очарован романом "Dominique" Фромантена[3]. Я, в

1. Лев Платонович Карсавин (1882–1952) — русский философ, в 1922-м был арестован и выслан из СССР. Жил в Германии и Франции, в 1927 г. по приглашению университета Витовта Великого переехал в Каунас, стал профессором кафедры всеобщей истории, с 1929 г. преподавал на литовском языке. В 1940-м с университетом переехал в Вильнюс, в 1944-м уволен, в 1949-м арестован, отбывал заключение в лагери Абезь, Коми АССР, где и погиб.
2. Витаутас Александрас Йонинас (1918–2004) — литературовед, учился на кафедре романистики. В 1944 г. покинул Литву, жил в Канаде.
3. Эжен Фромантен (1820–1876) — французский художник, историк искусства, писатель; автор трактата по искусству "Старые мастера", романа "Доминик" и др.

свою очередь, превозношу “Obermann” Сенанкура[1], который сейчас читаю. Потом разговор переходит на “L’Été 1914” Роже Мартена дю Гара[2]: ему понравилось; сам я еле дочитал (эти нескончаемые дискуссии пацифистов!). Из поэтов ему нравится Леконт де Лиль[3] (“Manchy” — “Носилки”) и Теофиль Готье (“Vieux de la vieille” — “Ветераны старой гвардии”). Я декламирую ему “Coquetterie posthume” последнего:

Quand je mourrai que l’on me mette,
Avant de clouer mon cercueil,
Un peu de rouge à la pommette,
Un peu de noir au bord de l’oeil[4].

и весь вводный сонет “Emaux et camées” (“Pendant les guerres de l’Empire”)[5]. Но нас прерывает Карсавин, забежавший одолжить книги. Он берет “Les opininios de Jérôme Coignard” (Анатоль Франс), “Introduction à la connaissance de l’esprit humain” Вовенарга, “Mémoires” Сен-Симона и уходит легкой танцующей походкой[6]. <...>

1941

Воскресенье / 15 июня

<...> Сегодня проснулся на тюфяке, положенном на два сдвинутых стола, не в силах понять, где я. В головах лежали сброшенные в кучу книги, на корешке одной прочитал: “Commynes”[7]. И не скоро, все еще в полусне, сообразил, нако-

1. Этьен Пивер де Сенанкур (1770–1846) — французский писатель, автор романа “Оберман”.
2. “Лето 1914” — одна из частей романа-эпопеи “Семья Тибо” французского писателя Роже Мартена дю Гара (1881–1958), нобелевского лауреата 1937 г.
3. Шарль Мари Рене Леконт де Лиль (1818–1894) — французский поэт, глава Парнасской школы.
4. Ты, что в дубовый гроб навеки
Меня положишь, — не забудь
Мне черной тушью тронуть веки,
А щеки — розовым, чуть-чуть.
“Посмертное кокетство”. Перевод А. Эфрон.
5. Сонет “В часы всеобщей смуты мира” из сборника Теофиля Готье (1811–1872) “Эмали и камеи”.
6. Роман Анатоля Франса “Суждения аббата Жерома Куаньяра”; “Введение в познание человеческого разума” Люка де Клапье, маркиза де Вовенарга (1715–1747) — французского философа, моралиста, писателя; “Мемуары” Луи де Рувруа, герцога Сен-Симона (1675–1755) — французского мемуариста Людовика XIV и эпохи Регентства.
7. Филипп де Коммин (1447–1511) — французский дипломат и историк фламандского происхождения, известен своими “Мемуарами”.

нец, что это задняя комнатка кафедры романистики, и вспомнил, как я тут оказался. Все свежие неприятности встали перед глазами. Вчера я слегка опоздал на работу, но до обеда не было ни одного посетителя. Ничего не понимая, пошел к Ягомастасу[1] спросить в чем дело. Там уже был Альгис[2], и оба начали мне рассказывать, что начались аресты: части Отделения внутренних дел (НКВД) с местной милицией оцепляют дома, арестовывают ни в чем не повинных жителей, заталкивают в грузовики и везут на железнодорожный вокзал. Оба они очень испуганы. Я тут же вспомнил Стасиса, Йонаса, домашних (Адольфас в армии, Пятрас в тюрьме)[3]. Официально никто ничего не сообщает. Решили выйти на улицу. В городе, несмотря на висящий в воздухе невидимый ужас, все в пределах нормы: может, чуть поменьше людей и побольше военных грузовиков. Погуляли, пообедали и без малейших инцидентов вернулись домой.

После обеда на кафедре тоже никто не объявился, и я уже спускался по лестнице к входным дверям, как меня остановил сторож этой части здания, Юлюс, и посоветовал не ночевать дома: он устроит мне здесь лежанку, что и сделал. <...>

22 июня

Утром паника в общежитии. Все бегут по лестнице вниз. Бегу и я. В спортзале транслируют речь Молотова. Война. Немецкая армия вторглась на территорию Советского Союза. Тут же первые самолеты над Вильнюсом и первые бомбы. Приказ руководства общежития идти в убежище. Новоприбывшие приносят в убежище все новые слухи: немцы заняли Каунас и пр. Вдруг появляется поэт К. Ж.[4] и торжественно объявляет, что Красная армия не только отбила атаку врага, но и перешла в контратаку и уже приближается к Караляучюсу[5].

К вечеру, когда надоело сидеть в убежище, пошли в город. В городе особой паники не заметно. Чуть более активное

1. Юргис Ягомастас (1917–1941) – учился на гуманитарном факультете, работал в библиотеке Вильнюсского университета. Расстрелян гестапо в Панеряй, месте уничтожения литовских евреев.
2. Альгирдас Заскявичюс (1917–?) – учился в Военной академии, в 1942-м закончил филологический факультет Вильнюсского университета (по кафедре русского языка). В 1944-м стал партизаном, в 1947 г. арестован и завербован МГБ.
3. Стасис, Йонас, Пятрас, Адольфас – братья автора.
4. Казис Жиргулис (р. 1912) – химик, поэт. Изучал языки и литературу в Сорбонне, потом химию в Вильнюсском университете. В 1944 г. покинул Литву, живет в США.
5. Литовское название Калининграда.

движение войск в сторону Снипишек и Заречья. Кое-где к небу поднимаются столбы дыма от пожаров. Когда шли по улице Гедимина, над банком Литвы пролетели немецкие самолеты, и одна бомба небольшого калибра взорвалась прямо на другой стороне улицы, обдав нас землей, но никого, к счастью, не задев. Получив такое неожиданное первое "крещение", мы немножко испугались и пошли домой, выковыривая землю из ушей.

23 июня

Сегодня настроения в корне изменились. Никто больше не верит в победу советского оружия. Честно говоря, уже и некому верить. Говорят, что Вильнюс обороняться не будет и что большинство начальников и партийных руководителей спешно отбыли на восток. Даже поэт К. Ж., еще вчера предсказывавший быстрое взятие Берлина, вдруг "онемечился" и теперь с не меньшим энтузиазмом толкает речи о походе на Москву. Мачернис рассказывает, что находящаяся в руках партизан каунасская радиостанция уже объявила состав временного правительства Литвы (сам я не слышал, нет аппарата).

Встретил на улице Антанаса С., он передал слухи, что будут бои за Вильнюс.

Около полудня — шум на лестнице рядом с моей комнатой. Приоткрываю дверь. Красноармеец в полной выкладке, даже с винтовкой через плечо, в сопровождении сторожа общежития, протягивает мне какой-то листок и хриплым голосом рычит: "Вам призыв!", разворачивается и гремит вниз по лестнице. Раскрываю и читаю: приказ мобилизационной комиссии местного военного округа немедленно отправиться на сборы новобранцев. Я вздрагиваю, поскольку новая власть еще не перевоспитала мои инстинкты. И, поборов что-то вроде приступа долга и ответственности, длившегося несколько мгновений (хоть я давно решил в армию не идти), возвращаюсь в свою комнату, все еще немного потрясенный и взбудораженный.

24 июня / вечером

Прошедшую ночь провели (с Альгисом З. и его девушкой Б. Б.) в окрестностях Кальварии-Тринаполя (à la belle étoile[1]). В Вильнюс вернулись только перед рассветом. На

1. На свежем воздухе (*франц.*).

улицах ни души. На Кафедральной площади совсем неожиданно встретил заспанного Умбрасаса. Он в нескольких словах обрисовал мне военную ситуацию: в городе ни одного солдата; одни ушли, другие еще не вошли. Как раз при этих словах со стороны Замковой улицы появился отряд быстро несущихся немецких мотоциклистов, которые, на минутку притормозив у фасада Кафедрального собора, на всех скоростях помчались по улице Гедимина в сторону Зверинца.

На правой стороне улицы Таурас, чуть повыше, чем дом, где живут Креве, Путинас и Сруога, лежал мертвый красноармеец в новенькой лейтенантской форме.

В общежитии рухнул на кровать, не раздеваясь, и часов пять спал как убитый. После обеда пошел в университет — просто посидеть, побыть с книгами и попробовать восстановить потерянное в хаосе последних дней равновесие чувств и мыслей, чтобы понять, *что на самом деле произошло.*

6 июля

Неожиданно приехал Адольфас, посланный меня искать. Hosanna! Дома все живы и здоровы. Йонас откуда-то узнал, что Пятрас вышел из тюрьмы строгого режима *живым*, хоть и не очень здоровым, и сейчас уже в Тяльшяй, или по дороге туда. <...>

1942

Вильнюс
Без даты

Наконец я закончил учебу, то есть сдал государственные экзамены, на которых открывать рот почти не пришлось: чуть я начинал отвечать на вопросы, заданные экзаменационной комиссией, как мой профессор монсеньор Альберт Приу[1] тут же перебивал меня и отвечал сам (в упоении от собственного красноречия), а я только успевал вставлять одобрительные словечки. Других членов комиссии это совершенно не волновало, поскольку, не зная ни слова по-французски, они все равно ничего не понимали.

Конечно, нечего из-за этого огорчаться. Хуже всего, что, закончив, я не чувствую себя ни на йоту умнее — как Фауст. В самом деле, сейчас, то есть закончив, пора начинать учиться. <...>

1. Альберт Приу (Albert Prioult) — преподаватель Каунасского университета (приехал в 1938-м из Франции); автор книг о Бальзаке, работал в Сорбонне, во время войны вернулся во Францию.

1943

Вильнюс
24 июня

Июнь уже заканчивается, а я все еще в Вильнюсе.

Вильнюс, по которому я сейчас брожу один, хорош как никогда, может, потому что июньский свет, особенно утренний и вечерний, так идет к его стенам. Даже война как-то отдалилась, как будто происходит в другой реальности или в витрине на улице Гедимина, где на карте Восточного фронта флажками на булавках отмéчают все приближающуюся линию фронта. Пересекая наискосок площадь Лукишек, думаю: как быстро человек ко всему приспосабливается, как быстро все кажется нормальным!

В поезде / 26 июня

Простился с хозяйкой, которая погладила меня по голове, когда я выходил, и проводила до калитки. На улице подбежал попрощаться бородатый и странным образом похожий на Миколаса Биржишку соседский скотч-терьер Заглоба.

Шел на вокзал, не зная, когда уходит мой поезд и попаду ли на него вообще. Еще на минутку забежал на кафедру, где поставил книги на полки, закрыл окна, на дверь повесил привычную записку, что вернусь через 15 минут, хоть вернусь только через два месяца (чего хотеть: война!).

С поездом вышло лучше, чем я ожидал, и теперь без забот сижу у окна вагона, глядя на оживленный перрон (большинство — солдаты). О чем мне заботиться, если все время мое и нет разницы между минутой и годом! <...>

Конец июля – начало августа

Все еще не могу насытится “хлебом возвращения”, ощущением, что я дома, в Нямеикшчяй, что это утянские колокола, и не вильнюсские Св. Иакова.

* * *

Летние дни надо жить с солнцем, от восхода до заката, ритуально встречая утро и провожая вечер, — как мои отец с матерью. Предрассветная тишина говорит со мной. Если внимательно прислушаться, услышишь, как ходят и говорят жители этого дома, сто лет назад встававшие на рассвете.

Но ночь тоже моя.

* * *

Читал маме из “Колдуна”[1] (он ей очень нравится) и из “Старого поместья”[2] (от которого потекли слезы). <...>

* * *

Вчера ночью опять был налет советских самолетов. Только один пролетел прямо над головой. Другие гудели где-то над Шнеришке и зажгли несколько парашютных ламп. Кажется, они что-то разбрасывают. Говорят, что в округе Таурагнай разбросали много воззваний на литовском, даже книжку поэзии маленького формата, которая есть у кого-то в Утяне. Адольфас ее достанет и принесет посмотреть.

* * *

Закончил читать маме “Старое поместье”. Она тут же встала с просветленным лицом и помолодевшей походкой вышла. На этот раз я чуть не расплакался.

Опять приснится гроздь смородины,
Кровавых ягод снится гроздь...[3] <...>

Вильнюс
[*17 октября*]

Воскресенье. Проводил в Зверинец Д. С. и Ж. М. Поскольку возвращаться домой и там ничего не делать было рано, зашел к Йонасам. Там уже был Пятрас Вайчюнас[4] — такой исхудавший, казалось, щеки у него во рту скоро склеятся. Он большими шагами, почти бегом, мерил комнату и, размахивая руками, предрекал скорое возвращение большевиков. Сам он непоправимый оптимист, но тут полностью был согласен с пессимистом Йонасом: “Да, поверьте, приближается большевистская чума! Дева смерти уже появилась!” и тут же по-польски продекламировал первую строфу “Песни вайделота”[5].

1. “Колдун” (“Raganius”, 1939) — роман Винцаса Креве-Мицкявичюса (см. сноску к с. 143).
2. “В старом поместье” (“Sename dvare”, 1922) — повесть Шатрийос Раганы (Мария Печкаускайте, 1877–1930).
3. Строки из стихотворения Й. Айстиса “Ночь” (1933).
4. Пятрас Вайчюнас (1890–1959) — поэт, драматург, переводчик. После войны жил в Литовской ССР.
5. Из поэмы Адама Мицкевича “Конрад Валленрод” (перевод Н. Асеева):

Когда чума грозит Литвы границам —
Ее приход предвидят вайделоты,
И если верить вещим их зеницам,
То по кладбищам, по местам пустынным,
Зловещим дева-Смерть идет походом...

24 октября

Как мы и договаривались, Ганя отвела нас в частный антиквариат, который находился на узкой, почти до окон заваленной осенними листьями улочке (пришлось брести спотыкаясь). На самом деле, это квартира ее друзей из Варшавы, где продают книги на польском (в большинстве), французском, русском и немецком языках, которые приносят их знакомые. В дверях нас встретил очень вежливый человек с огромной овчаркой. Он тут же провел нас в заваленную книгами комнату на втором этаже и оставил одних. Книг на самом деле было много, почти все новые. Их изобилие перебило мне аппетит, и я выбрал только четыре небольших книжки: "Surowy jedwab" Павликовской, "Белую стаю" Ахматовой, "Paludes" Андре Жида и "Album de vers anciens" Поля Валери[1].

1944

Вильнюс

1 января

Мотто на 1944 год:

> Nicht lange durstest du noch,
> verbranntes Herz!
> Verheissung ist in der Luft,
> aus unbekannten Mündern bläst mich's an, —
> die grosse Kühle kommt...[2]

Суббота / 12 февраля

Немцы отступают по всему фронту. На севере Ленинграда окружение прорвано, и самый опасный для Литвы фронт идет сейчас примерно по линии Новгород—Старая Русса—Холмы—Витебск—Орша. На средней полосе почти все бои отступления идут по эту сторону Днепра. На юге советская армия прорывается к реке Буг. Положение на фронтах странным

1. Мария Павликовская-Ясножевская (1892—1945) — польская поэтесса, поэтический сборник "Сырой шелк"; "Топи" Андре Жида (1869—1951) — литературная сатира; поэтический сборник "Альбом старых стихов" Поля Валери (1871—1945).
2. Стихи Фридриха Ницше "Солнце садится" ("Die Sonne sinkt". Перевод В. Микушевича):

Недолго тебе еще жаждать,
сгоревшее сердце;
Обещаньями полнится воздух,
из неизвестных мне уст начинает меня обдувать —
грядет прохлада...

образом напоминает лето 1941 года, только теперь в пользу русских. Но в Вильнюсе пока что никто из-за этого не волнуется.

Увы, этот фаталистичный покой обманчив. Хорошо не думать об опасности и откладывать все на завтра. Боюсь, что скоро нам, всему народу, придется опять учиться выживать — кто волком, кто лисой, долгие годы жить нацией без государства и пытаться сохранить себя.

Устав от таких мыслей, иду к В. П., который, как слышу, только что вернулся из города. Он в любой ситуации находит слова, чтоб "сердце утешить".

17 февраля

Вчера Альгис З. многозначительно спросил меня, не хочу ли я познакомиться со "Стариком", руководителем ЛЛА[1]? Я согласился, а сам подумал: ну и конспиратор! Когда стемнело, он повел меня, почему-то держась поближе к стенам домов, в один двор на Большой улице, велел забыть куда. Там мы поднялись на второй этаж и встали у двери в конце темного коридора. Перед тем как войти, он снабдил меня последними инструкциями: я не должен расспрашивать о подпольной деятельности, не должен упоминать никаких имен etc. Постучали условным стуком, дверь открыл... и я чуть не выпал из ботинок: это был один мой старый знакомый, К. В., с каунасских времен. Он и тогда так держался, как будто принадлежал к какой-нибудь тайной организации. Поскольку я не чувствовал себя прирожденным конспиратором, то они даже не пробовали меня вербовать. По дороге домой Альгис был недоволен, что все так нетаинственно закончилось. (*P. S. 1996: Только сейчас, когда я переписываю, мне впервые пришло в голову, как неразумно было тогда все это записывать*). <...>

9 мая

О. скопировала и прислала (помню ли я?) надпись, которую я сделал три года назад на дверном косяке:

Ты как птенец, трепещущий в горсти, тогда была —
У храма ветхого от ливня ты укрытья попросила
И, будто пущенная королем стрела,
Мне сердце бедное нечаянно пронзила[2].

1. LLA (Lietuvos laisves armija) — Армия освобождения Литвы, организована в 1941 г.
2. Перевод Г. Ефремова.

9 июня

Мой патриотизм. По отношению к *Литве* я не могу быть ни нейтральным, ни объективным, поскольку это мой воздух, которым я дышу, мое тело и кровь. По отношению к *литовцам* я *стараюсь* быть объективным и непредвзятым, и все. Вот такой у меня патриотизм. <...>

17 июня

Оргия весны, само цветение и над всем нависает какая-то фатальная полутень.

Утром шел по Замковой улице и увидел приближающуюся со стороны Остробрамских ворот Йоне — какую-то посеревшую, опустившуюся, одетую в затрапезные одежки, в обеих руках — прозаичные сумки. Я хотел было помочь, но она вдруг ускорила шаги и исчезла в ближайшем переулке (как будто убегала от меня).

Когда я летом в Нямеикшчяй читал ее письма, я открывал все двери и окна, если никого не было дома, и пел от счастья, или шел тропинкой через рожь в леса и до вечера сидел на высоком откосе над берегом — абсолютно один и абсолютно счастлив.

22 июня

Наша хозяйка пани Бренштейн вернулась из города и очень взволнованно рассказывала, как встретила военного польской кавалерии, из "бывших", который ее предупредил ("ссылаясь на надежные источники"), что большевики через две недели будут в Минске, а может и в Вильнюсе. Мы с Паулаускасом пытаемся ее успокоить, говорим, что все это сплетни, и сами не верим в то, что говорим.

Вообще-то я давно уже научился жить в постоянной опасности и из-за этого еще более радоваться каждой отпущенной минуте. Появившийся образ Четырех Всадников Апокалипсиса тут же тает в весеннем полуденном солнце, и я, думая уже совсем о другом, иду в Зверинец.

28 июня

При приближении "оркестра" военных действий, все более угрожающем, в Вильнюсе царит странное, оторванное от реальности настроение. Люди как будто потеряли связь с действительностью, стали тихими и неразговорчивыми. На улице проходят мимо, не замечая друг друга, глаза уставлены в никуда, ничего вокруг не видят. Город осязаемо пустеет, но как-то апатично, без свойственной в таких случаях паники, убывает, как вода, поскольку фронт прямо рядом — где-то ме-

жду Минском и Новой Вильней. <...> Альгис З. все еще в Вильнюсе, но больше не показывается, занят какими-то грандиозными ополченческими планами. Последний раз я его нечаянно встретил в каком-то дворе на улице Доминиканцев, полном грузовиков и вооруженных мужчин, одетых в гротескную форму — с бору по сосенке у нескольких армий; он там что-то приказывал, раздавал инструкции. Увидел меня, издалека поздоровался, крикнул традиционное "будь свеж" и опять продолжил непонятную мне пантомиму военного ритуала.

Летняя империя в самом зените своей силы и славы. В цветении и зелени ни малейшего декаданса. Утром — глубокая роса и запах ноготков; днем воздух полон жужжания невидимых насекомых; только иногда прорывается фамильярный контрабас спустившегося на цветок шмеля, пока невидимый дирижер не возвращает его в летний оркестр. По вечерам туман, поднимающийся с Нярис, медленно течет в сторону Зверинца, и тюрьма в Лукишках выглядит, как заколдованный замок.

Какая мудрость в циничном равнодушии природы к делам человеческим!

Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!

29 июня

Завтра попробуем выехать в Каунас: Юргис со своей мамой, Джонни, Моника Б. и я. Сходили на вокзал осмотреться. Толкотня сильно уменьшилась. Почти одни солдаты проездом. Гражданские поезда не ходят. Немец-железнодорожник обещал "für eine kleine Spende"[1] посадить нас в военный транспорт, толково объяснил, когда прийти, где ждать.

Сегодня утром встал рано, чтоб еще раз побродить по городу. На улицах, еще пахнущих утренней прохладой и свежестью, не было ни одной живой души. Только урчание проезжающих где-то грузовиков и ритмично повторяющиеся обвалы канонад вдалеке. Вся площадь Лукишкес еще в тени. Солнце, вставшее за св. Иаковым и холмами Антоколя, озарило течение Нярис, подернутое жидкой утренней дымкой. Рядом с Зеленым мостом, на другой стороне реки, какой-то человек стоял в лодке, распутывая удочки, явно готовился к ежедневному рыболовному ритуалу. "Если б я был в Няме-

1. "За небольшое пожертвование" (*нем.*).

икшчяй, сам бы пошел рыбачить", — подумал я, нисколько не удивляясь равнодушию рыбака к "историческим событиям".

На Кафедральной площади понемногу начиналась жизнь. Сквозь открытые главные двери виднелись несколько коленопреклоненных силуэтов. В кустах на холме Бекеша покрикивала какая-то птица, знакомый голос которой напомнил мне родную речку. Когда шел мимо Св. Анны, был слышен скрежет открывающейся тяжелой двери или ворот. Со двора Бернардинцев старушка вынесла огромный ворох разноцветной церковной одежды, в другой руке зажав какую-то очень длинную палочку, похожую на гасильник для свеч.

Пусть язык мой прилипнет к небу моему, если я потеряю память о тебе, Иерусалим! <...>

Так я пробродил до полудня, как будто пытался спасти неизгладимые следы последних пяти лет. Вернулся домой, упал в кровать и проспал почти до вечера.

Проснулся и пытался собрать вещи. Но все время вместе с "что взять?" и "чего не брать?" меня мучила неотвязная мысль: завтра! А может, еще подождать? Но что я тут один буду делать? Не смог больше выдержать и пошел еще раз бродить по городу.

Миронас Гинкас

Через колючую проволоку

Глава из книги

Перевод Александры Васильковой

Дорога в Каунас

ПОД мышкой у меня портфельчик. В нем учебник Маслова “Детские болезни”, несколько ломтей хлеба и заботливо завернутый сестрой-хозяйкой в вощеную бумагу круг колбасы. Броне идет бодрым, легким шагом. С ней я чувствую себя смелее.

До Эржвилкаса тридцать пять километров. Развалины Таураге остались далеко позади, я и не заметил, как они пропали из виду. Поля и дороги словно вымерли. Ни человека, ни повозки, ни пасущейся скотины. Мое внимание прикован-но к поворотам большака, иногда пропадающего за холмами. Не затаился ли кто за пригорком? Не вылезет ли из-за куста? Не идет ли кто навстречу?

На небе ни облачка. Ни малейшего ветерка. Солнце печет безжалостно. Стеной стоят хлеба, наливаются тяжелые колосья. Хороший будет урожай. Кому он достанется?

Идут секунды, минуты, часы. Топаем километр за километром. Словно само время километры глотает. Солнце уже скатилось на другую половину неба. Начинаю чувствовать усталость. Во рту пересохло, но есть не хочется. Только подошвы сильно горят.

В самую жару усаживаемся под кустом. До Эржвилкаса осталось несколько километров. Зачем понапрасну пот проливать?

— Идти лучше, когда не так печет, — говорит Броне.

Конечно, я и сам так думаю. Мне лучше войти в городок как можно позже, когда люди спать улягутся.

Закусываем. К колбасе, которую дала Венскене, очень подходят Бронины редиски и перья лука. Все хорошо. Только почему-то болят пятки и пальцы ног.

Разуваюсь. Э, братец, да там волдыри!

© Mironas Ginkas
© Александра Василькова. Перевод, 2015

Дальше шагаю босиком. Раскаленный песок и острые камешки обжигают и колют подошвы. Стараюсь идти по мелкому песку, по обочинам, по травке. То же самое. Даже бедра и спина болят. Шаги замедляются, укорачиваются...

— Может, присядем? — на этот раз предлагаю я.

Броне соглашается. Она на все соглашается. И предлагает свернуть к ручейку.

Ополаскиваем ноги. От холодной воды становится немного легче. Но сомнений нет: до Эржвилкаса босиком не доберусь. Обуваюсь. Только опять новая беда: распаренные, распухшие, израненные ноги уже не влезают в ботинки. Каждая попытка причиняет нестерпимую боль. Придется продолжать путь босиком.

Еще несколько шагов. Десять, двадцать, еще несколько... Всё! Валюсь на траву у обочины. Чувствую, что ноги переставлять не смогу — боль не даст и шагу ступить дальше.

— Не могу, Броните. Босиком не дойду. Иди одна. Эржвилкас не за горами. Может, потом сам как-нибудь до городка доползу.

— Ничего, доктор, я подожду, — спокойно говорит Броните.

Охаю, меняю позы, массирую мышцы, иногда даже, не стесняясь Броните, некрасиво ругаюсь.

Правду сказать, бессонными ночами в больничном подвале, все трезво и спокойно взвешивая, я винил только самого себя. Мне тогда казалось, что истинной причиной моих бед были моя собственная близорукость и равнодушие к происходящим вокруг событиям. Особенно не мог я себе простить последней глупости — возвращения в Таураге. Опытные люди, зорко следившие за мировой политикой, предусматривали возможность этой войны и даже довольно точно предсказывали ее начало. Немало живущих вблизи границы людей уже несколько недель назад ушли в более тихую и безопасную глубинку. Даже в моем ближайшем окружении многим все было ясно: больничные служащие, наблюдая за передвижением войск у границы и за спешными и обширными фортификационными работами в пограничной полосе, открыто говорили, что война непременно нагрянет на днях. Лиса Раславичене накануне войны догадалась сбежать из зоны будущих военных действий — а я, пустоголовый, все видевший и ничего не понимавший, слепо сунул голову в петлю! Люди бегут из Таураге, а я устремился в этот ад!

Задрал ноги кверху, уперся ими в дерево. Хорошо бы сейчас наложить холодные компрессы — может, опухоли бы спали. Протягиваю Броне носовой платок, чтобы намочила его в ручье. Мокрый платок и тряпочка, которую Броне откуда-

то вытащила, мгновенно высыхают и нагреваются, и она снова направляется к ручью.

Наконец, натянув носок, снова пытаюсь втиснуть ногу в ботинок, и опять взвиваюсь от боли. Сцепив зубы, понемногу проталкиваю ногу все глубже. Еще чуточку, еще... Остается самая малость, еще чуть-чуть — и нога пролезает в самое узкое место. Вздыхаю. Давит, жмет, но придется вытерпеть.

Подходим к Эржвилкасу. Перед нами раззявила змеиную пасть улица, сейчас шагнем на нее, окажемся между домами — челюсти сомкнутся, и уже не вырвешься. Но другой дороги нет.

Странно. Жарко, а ни одного открытого окна, ни одной распахнутой двери. Улицы пусты, ни единой живой души.

Вот уже и рыночная площадь, но и она безлюдна. Только когда мы шли мимо каменного здания синагоги, из-за высокой ограды послышался приглушенный гул толпы.

Броне по пустой, вымершей улице местечка провожает меня до дома доктора Криштопайтиса. Перешагиваю порог чистой, довольно просторной комнаты с низким потолком. Молниеносно обшариваю глазами все углы. Кажется, никого. Передо мной сам хозяин. Несмело поглядываю на высокий лоб Криштопайтиса, его прикрытые очками глаза: что таится в голове и в душе у этого человека?

Несколько кратких его появлений в больнице оставили у меня хорошее впечатление. Криштопайтис показался мне дружелюбным, открытым, доброжелательным. Где теперь его улыбка? Где живые, сердечные слова? Уж не передумал ли он случайно? Ведь с тех пор, как он согласился пустить меня переночевать, прошла неделя. За это время гитлеровцы успели влить в сознание людей огромную дозу ядовитой пропаганды. А новая волна избиений, несомненно, на всех нагнала еще больший страх.

— Садитесь, коллега, — слышу будто сквозь сон.

Завязывается разговор. Стараюсь повернуть его к тому, что меня занимает: поговорить о фронте, о положении евреев. Криштопайтис, серьезно на меня глядя и не перебивая, выслушивает историю убийства доктора Шапиро и доктора Шахновича и понемногу сворачивает на мою хирургическую деятельность. О событиях в больнице он узнал от Броне, когда она побывала здесь в прошлый раз. Все ясно — Криштопайтис избегает страшных и неприятных тем.

Так вот, хоть передо мной и не довоенный Криштопайтис, однако совершенно тот же в высшей степени культурный человек. Ему сразу бросается в глаза, что я прихрамываю

и скован в движениях. Тотчас появляются таз с теплой водой, мыло, чистое полотенце, бинты, мази. Добрых полчаса мучаюсь, высвобождая израненные, покрытые волдырями ноги из словно тисками сжимающих ботинок. Хозяин дома заботливо подсовывает мне под ноги стульчик, помогает устроиться. Откуда-то появляются чистые носки, шлепанцы.

Так заботиться о человеке может только друг, радушный хозяин. Не напрасно я ему доверился.

Скромный ужин. И здесь война свою лапу наложила. Криштопайтис наконец словно бы отошел, теперь он рассказывает, а я только слушаю.

Пекарни, магазины, столовые закрыты. Хлеба нет. Некому работать. Всех местных евреев вчера согнали в синагогу, а сегодня та же участь постигла их жен и детей.

Кто теперь испечет хлеб? Запаяет ведро? Подстрижет волосы? Ведь почти все городские ремесленники и торговцы были евреями. Но не это главное. Произвол, беззаконие, жестокость — вот с чем Криштопайтис не может смириться. Страх и отчаяние овладели всеми. Ни у одного человека нет уверенности в завтрашнем дне. В местечке свирепствуют белоповязочники. Люди стараются даже из домов не выходить. Запертым в синагоге мужчинам, женщинам и детям в такую жару не дают ни капли воды.

Теперь я начинаю понимать, почему нам с Броне местечко показалось таким жутким. Вот почему пусты улицы! Вот что за приглушенный гул доносился до нас из-за высокой ограды и вот почему так мрачен хозяин дома!

От волка бежал, на медведя попал. Ведь и мне угрожает святилище за высокой оградой. Не придут ли за мной белоповязочники? Может, лучше без промедления покинуть гостеприимный докторский дом и Эржвилкас?

Криштопайтис меня успокаивает. Аресты уже прошли. Никто из местных не посмеет вломиться в квартиру своего доктора.

Хотелось бы верить, но я еще помню, как Венцкус не постеснялся прямо из больницы меня вытащить. Такой и сюда не постыдится зайти. Все же надеюсь, что никакой белоповязочник, может, и не заметил моего гостевания у Криштопайтиса.

Спать ложимся рано: электричества все равно нет. Решаю как можно раньше покинуть вымершее местечко. Уснуть не могу. Сильно ноют натруженные ноги. Вскидываюсь, едва где что стукнет. “Не дождешься утра, еще ночью за тобой придут”, — вбил я себе в голову. Все-таки под утро засыпаю коротким, беспокойным, но крепким сном.

Просыпаюсь, разбуженный каким-то страшным сновидением. Сквозь щели в ставнях видно небо, чуть брезжит рассвет. Еще долго, невыносимо долго тянется глухая ночь. Все взвешиваю, обдумываю. Положение кажется мне безвыходным. Не могу ни здесь оставаться, ни путь продолжать. А солнце уже высоко. Встаю, делаю шаг. Ох, прямо хоть волком вой. Нет, нельзя. Надо выбираться отсюда, пока за мной не пришли. Пытаюсь отказаться от завтрака и уйти, только хозяин не пускает.

За ботинки берусь, сжавшись от страха, однако сейчас не время жалеть себя. Придется терпеть — обутый я еще смогу сколько-то пройти.

Тревожно спрашиваю: может, мне лучше выйти на большак задворками, вдоль заборов? Встреча с местными жителями может закончиться по-всякому. Доктор Криштопайтис не соглашается: самый короткий и самый безопасный путь — прямо через местечко. Мне нечего бояться. Криштопайтис сам проводит меня до шоссе.

Выходим за дверь и, обогнув какой-то большой дом, сворачиваем в узкую улочку. Делаю несколько шагов и обмираю: перед нами чернеет огромная надпись: ПОЛИЦИЯ.

Как я вчера ее не заметил? И все время, пока был в доме Криштопайтиса, провел под боком у полиции?! Он-то точно это знал! Искоса гляжу на него — а он и глазом не моргнет. Совершенно спокойно, с вызывающей смелостью ведет меня прямиком мимо логова полицейских и белоповязочников. Деваться некуда. Притворяюсь, будто беспечно разговариваю с Криштопайтисом и стараюсь идти ровно, не хромая, хотя с каждым шагом меня словно штыком протыкают.

Полиция осталась позади. Вот и последние дома местечка, еще несколько десятков шагов — и Эржвилкас пропадает за пригорком.

— Спасибо, коллега. Дальше пойду один. Если останусь жив — никогда этого дня не забуду.

Криштопайтис улыбается давно знакомой всем широкой, сердечной улыбкой и пожимает мне руку.

— Удачи, доктор. Желаю вам благополучно добраться до Каунаса.

Да, Криштопайтис прав. Единственное и сильнейшее мое желание — благополучно добраться до Каунаса. Мне кажется, больше ничего и не надо. Все остальное выдержу, вытерплю, преодолею! А глубоко в подсознании теплится еще более дерзкая надежда: если мои не ушли с Красной армией, может, там, в Каунасе, найдется возможность перебраться подальше на восток... И тогда... тогда...

Стою один на большаке. Сделаю шаг — и охаю, сделаю второй — снова охаю, еще раз шагну — и выругаюсь. Но все равно иду.

Боль все сильнее. Судорогой сводит ноги, спину. Ковыляю осторожно, будто на стеклянных ногах. Пот заливает лоб, спину, шею. Эржвилкас все еще угрожает мне сзади, гонит вперед через боль и слезы. Впереди дорога идет под уклон, дальше виднеется рощица. Кое-как дополза́ю до первых деревьев, а там вижу дом с крылечком. Еще несколько шагов... Больше идти не могу.

— Может, дадите воды напиться? Иду из Таураге в Каунас, — говорю вышедшей навстречу женщине. — Посижу здесь, если позволите, а потом дальше пойду. Далеко ли отсюда до Юрбаркаса? А сколько от вашей усадьбы до Эржвилкаса?

Всего два километра?.. Не может быть! Ведь я два часа как вышел из Эржвилкаса. Всего два километра!

Вдали, за рощицей, в лесной чаще заманчиво светится дорога жизни. Как до нее добраться?

Проходит два часа. Встаю и шагаю дальше. Темп не меняется. Подсчитываю: если, проползая за два часа по два километра, я буду двигаться по двенадцать-четырнадцать часов в день, то на оставшиеся до Каунаса сто восемь километров потребуется четыре или даже пять дней. Так, может, и ночами идти? Глупость и бессмыслица. Чувствую, что не выдержу. С другой стороны, ночной путник, несомненно, у всякого должен вызывать подозрения.

Плетусь через лес. Впереди между деревьями мелькает кузов пассажирского автобуса. Рядом стоят мужчины. Назад! Скрыться... Избегать встреч с мужчинами!..

А если те, у автобуса, меня уже заметили? Повернув назад, точно привлеку к себе внимание. Лучше проскользнуть мимо. Да, проскользнуть, а может, даже... открыто... Подойти и как ни в чем не бывало попроситься в автобус.

Около автобуса только двое, того светловолосого, который заканчивает прикручивать гайки, я вроде бы где-то видел. Ну да. Вспоминаю. Он работает на каунасском автовокзале. Сын литовца и еврейки. Широкоплечего, синеглазого, привлекательного мужчину на городских улицах замечали.

Нет, эти люди не могут быть опасными. Подхожу. Заговариваю. Они сейчас поедут в Юрбаркас, могут и меня подвезти.

Огромный автобус везет меня, единственного пассажира, извилистой лесной дорогой. Угрожающий Эржвилкас отдаляется. Мужчины болтают между собой, а я на месте усидеть не могу. Все хочу спросить, что слышно в Каунасе. Они на меня ни малейшего внимания не обращают, словно меня здесь

и нет. Мимо нас летит частый сосняк с редкими просеками. Наконец усыпанная гравием дорога выносит нас прямо в Юрбаркас — цель второго дня моего пути.

Денег парни не берут. Правда, заплатить могу только червонцами. Последнюю зарплату мне выдали советскими деньгами.

До вечера далеко, пока стемнеет, можно сколько-то пройти. Вот бы еще какая-нибудь машина подвернулась! Но не видно ни людей, ни автомобилей. Раньше люди чаще всего из Юрбаркаса в Каунас добирались пароходами. Теперь мне на пароход доступа нет. Все вокзалы и пристани, наверное, под контролем полиции и армии. Разве что на баржу попробовать. К сожалению, и это невозможно. На прощанье светловолосый успел мне сказать, что теперь все баржи в распоряжении армии.

После Эржвилкаса знаю, что пустые улицы Юрбаркаса ничего хорошего мне не сулят. Скорее на шоссе, в лес. Среди деревьев и кустов, вдали от людей, спокойнее и безопаснее.

Шагаю. Ботинки жмут, ноги болят, проклятые!

Жадно высматриваю хоть какую машину. На шоссе ни одной живой души. Не радуют и хваленые, чудесные берега Немана, излучины, рощи и холмы.

Жара спала. Уже можно было бы идти, если б не эти ноги. Вдруг сзади доносится стук копыт. Осторожно оглядываюсь. С пригорка спускается телега, запряженная парой лошадей. Людей на ней много, между темными мужскими костюмами белеют косынки, светлые блузки. Телега приближается. Я уже могу разглядеть среди охапок сена корзины и узелки. Видно, люди из костела возвращаются. Немного поколебавшись, робко поднимаю руку.

— Простите, далеко ли едете?

— За Скирснямунес.

— Это далеко от Юрбаркаса?

— Километров тринадцать, может, пятнадцать.

— Не подвезете? Я заплачу.

— Садитесь, — говорит молодой возница. — Места хватит.

Громыхают колеса, за нами поднимается туча пыли. Со мной долго никто не заговаривает. Украдкой наблюдаю за попутчиками. Вроде люди как люди, а все равно мне неспокойно.

— Теперь на дорогах много таких, как я, — пытаюсь нарушить неуютное молчание.

— Ну... Особенно много по деревням шатается отставших от своих частей красноармейцев. Немецкая жандармерия и полиция их ловят и гонят в лагеря. Многие гибнут в неравной борьбе.

— Да. Путешествовать теперь опасно. А автобусы не ходят, пароходы и поезда гражданских не возят, — неуверенно заканчиваю разговор.

Похоже, они согласны. Сейчас посыплются вопросы — кто я такой, куда еду. Сказать правду или наплести чего-нибудь? Если скажу правду — высадят и, чего доброго, прибьют. Нет, лучше что-нибудь выдумаю, все равно они правды не узнают. По речи и по лицу не разберутся, убеждаю я сам себя. В конце концов, если потребуется, суну им пропуск, выданный комендатурой Таураге.

Лениво тянется разговор. Уже немало километров проехали, а мной никто не интересуется.

— Плохо сейчас евреям, — внезапно говорит один из попутчиков.

У меня даже дыхание перехватило.

— Да, хуже и быть не может, — поддакивает другой.

Разговор оживляется. Тема, видно, актуальная. Без передышки посыпались страшные истории, одна другой ужаснее. Почему они уделяют этому такое внимание? Не провоцируют ли они меня? Уже и я молчать не могу. А что говорить-то? Высказаться определенно или избегать острых углов?

Собрав всю волю, ровным голосом произношу в наступившей тишине:

— В Таураге немцы застрелили восьмидесятилетнего врача Шапиро и заставили соседей закопать старика в одной яме с павшей лошадью.

— Господи Боже! — вырывается у одной женщины.

Нет, эти люди для меня не опасны.

Им уже пора сворачивать с шоссе. Прощаемся, будто старые знакомые. Предлагаю вознице деньги за проезд.

— Червонцы? Куда их теперь девать? — усмехается он и, щелкнув кнутом, сворачивает на проселочную дорогу.

Не спеша оглядываюсь кругом. Слышу, возница кричит мне вслед:

— А где ночевать собираешься?

— Не знаю, пока светло, попробую еще сколько-нибудь пройти.

— Только вот по той дорожке в гору не поднимайся, — показывает он кнутом. — Из того дома под железной крышей семью в Сибирь увезли. Теперь там их родня живет. Там ничего хорошего не дождешься. К другим можешь смело проситься.

— Спасибо, понял, — кричу вслед удаляющимся попутчикам.

Встряхнувшись от такого нежданного поворота в нашем общении, я, прибавив шагу, огибаю негостеприимную усадь-

бу. Ноги покрыты волдырями, но двигаются легко, боль и усталость пропали. Стало прохладнее, идти приятно. Теперь, кажется, шел бы и шел, только, к сожалению, начало темнеть. Самое время позаботиться о ночлеге, позже люди не пустят.

Выбираю себе для ночлега небольшую избушку, затерявшуюся среди дубов и кленов. Во дворе рассохшийся хлев, сарай. На лай собаки выходит человек.

— Не знаю, понравится ли горожанину в нашей избушке. Теперь ночи душные, семья спит в сарае на сене. Если не погнушаетесь — милости прошу, — немного подумав, говорит он.

Перешагиваем порог, в доме уже плотные сумерки.

— Присаживайтесь, — хозяин кивает на лавку у стены. — Семья еще не легла. Надо свиней накормить. Коровы еще не доены. Будет свежее молоко, — договорив, он скрывается за дверью.

Сижу один, поглядываю в окно. Хозяин исчез — как сквозь землю провалился. Мучительно долго ползут минуты. Только когда совсем стемнело, семья собирается. Женщины в потемках топят печку. Мужчины, сидя на лавке, попыхивают самокрутками. Говорим о полевых работах, об урожаях, о войне, о фронте, о том, что на дорогах неспокойно, а по лесам шатаются вооруженные люди.

Кто я такой — никто не спрашивает. Что это — равнодушие, самоуверенность, неведение насчет последних указаний гитлеровцев или традиционное деревенское гостеприимство? А что за люди, хозяева усадьбы? Если настроены дружески, надо их предупредить о том, кого они у себя приютили. А если я угодил к врагам — хорошего не жди. Только как это выяснить? Решаюсь рассказать уже выручившую меня сегодня историю гибели доктора Шапиро.

— Убили человека, бесы, и вместе со скотиной закопали, — сердится хозяин.

Спать иду без страха. Едва успеваю положить голову на чистую наволочку, как тут же, одурманенный запахом свежего сена, засыпаю крепким, живительным сном.

Рано утром, осторожно разузнав, что на пути в недалекую Велюну нет никаких застав и военных патрулей, прощаюсь с гостеприимным домом и выхожу на шоссе.

Вот уже и Велюна. Как и в Эржвилкасе, как и в Юрбаркасе, улицы местечка пусты. Вдруг из одного двора выходит мужчина и сворачивает в мою сторону. Мы неминуемо столкнемся. Что делать?

Натянутый, как струна, готовый к любому позору, плетусь, еле переставляя ноги. В голове одна мысль сменяет другую: бе-

лой повязки нет. Не вооружен. Из вчерашних разговоров с людьми знаю, что больше всего неприятностей населению причиняют вооруженные мужчины, шатающиеся по дорогам. Главное, чтобы он не подумал, будто я один из тех шатунов. Как мне себя вести? Поздороваться или не здороваться? Пройти мимо или остановиться и заговорить? Какие здесь обычаи?

Решение рождается в последний миг.

— Простите, как тут к доктору пройти? — спрашиваю по-литовски.

— Это дальше, на окраине, — вежливо отвечает он.

— Спасибо, — не остаюсь я в долгу, с облегчением выдохнув.

Еще несколько шагов, и я выйду на большак!

Солнце с самого утра печет без устали. К полудню добираюсь до Середжяй. И в этом местечке людей не видно. Правое ухо уже покрылось крохотными волдырями. Самое время отдохнуть, отдышаться и хоть ненадолго спрятаться от солнца.

Миновав Середжяй, через несколько километров вижу сосновый лесок. Здесь в тенечке и отдохну, перекушу, а когда солнце начнет опускаться, снова тронусь в путь.

Растягиваюсь на мягком мху под большой сосной, поодаль от дороги. Жую сухую колбасу. Слышу — на шоссе трещит мотоцикл. Еще не разобравшись, откуда доносится треск, вижу: по большаку на бешеной скорости проносится мотоцикл с коляской. Успеваю заметить только зеленые мундиры и большие, почти до плеч доходящие каски. Немцы!

— Так-так-так... — воздух прорезает долгая пулеметная очередь. И не разобрать, кто стреляет — не то мотоциклистов обстреливают, не то они сами очередь выпустили.

Теперь мне ни в леске не отсидеться, ни на шоссе выйти. Лежу во мхах, головы не поднимая. Вокруг уже стихло, а я все лежу. Подняла меня только жажда — после сухой колбасы и пролитого в дороге пота. Озираюсь — все спокойно. Осторожно выбираюсь на шоссе. Кругом тихо, ни одной живой души.

За леском вблизи шоссе не видно ни одного дома. Только когда солнце уже заметно склонилось к западу, добираюсь до стоящей у дороги усадьбы. Во дворе у колодца прямо из ведра пьет старик.

— Не дашь ли напиться, отец, жажда замучила?

— Сам мимо шел, завернул попить. Хозяев не видать. Пей, если хочешь, — говорит старик, утирая рот рукой. Дальше шагаем вместе. Старик плетется, опираясь на палку, и разгоняет дорожную скуку воспоминаниями о той войне. Вилкия уже недалеко. Мне везет: в местечко войдем вдвоем, все не так страшно. Уже виднеются крыши Вилкии. Чаще попада-

ются навстречу едущие и идущие. Вот и еще одна телега приближается, полная людей.

Издали вижу ружья и одежду сидящих на телеге. Кое на ком форма стрелков. Старик безмятежно продолжает делиться воспоминаниями, а я уже ничего не соображаю.

“Пронеси, мамочка! Пронеси через эту опасность!” — молюсь я.

Телега проезжает мимо. Мы делаем еще несколько шагов.

— Стой! — летит нам в спины суровый окрик.

Мы оборачиваемся. Телега стоит. В нашу сторону бегут двое в полувоенной одежде. Щелкает затвор ружья.

— Руки вверх!

— Кругом! — за первым приказом следует второй.

Чувствую водочный запах.

— Вперед, — стрелки гонят нас к телеге, подталкивая прикладами.

С поднятыми руками проходим несколько шагов. Впереди, рядом с возчиком, сидит молодой, интеллигентного вида мужчина в гражданской одежде. На ремне у него висит кобура с пистолетом, в руках ружье.

— Откуда идете?

— Из М.

— Из Таураге.

— Куда направляетесь?

— В Вилкию, в костел, к настоятелю.

— В Каунас, домой.

— Большевики?

— Нет, — отвечаю я.

— Нет-нет, — пугается старик.

— А зачем тогда с жидом вместе идешь? Или распоряжения не знаешь?

— Не слышал я. Идет человек по дороге... Вот и пошли вместе.

— Не человек, а жид, — поправляет кто-то с телеги.

— Катись, старый! А с жидами и большевиками не связывайся, — велит старший, а потом сурово обращается ко мне:

— Документы!

Подаю ему паспорт, военный билет, выданный комендантом Таураге пропуск.

— Чего там еще проверять? Шлепнуть, и дело с концом! — ворчит один.

— Ехать надо, а мы тут возимся, — прибавляет другой.

— Кончай разговоры, — обрывает старший, прочитав выданный комендантом Ausweis. — Что ты делал в Таураге?

— В больнице работал. Я врач.

— Тухлыми селедками торговал, — ухмыляется кто-то.

— Литовцев арестовывал! В Сибирь увозил! — шумят остальные.

— Назови мне врачей-литовцев, работавших в Таураге, — не обращая внимания на крики, продолжает старший.

— Прусявичюс, Раславичене, Юрявичюс, Раславичюс...

— А кого из них в Сибирь увезли?

— Никого. Все продолжают работать в Таураге. Увезли только детского врача Аронсонене вместе с мужем, служащим.

— Врешь, гадина! — шумит его свора. — Все жиды — большевики. Весь наш народ извести задумали! В Сибирь вывезти собирались. Ничего у гадов не вышло!

Задвигались на телеге, заволновались. Вскакивает один, вскакивает другой, пытаются пробраться к старшему.

— Кончай митинговать! — слегка повысив голос, говорит тот. — А почему желтую звезду не носишь?

— Не знал я, что надо. Только в пути узнал, что вышло такое распоряжение, — соврал я. — В Вилкии попрошу кого-нибудь мне выкроить.

— Вали отсюда и больше за чужие спины не прячься. С литовцами в разговоры не вступай.

Телега с грохотом покатила в сторону Середжяй, издали угрожая ружейными стволами. У меня дрожат ноги.

Старик поплелся к Вилкии. Я, немного отстав, потащился следом. Приблизиться не смею. Так, один за другим, и шагаем в Вилкию.

Никто мне не мешает двигаться свободно: немцев нет, белоповязочников не видно. Иду, а мне повсюду мерещатся наставленные на меня ружья. Так и жду, что из любого двора, из-за любого угла услышу, как недавно, полтора часа назад: “Стой! Куда идешь? Документы!”

Дальше идти не решаюсь. Дело к ночи, и надо через Неман перебраться, а я не знаю, в каком месте и где безопаснее всего. Кто посоветует? Надо к кому-нибудь из коллег зайти, там объяснят.

— Где тут у вас доктор? — спрашиваю у прохожего.

— Который? — неожиданно вопросом на вопрос отвечает он.

— А какие у вас есть?

— В третьем доме слева — доктор Р. — называет еврейскую фамилию. — А доктор Ж. — на той стороне улицы.

Вторая фамилия мне ничего не говорит.

Долго стучусь в дверь кабинета доктора Р. Никто не хочет меня впускать... Наконец дверь открывается.

— Вы зачем к нам? — спрашивают меня.

— Я к доктору Р.

— Это я, — слегка удивившись, отвечает мужчина средних лет.

— Можно войти? — перехожу на идиш и наскоро выкладываю свою дорожную историю и сомнения насчет дальнейшего пути.

Врач смотрит на меня, как на чудо.

— Прошу в дом, заходите, пожалуйста. Господи Боже! Вы так от Таураге и идете?

— Да, от Таураге.

— И никто вас не остановил? Не арестовали? Свободно весь путь проделали? — все не может поверить Р.

Я рассказываю ему о встрече с белоповязочниками, он, разволновавшись, выспрашивает подробности, а потом, словно что-то припомнив, говорит:

— Если вы из Таураге, должно быть, знаете доктор Хазана.

— Конечно. Дерматовенеролог.

— Мой шурин. Сейчас у нас живет.

Доктор Р. встает, открывает дверь, ведущую в квартиру. Теперь мой черед удивляться: передо мной стоит таурагский врач Хазан.

— Доктор! — бросается он ко мне. — Откуда вы?

Коллегу Хазана я знал еще со студенческих лет. Вокруг пожилого медика, долго, с перерывами учившегося, часто собиралась молодежь. Мы быстро заметили одну странность Хазана — особенную боязнь микробов.

Хазан почти не обращал внимания на свой внешний вид, одет был неизменно в широкий, будто на вырост сшитый мятый пиджак и широкие брюки, которых никогда не гладил, но необыкновенно тщательно следил за своими руками, розовым, будто нарумяненным, лицом и блестящей, словно отполированной, лысиной. От коллеги Хазана всегда невкусно пахло простым, дешевым хозяйственным мылом. Туалетного мыла он не признавал, считал, что хозяйственное без всяких добавок самое здоровое и моет чище всего. Для того чтобы устранить микробы, твердил Хазан, достаточно почаще мыть руки с мылом. Его, закоренелого холостяка, студенты часто поддразнивали, но Хазан и сам любил пошутить и умел дать отпор острякам. Зато он быстро сживался с молодым студенческим коллективом, и все его любили за веселый и общительный характер.

Пожав мне руку, Хазан стал бродить из угла в угол. Ермолка, прикрывающая макушку, маловата для его головы, видно, кто-то ему одолжил.

— Весь день псалмы читает, — осторожно шепнул мне доктор Р.

Лицо у Хазана все такое же свежее, ясное, пахнет от него все тем же дешевым мылом, но румянец пропал. Пропал и веселый, плутовской взгляд. Доктор мечется по комнате, словно загнанный, обессилевший, последние секунды борющийся за себя зверек — по клетке.

— Все кончено. Теперь наша очередь! — на минутку остановившись, в отчаянии восклицает Хазан, после того как я, по просьбе доктора Р., рассказал о своей встрече с белоповязочниками.

— Почему кончено? Напротив! Ведь коллега вернулся целым и невредимым, белоповязочники его отпустили. Вот он стоит перед вами! — раздраженно говорит доктор Р.

Он предупреждает меня, что у Хазана, скорее всего, расстройство психики, мания преследования, — тот призывает всех евреев принять срочные и радикальные меры для спасения своей жизни. Дольше ждать нельзя, надо действовать, иначе всех перережут!

— Все кончено! Нельзя ждать сложа руки. Надо действовать! Доктор, никто не хочет меня понять, скажите вы им! — обращается ко мне Хазан.

— Да почему кончено? Я, как видите, жив, — говорю ему, повторяя следом за доктором Р.

— Недолгая отсрочка, — отвечает Хазан, снова на минутку остановившись. — Белоповязочники еще не разобрались в иерархии гитлеровских органов власти. Тех белоповязочников на телеге сбила с толку бумажка со свастикой. Они ездили по окрестным деревням и местечкам производить Judenrein[1]. Теперь наша очередь.

— Вот видите. Забрал себе в голову, что конец, да и только, — сердится доктор Р. — А мы почему все еще живы? Почему в Таураге, Эржвилкасе ничего похожего не случилось? И у нас уже все успокоилось, — неуверенно, словно раздумывая, говорит доктор Р.

— Успокоилось? Вчера расправились с восточной частью уезда, а сегодня отправились в западную, — снова прервав псалом, повторяет Хазан фразу, уже слышанную раньше от доктора Р. — Бегите, доктор, пока еще время есть, — с Хазаном страшно встретиться взглядом.

— А вы почему не бежите?

1. Букв.: свободный от евреев (*нем.*). Тут речь идет о рейдах для поимки евреев.

— Я слишком стар. Вы молоды. У вас семья, ребенок. Может, вам удастся перебраться через линию фронта. А я уже ничего хорошего в этом мире дождаться не надеюсь, — говорит Хазан и вновь начинает бродить по комнате.

По словам коллег, на том берегу Немана люди добрее и положение спокойнее. Около Вилкии уже построен понтонный мост, по которому разрешается ходить и гражданским. Они советуют мне переночевать за Неманом, в Скрипставе, у мельника-еврея.

Доктор Р. собственноручно вырезает для меня желтые звезды, однако я не спешу их пришивать. Надеюсь до конца пути дойти под чужой маской: кому охота, пусть гадает, кто я такой. На всякий случай пришиваю звезды на рубашку, под пиджак.

Положившись на эту ребяческую хитрость, с сильно стучащим сердцем, в ужасном настроении иду по понтонному мосту. Мимо немецкого часового пробираюсь, невольно съежившись, держа наготове “Guten Tag”. На мое счастье, часовой в мою сторону и не взглянул, расхаживает себе вперевалку вдоль моста, повернувшись ко мне спиной.

До Скрипставы добираюсь уже затемно.

Хозяин не сразу соглашается открыть мне дверь, приходится долго стучаться и объяснять. Он поверил моим словам только после того как я назвал фамилию доктора Р.

И мельник долго расспрашивает меня о том, как я добирался, про войну. Этого рослого, привыкшего к тяжелой физической работе человека интересуют только два вопроса: куда пропала его старшая дочь, которая перед самой войной отправилась погостить к родне, и какие слухи ходят об учреждении гетто. Мельницу у него уже отобрали. Отняли коней, скот, муку и зерно.

С восходом солнца я уже в пути. В портфеле вместе с кусочком сухой колбасы несу теперь угощение, полученное от мельника, — сушеный сыр. Обожженная кожа за правым ухом облезает.

Иду уже через Качергинский лес, излюбленное место отдыха каунасцев. Кажется, вот-вот увижу башню каунасской ратуши, пристань, монастырь кармелитов. Что ждет меня в Каунасе? Найду ли кого из своих? Чем ближе конец пути, тем более страшные картины рисует воображение. Дом, уничтоженный бомбой или пожаром, замученная, искалеченная жена, несчастный сын, брошенная, опустевшая квартира, без вести пропавшие, скитающиеся за линией фронта родные... Чем страшнее эти мысленные картины, тем быстрее и шире я шагаю.

И снова я полон надежды увидеть домашних живыми и здоровыми. А может, они бежали вглубь России? Но куда они побегут с младенцем и старой бабушкой, которая недавно перенесла тяжелую операцию?

Погруженный в собственные мысли, не замечаю, как из кустов выходит молоденькая парочка. Оставив барышню чуть поодаль, невысокий тощий паренек лет восемнадцати шагает прямо ко мне.

— А, жид! — так прямо в глаза и режет. — Кто разрешил здесь ходить?

Неожиданное и глупое препятствие. Страха я не чувствую, только стыд, оттого что должен подчиняться такому молокососу. Еще и эта девушка стоит у куста и ждет.

Спокойно отвечаю:

— У меня есть пропуск, подписанный немецким комендантом.

— Каким еще комендантом? — ухмыляется он. — Выдаст тебе военный комендант пропуск к Аврааму.

— В Таураге военный комендант дал, — говорю я, показывая бумагу.

— Что-то здесь не так. Не мог немецкий комендант тебе пропуск выдать, — сомневается парень. — Пошли к начальнику полиции, там во всем разберемся.

— Незачем мне к нему идти, — изо всех сил стараюсь сдерживаться, как-нибудь воздействовать на молокососа, чтобы поверил моим словам. — Документ настоящий, выдан и зарегистрирован в комендатуре. Вот мое больничное служебное удостоверение, паспорт, военный билет. Все документы в порядке, — говорю я, заваливая его бумагами.

— Хитрый, черт! Но меня не обставишь. Не мог ты его так запросто получить. Обманул кого-нибудь или подкупил. Немцы еврею пропуска не выдадут. Идем в участок!

Вижу — бита моя карта. А Каунас уже перед самым носом. Неужели мне, почти достигшему цели, предстоит угодить в полицейский участок? Больно. В груди такая тоска разливается, хоть плачь. Смотрю на этого мальчишку с бледным тощим лицом и чувствую — во мне что-то поднимается, кипит, клокочет. Руки тяжелеют, лицо застывает. Сейчас сделаю что-нибудь непоправимое. Выплесну свою досаду, накопившуюся боль. Несчастье случится! А тогда... Тогда не видать мне больше Каунаса. Еще и девица эта у кустов стоит...

— Хорошо, идем. Я пожалуюсь. Нашлись, видите ли, такие, которые смеют не доверять документам, немецким военным комендантом выданным! Меня по дороге несколько раз патрули проверяли. Поверили, разрешили дальше идти.

Только здесь один такой выискался. Каким же образом я оказался тут, за сто пятьдесят километров от Таураге? — говорю я, собирая свои бумажки.

У нацистского прихвостня в глазах сомнение.

— Пойдем, Витас, — неожиданно встревает в наш разговор нетерпеливый девичий голос. — Вечно ты что-то выдумываешь. Пойдем! Или я одна пойду.

— Гад, обмануть меня хотел, — уже спокойно говорит парень.

Чувствую, чаша весов склонилась в мою сторону.

— Ну, иди себе, придурок, — неохотно соглашается молокосос.

Потом, словно что-то припомнив, окликает:

— Эй, погоди! Почему звезду не носишь?

— Вот, — распахнув пиджак, показываю ему.

— Зачем прикрываешь? Скидывай пиджак, чтобы все видели, кто ты такой, — осклабившись, громко говорит кавалер и оглядывается на девушку: стало быть, хоть одну победу одержал.

Снимаю пиджак и разворачиваюсь в сторону Каунаса.

Немного отойдя, снова набрасываю пиджак на плечи.

...Каунас! Я снова иду по улицам Каунаса! Те же самые тротуары, те же самые дома, витрины магазинов, берега Немана, Алексотский холм, городская больница. Однако чего-то не хватает.

Ну да. Люди. Одеты как раньше, спешат, здороваются. Но куда подевалась свободная, беззаботная манера держаться, игривость наряду с хозяйской серьезностью, достоинством? Вместо открытого взгляда — скрытность, подозрительность или наглость и безразличие.

Чем дальше, тем меньше я узнаю Каунас. Он изуродован нацистскими плакатами, немецкими приказами и воззваниями, немецкими военными мундирами и свастиками.

Внезапно останавливаюсь, будто громом пораженный. Мне навстречу по мостовой, рядом с тротуаром, как собачка, идет человек с желтой звездой на груди и такой же звездой на спине. Идет спокойно, не озираясь, с поднятой головой. Люди на тротуарах не обращают на него внимания, никто не останавливается, не провожает взглядом. Словно так и должно быть. Я выпрямляюсь, снимаю пиджак и шагаю на мостовую.

Не смотрит ли кто на меня? Не показывает ли пальцем? Нет! Нечего стесняться. Скорее домой!

Центр города. Улица Донелайтиса. Наш двор все ближе. Лишь бы только больше никто не задержал! Не могу спра-

виться с ногами, они сами по себе ступают все быстрее. Пульс в ушах, в горле, в груди учащается, бьется все громче.

На дрожащих ногах огромными скачками взлетаю на пригорок в конце двора. Поднимаю глаза: на втором этаже все окна открыты. Там должны быть мои...

Прислушиваюсь. Люди разговаривают. Но чьи это голоса? Может, уже чужие?

Просто так идти нельзя. Сначала выясню, кто там. Я уже давно обдумал, что сделаю, когда доберусь до этого пригорка. Наши свидания с Маней всегда начинались с него, с этих ступенек. Я и на этот раз просвищу условленную мелодию. Если она здесь — отзовется.

— Фью-лю-лю-лю-лю...

Легкий домашний гул перерезает пронзительный крик. С грохотом падает стул, стукается о стену резко распахнутая дверь. Быстрые шаги по лестнице — и ко мне кидается Маня с распущенными волосами. За ней бежит ее брат Хеся. Из окна свешиваются взволнованная бабушка с младенцем на руках и Леля, мой брат.

Я дома! Что будет — то будет. Мы снова вместе...

Семья Гинкасов. Фото из семейного архива

Лионгинас Балюкявичюс

Дневник партизана Дзукаса. 23 июня 1948 г. – 6 июня 1949 г.

Фрагменты книги

Перевод Александры Васильковой

1948

<...>

24 июня

Мерзкий дождь, который не перестает уже второй день, испортил мне все настроение. Наш бункер устроен в старом гравийном карьере, потолок прикрыт тонким слоем земли. Теперь, когда начинается дождь, вода сквозь этот потолок, как сквозь сито, льется нам на головы, на “кровати”, на бумаги. Постели на втором “этаже” мы заставили всеми принесенными хозяевами тарелками, кружками, мисками. Около часа ночи я перетащил подушки и одеяла на первый “этаж”.

Однако еще “прекраснее” в бункере стало около двух часов ночи, когда ввалились мокрые Ругис, Шарунас и Бевар-

© Lionginas Baliukevičius
© Александра Василькова. Перевод, 2015
Фото из архива Музея жертв геноцида (Вильнюс).

дис[1]. Жайбас[2] не пришел. Его пока нигде не могут найти. Кое-как дождались утра. Я не спал: уступил место пришедшим. Сегодня в бункере, как в хлеву. Везде кучи сырых бумаг, вода все еще течет. Вдобавок ко всему мы начали печатать газетку[3]. Так что в бункере размером 2x5 шесть мужиков, едва можно высидеть — душно и сыро!

С самого утра выбираюсь наружу, не могу выдержать — в бункере нечем дышать. Посматриваю в просветах между дождями на небо и мысленно прошу Бога, чтобы хоть лить перестало. Но куда там — все небо затянуто плотным слоем серых туч, и, когда прекращается ливень, сеется мелкий дождик.

Сегодня Ванагас[4] поставил печати четверым партизанам, а я своими подписями "продлил" и "зарегистрировал" паспорта. Вот были бы у нас хорошие средства, как бы мы людям помогали! Сейчас у нас есть несколько вырезанных из дерева печатей покойного Арминаса[5], и с ними мы делаем людям паспорта. Работаем по старинке, как во времена Витаутаса.

30 июня

Пару дней назад приезжал Микас[6], и мы приводили его в свой бункер. Надеемся, что не выдаст. Ну, в конце концов, надо же кому-то доверять!

Кто знает, где судьба расставит нам капкан.

Мне показалось, Микаса наш бункер немного разочаровал. После дождя он выглядел совсем ужасно, бумага везде отстала от потолка. Кроме того, в бункере было темновато, потому что Генис[7], как пришел, разбил стекло лампы. Но мы его не ругали, потому что он принес большую корзину ягод, пирожков и сала. С едой у нас было совсем плохо, а сегодня угостились на славу.

1. Ругис (Рожь) — Йонас Якубавичюс, р. в 1918 г. в Алитусском уезде, погиб в сентябре 1948 г. в деревне Ланкининкай Меркинской волости Варенского уезда. Шарунас — Феликсас Даугирдас, р. в 1910 г. в Алитусском уезде, погиб 20.06.1949 г. в деревне Утека Меркинской волости Варенского уезда. Бевардис (Безымянный) — Пранас Иванаускас, р. в 1925 г. в Алитусском уезде, погиб 12.03.1949 г. в деревне Эжерайчяй. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Жайбас (Молния) — Вацловас Воверис, р. в 1922 г. в Тракайском уезде, погиб 07.03.1949 г. в Калеснинкском лесу у деревни Жемайтелю Даугайской волости Алитусского уезда.
3. "Колокол свободы" - газета партизан Дайнавского округа.
4. Ванагас (Ястреб) — Адолфас Раманаускас, р. в 1918 г. в США, Нью-Бритене, арестован 12.10.1956 г. в Каунасе, расстрелян 29.11.1957 г. в Вильнюсе.
5. Арминас — Бронис Бальчюс, р. в 1926 г. в Ладзийском уезде, погиб 22.02.1948 г. в деревне Капинишкяй Марцинкойской волости Варенского уезда.
6. Микас, Аудрунас, Вайшвилкас — Микас Бабраускас, р. в 1924 г. в Алитусе, погиб 17.05.1950 г. в Перлойской волости Варенского уезда.
7. Генис (Дятел) — Пятрас Вайткус, р. в 1910 г. в Варенском уезде, арестован 17.05.1952 г., расстрелян в 1953 г.

Микас у нас не остался. Приедет через несколько недель. Договорились с ним насчет одного "писателишки", который, по его словам, может писать передовицы, потому что когда-то состоял в Союзе молодых писателей, а теперь "замаскировался" в провинции под учителя. Теперь все такие.

Кроме того, Микас украдет из санатория ротатор и пишущую машинку, но перед тем мы должны будем прислать ему пару пистолетов "для более надежного осуществления планов".

Перед тем как прибыть к нам, он получит от нас чемодан с 25–30 кг заряда взрывчатки. Попытается взорвать ставку НКВД. Неплохо было бы, если бы все удалось. <...>

И газетку печатать закончили. Жаль, не смогли вставить последние новости от Коминформа с проклятием маршалу Тито. В такие дни и радио приятно слушать про то, как эти черти начали между собой драться. Не верится, что Тито выстоит против Москвы. Позавчера австрийский обозреватель выступал на тему "Я не верю, что будет война". Свои выводы он основывает на том, что Россия, по слухам, войны боится и потому старается особо не высовываться. Кроме того, русские так далеко зашли в области бактериологических исследований, что и американцы сильно заволновались. То есть и одна сторона боится, и другая. Нечего и говорить, что должны чувствовать литовцы, слыша подобные речи. Меня такие вещи как-то оставляют совершенно равнодушным. Я уверен, что должен начаться конфликт. Конечно, про эти годы я не думаю. Знали бы партизаны, обозвали бы меня еретиком. Они все, как и другие люди, считают, что война начнется со дня на день. <...>

12 июля

Наша жизнь так богата приключениями, что я уже не успеваю все записать в дневник. Для нас теперь начались счастливые дни. Правда, и тени кое-какие есть, но хорошие новости их прогоняют.

Первая – я дождался брата... За то время, что я его не видел, К.[1] сильно изменился... Он уже не тот, каким был 4–5 лет назад. Теперь это совсем взрослый, зрелый мужчина. Я поначалу волновался, он, как мне показалось, тоже. Но так было только поначалу.

Он нас совсем по-другому себе представлял. Думал, мы "распущенные" – пьем, по девкам ходим, ну и стреляем беспорядочно, однако обнаружил жизнь совершенно монаше-

1. Костас, Райнис,Тилюс – Костас Балюкявичюс, р. в 1926 г. в Алитусе, погиб 16.02.1951 г. в деревне Яуноняй Пренайского района.

скую. Мы и правда в этих черных, как вороны, комбинезонах Жайбаса, похожи на монахов.

Я старался дать К. верное представление о нашем партизанском движении. Показал разные штуки, даже полученный из-за границы материал, фотоснимки и т. д. Все это его необыкновенно заинтересовало, он даже сам стал проситься в отряд. Я, правду сказать, этого не хочу. Если я погибну, так пусть хоть он останется матери в утешение, будет ей подмогой. Я решительно запретил ему и думать об этом. Конечно, если монголы начнут цепляться, тогда другое дело.

Пробыл он у нас почти два дня. Я наблюдал за ним и понял, что все-таки наша работа на него повлияла. К. еще был у нас, когда В. вечером привел Микаса, который не мог дождаться пистолетов и чемодана и потому сам приехал на велосипеде. Договорились, что человек все это ему привезет в условленное место на шоссе. Договорились и об условных знаках. Я дал Микасу несколько сотен, чтобы купил копирку, и он сразу уехал.

К. ушел назавтра около 12 ч. Обещал приехать через месяц. Я попросил его написать что-нибудь из жизни современных студентов. <...>

(?) августа

Вот нас и выселили опять из бункера. До этого нас нашли живущие по соседству крестьяне, один из них, как говорится по-советски, "беднейший крестьянин". Когда он набрел на наш бункер, встревожила нас, понятно, не его бедность, а то, что все эти три года он совсем не платил налогов и никто его не заставлял. Разве может кто-нибудь при большевистском порядке не платить налогов и чтобы его ни разу не оштрафовали? Наш "хозяин" уверяет, что он, наверное, из жидков будет, хотя на словах большой патриот, страстный литовец. <...>

Снаружи льет дождь. Ночь темная. Нас 13 мужиков. Жалко бросать такой хороший бункер. Мы втянулись в работу, и был заметен немалый прогресс. Теперь работа опять прервется примерно на неделю, а то и больше. Перебираемся на тот берег озера к Генису. Идти недалеко, но я чувствую себя совсем измученным. Сидение в бункере высасывает здоровье, как тюрьма.

День пересидели в риге. Вместе с нами люди Гениса. Сюда пришел и Карвялис[1] со своими людьми из группы Юозапа-

1. Карвялис (Голубь) — Йонас Радзюкинас, р. в 1927 г. в Алитусском уезде, погиб в ноябре 1949 г. в деревне Панемуне Сейрийской волости.

вичюса. Днем "устроили митинг". Ванагас привел к присяге новичков. Мы с Римвидасом[1] говорили речи. Я сделал политический обзор. <...>

Уже нашли место для бункера. Чуть слишком открытое. Хорошо бы не увидели, как мы копаем.

Идем на встречу со Студентом[2]. Этот паренек слишком долго жил без всякого контроля. С ним надо кончать.

Вчерашний день и сегодняшний напоминают мне первые, самые мягкие осенние дни. Небо немного пасмурное, и воздух такой прохладный, приятный. Особенно красиво под конец дня. Кажется, будто это последнее прощание с летом. В такие дни что-то влияет на мое настроение, нагоняет на меня легкую меланхолию. Опять приходят воспоминания, и жаль делается прошедших прекрасных дней. Хотелось бы учиться, чтобы еще чего-то достичь. Ах, эти прекрасные, спокойные и вместе с тем такой печалью дышащие дни! А может быть, они только для меня так печальны!.. Я пытаюсь сравнить их с днями прошедшей жизни, ищу в прошлом похожие. Вспоминаю пейзажи, которые открываются в Визгирдском лесу с высокой горы. Оттуда видны расстилающиеся вокруг леса, между которыми вьется Неман. Красивые окрестности Алитуса, Каунас в праздничный вечер, горы Граца, шахты Донбасса, украинские степи и угрюмая природа — все это сегодня кажется таким прекрасным и таким далеким, недостижимым... Даже эти проклятые украинские шахты сегодня словно бы не такой мрачной пеленой укрыты. Кажется, и сейчас слышу те песни, что затягивали низкими голосами украинки. По-своему красивые, грустные и тяжелые песни, как и вся жизнь людей, что живут в тех краях. Много мне в эти дни приходит в голову картин минувшего, все они прекрасны и так дороги мне. И не заметишь, как сердце невольно сжимается: проходит время, проходит молодость, проходит любовь — все проходит... Перед нами неизвестность, страшная неизвестность. Англосаксонские дипломаты в Москве решают судьбу миллионов. Вряд ли они про нас (я имею в виду не только партизан и Литву, но и всю Восточную Европу) помнят. Они, наверное, сферы не поделили, а кого можем заботить мы? Важно, чтобы не отощал британский имперский лев, чтобы доллар оставался твердым... Не хочу я такой мерзкой прозы — она не сочетается с этими прекрасными днями.

1. Римвидас — Юргис Крикщюнас, р. в 1919 г. в России, в Нижнем Новгороде, погиб 15.12.1949 г. в Польше, в Шлинакемисе.
2. Студент — Альфонсас Буцявичюс, р. в 1920 г. в Алитусском уезде, 11.04.1949 г. расстрелян по решению партизанского военно-полевого суда.

Жайбаса, видно, тоже похожие настроения одолевают. Вспоминаем, что мы с ним уже взрослые мужчины: мне 23 года, ему — 26. Незаметно стали зрелыми. Стали слишком рано — с ружьями, с опасностями вокруг. Неужели мы уже сложившиеся люди? Кажется, так недавно были детьми, гимназистами. Как время бежит! Четыре года прошло с того дня, когда я покинул Литву. Потом все смешалось. Солдатский хлеб, дороги, приключения, лагеря — словом, месиво жизни. И снова в Литве... Но это уже не та Литва, люди словно бы уже не те, знакомых почти нет, а друзья — все они исчезли. Придется жить воспоминаниями, хоть это приятно. <...>

20 августа

<...> Чем дольше я сижу взаперти в бункере, тем больше ощущаю последствия заточения. Хочется хоть немного побыть на свободе, то есть побродить по деревням. Я теперь представляю себе, какой тяжкой должна быть монашеская жизнь и как тяжело смолоду себя запереть. У меня от природы страстный характер. Конечно, я этого никому не показываю. Меня, по большей части, считают "остывшими углями". Увы, те, кто так говорит, сильно заблуждаются. За обликом, от которого веет холодом, скрывается горячее сердце, которое редко смиряется...

...Главное, чтобы хоть сегодня баню истопили. Тогда вымоемся, поменяем белье, и это при нашей жизни уже будет счастьем.

...Наша общая цель — партизанское движение сохранить таким, чтобы о нем можно было отзываться только с уважением. Жаль, что все еще появляются пятна, темные пятна, которые нас пачкают. Кто хорошо знает Литву, ее характер, ее историю, ее страдания — тот поймет и нас. Нам так много иногда приходится терпеть. Человек не железный (да и железо быстро ржавеет, крошится), и потому иногда начинаешь сомневаться — не иссякнут ли наши силы? Что станет с Литвой, если она лишится лучшей своей части (я имею в виду не только партизан)? Что с ней станет, если некому будет ее поднять, исцелить, когда настанет решающий момент? Наверное, снова отыщутся мелкие людишки с их политической торговлей, с их политическими склоками, которые начнут нас воспитывать под лозунгом: "Тот недостоин свободы, кто ее не защищает". Грустная это сказка, а конца ей еще не видно. Хватит об этом. Сегодня привезут бумагу, и снова будем выпускать "Колокол свободы". Пусть бесится азиат, а мы еще повоюем!

"Остатков буржуазных националистов" еще надолго хватит! <...>

6 октября

<....> Работаю один с Веверсисом[1]. Выпустили несколько номеров "Колокола свободы". Зима уже близко. Надо искать место для бункера. Третья зима, а кажется, что от прошлого меня отделяют долгие века. Неужели я в то время жил? Господи, какая тяжкая доля. Не хочу ныть, плакаться, но хоть себе самому могу сказать, что партизанская доля трудна.

Сегодня я один. Веверсис с Генисом унесли отпечатанное. Радио в бункере передает какой-то французский мотивчик. Выбрался наружу. Кругом глубокая тишина. Луна снова растет, сегодня уже виден серп. Может ли кто себе представить, что среди этих полей есть бункер, где радио поет французскую песенку?..

Ругиса среди нас уже нет. Бедняжка погиб, и погиб из-за предательства. Заказал у одного человека ботинки для сестры на Урал. Тот его выдал, привел к себе русских. Кто теперь его заменит? Другого такого нет. Брешь останется.

Я в бункере один. Вчера всю ночь шел дождь, и я читал немецкий роман про мужчину и женщину, которые были артистами, однако свое счастье в конце концов нашли, когда стали работать на земле. Земля и дети — высшая цель, благодаря этому понимаешь, что жить стоит. Конечно, с нашей жизнью это ничего общего не имеет. Мы — совсем другие люди. У нас есть только одна цель, только одна идея — Свободная Литва, все остальное исчезло. Да-да, семья, дети... кто знает, суждено ли нам создать семьи? Я думаю о себе. Мне все чаще приходят на ум мысли об этом, но... Если бы не это "но", может, тогда и было бы возможно. В этом "но" таятся самые большие мои внутренние трудности.

Мной (чаще всего, когда я остаюсь один) овладевает апатия. Я знаю, надо что-то делать, но вместе с тем не могу рукой пошевелить. Тогда чаще всего сижу и думаю, думаю. Иногда даже не думаю — сижу, а обрывки мыслей носятся сами по себе.

Так было и вчера. Погода стояла мерзкая. Через вход в бункер проникали капли дождя. Было слышно, как ветер раскачивает деревья. Если б хоть радио работало, но как нарочно не работает. Вдруг сломалось.

Сегодня, наверное, никто не придет. Мне часто слышится, будто кто-то идет, а это всего лишь лягушки под окном шлепают. Один раз так сильно кто-то наверху зашумел, что я даже за пистолет схватился. Скорее всего, опять лягушки.

1. Веверсис (Жаворонок) — Юлюс Карпис, р. в 1927 г. в Алитусском уезде, погиб 26.11.1949 г. в лесу Варчёс Аловеской волости.

Этой ночью совсем развиднелось. Полнолуние. Рыжая луна уже довольно высоко поднялась. Весь день пролежал. Не могу работать. Все думаю о будущем. <...>

10 ноября

Вернулся Ванагас из отряда Шарунаса. Благодаря Карюнасу[1] картина там совершенно изменилась. Уже нет "традиций" того застарелого пьянства. Например, вся вотчина, которой руководит Кальнюс[2], совсем не пьет. Долгая борьба затихла, самые отчаянные сорвиголовы успокоились. Парни заметили, что пьянство ведет к гибели... Такому прогрессу, конечно, следует радоваться. Наша сила таится не в оружии, а в наших душах, наших сердцах.

Ванагас снова уехал. На этот раз, наверное, даже в Жемайтию. Останусь "в лавке" один. Может быть, Карюнас придет помогать...

...Кудрявый поэт (Капсас[3]) не решается остаться у нас. Он все думает и думает, но приходит к одному и тому же — у нас ни в коем случае не оставаться. Каждому своя шкура дорога. Редкий из наших интеллектуалов способен решиться умереть за идею свободы родины. Омещанились они как-то, измельчали. Они скорее согласятся сейчас родину оплевать, а потом в этом покаяться, лишь бы только теперь не погибнуть.

Сойдемся все на бой последний
От Муши, Нерис и Левуо,
Пока в артериях и венах
Прапрадедов струится кровь[4].

Это слова Капсаса, но сейчас он не отваживается подтвердить их на деле. Я понимаю, что не могут все уйти в лес, но нам так нужны силы интеллигентов. Нам так необходим свежий приток, который пополнил бы наши ряды. Что вышло бы, если бы все стали отказываться. Не напрасно ведь сказано:

Где теперь певцы, отчизна,
Что тебя воспели...

1. Карюнас (Боец) — Бенедиктас Лабенскас, р. в 1918 г. в Ладзийском уезде, погиб 07.03.1949 г. в Калеснинкском лесу у деревни Жемайтелю Даугайской волости Алитусского уезда.
2. Кальнюс (Горец) — Юргис Гилис, р. в 1920 г. в Ладзийском уезде, погиб 20.09.1949 г. в деревне Клепочяй Ладзийской волости Ладзийского уезда.
3. Капсас (Капс, как и Дзукас, — от названия народности) — Костас Кубилинскас (1923—1962) — советский поэт, агент КГБ Ворон.
4. Перевод Т. Чепайтиса.

Так вот, где же те, кто раньше прививал нам любовь к родине, кто воспитывал в нас смелость, кто призывал с радостью умереть за родину? Неужели это было всего лишь громыханием пустой бочки? Наш поэт оправдывается тем, что хочет сохранить свое творчество, свою семью. Но ведь есть высшие идеалы! Конечно, может быть и так, что мы неспособны понять его поэтические "порывы". Однако известно, что деревня всегда сражалась за родину. Она не спрашивала, когда ей за это заплатят. Когда родине что-то угрожало, деревня с ее чистым, простым и твердым литовским сердцем шла сражаться. Она знала, что врага надо бить, ну и била его: добровольцы в лаптях и сегодняшние партизаны.

Я часто думаю — кто же ты такая, моя Родина? Почему твои дети такие странные, такие по-своему упрямые? Откуда берется эта великая сила сопротивления?

Чувствую, что все больше и больше люблю свой край. Если бы мне сегодня кто-нибудь предложил свободу в Америке, я бы не уехал. Лучше погибнуть здесь в честном бою, чем сложа руки чего-то откуда-то ждать. В конце концов, наша кровь прольется не напрасно. Мы получим право прямо смотреть всем в глаза, потому что мы свою родину не бросили. Ну и кто нас победит, если мы смерти не боимся, если мы и смерть победили?

В бункере все спят. Один только я бодрствую со своими нескончаемыми мечтами. Мысли летают словно птицы, и в грудь вливаются жаркие волны...

12 ноября

<...> Оба поэтишки (Капсас и его друг) вчера читали свои творения. Тяжелое, черное, как земля, настроение сочится из каждой строчки их стихов. Однако все вертится главным образом вокруг их личных переживаний, горестей. Ни одного слова о том, что пробуждает в молодежи и во всем народе решимость, ни одного слова о надежде на лучшую жизнь, ни одного слова о героизме деревни! От каждой строчки веет тяжким мещанским страхом, безнадежностью, отчаянием. Разве можно таким творчеством расшевелить, пробудить народ, зажечь огонь любви? Что же будет, если все заразятся таким пессимизмом? Само собой, наш народ в бесконечно трудном положении, но это не означает, что мы должны от безнадежности опустить руки. Такие пораженческие настроения только послужат большевикам. Люди некоторое время горюют, а потом понемногу смиряются. Велик тот, кто способен в горе песню петь. Ведь сто раз правда то, что Майронис, Кудирка и другие пробудили наш народ от вечного сна. <...>

Сегодня собирал буквы для нашей типографии. Увы, у нас есть только половина. Этого и следовало ждать, разве что НКВД пришлет нам типографию. Ищи дураков. Будем и дальше выпускать свою газетку на ротаторе. Капсас доставил нам новый ротатор.

Уже довольно давно ничего не знаю про Костаса. Как там у него, бедняжки, дела? Денег нет, еды тоже. Главное, маме не может помочь. Ах, дорогая ты моя мама, увижу ли тебя когда? С отцом так внезапно расстался, а теперь тебя на Урал выслали. Отец погиб, хоть бы ты, моя милая мама, у меня осталась. Никогда не забуду 10 июля 1944 года, когда я впервые на долгое время был разлучен с домом и родным краем. Тогда была такая звездная ночь, какая может быть только летом. Но какая она была грустная, Господи! В ту ночь родители ушли из дома, потому что вести о приближавшихся большевиках делались все страшнее и страшнее. Я остался один в совершенно пустом доме. Всю ночь пролежал во дворе на лавке, не мог уснуть. Тогда я еще и не предполагал, что меня ждет. Воздух дрожал от гула самолетов. Где-то далеко видны были огоньки ракет: это бомбили наши города. У меня, да и не только у меня, у всех на душе было печально и уныло. Через мои родные места прокатилась новая волна войны.

На следующий день я встретился с родителями. Простился. Я уже обрядился в немецкий мундир, уезжал в один из наших отрядов "обороны родины", которые организовывали в Жемайтии. Отец плакал, так сильно плакал, я никогда не видел, чтобы он так плакал. Плакал и я, но не так сильно... Потом мы расстались. Несколько недель спустя он погиб — осколок бомбы попал ему в висок, и он умер так тихо, что рядом сидевшая мать не сразу это заметила. А я? Я шатался по Литве. Из отрядов "обороны родины" ничего не вышло. Мы все надеялись, что родину можно защищать и в мерзкой немецкой форме. Но немцы мало чем отличались от коммунистов. Они обманули нас и использовали. <...>

В бункере и снаружи совсем тихо. Все спят, а я, как обычно, со своими страданиями и мыслями один бодрствую. Какой-то комментатор холодно и разумно вещает из Лондона о судьбе рурской промышленности. Ах, эти английские политики! Если бы они меньше говорили, может, сегодня все было бы по-другому...

Ужасный кашель мучает меня уже четвертый день. Надо идти ложиться. <...>

23 декабря

<...> Завтра Сочельник... Пятый сочельник, который я провожу Бог знает как.

Сочельник 1944 года я вообще не праздновал. Сторожил аэродром в Граце. Небо было звездное, и, глядя на него, я думал о далеко оставшейся Литве и о домашних.

В 1945 году в Сочельник я грузил уголь в Донбассе. В 1946-м за день до Сочельника выдали наш бункер. Мы с Жайбасом несколькими часами раньше перебрались в соседний. Днем уже горели избушки. Мы вылезли из бункера и, увидев дым, я сначала подумал, что он идет от хозяйской курной избы. Оказалось, дымится сожженная рига. Тогда погибли Никштайтис, Ракτас, Лорд и Витянис[1]. С тех пор прошло ровно два года. Мы с Жайбасом тогда шли всю ночь. И как только пробрались мимо русских? Спали в старом бункере. На следующий день вымылись и кутью ели у О. (теперь она под арестом, сидит в тюрьме).

Сочельник 1947 года я провел в Шилае.

Теперь 1948 год. На этот раз решили стол накрыть в нашем бункере. Капсас обещал приехать. Сегодня должен подтвердить. <...>

1949 год

Первое января
Не спрашивай, по ком звонит колокол – он звонит по тебе...

Новый год. 1 час 40 минут. Ночь. В бункере только мы с Веверсисом. Веверсис спит, я слушаю радио. Недавно передавали новогодние поздравления. Кто знает, что принесет нам этот год?

В бункере холодно, не могу сосредоточиться и готовить новости для "Колокола свободы". Спать не хочу. Жду Гуобу и Вильниса[2]. Они хоть кофе сварят.

1. Никштайтис — Адомас Камандулис, р. в 1915 г. в Алитусском уезде, погиб 23.12.1946 г. в деревне Микалавас Даугайской волости. Райнис — Костас Ракτас — Альфонсас Микайлёнис, р. в Алитусском уезде, погиб 23.12.1946 г. в деревне Микалавас Даугайской волости. Лорд — Ричардас Гольштейнас, р. в Алитусском уезде, погиб 23.12.1946 г. в деревне Микалавас Даугайской волости. Витянис — Пятрас Плитникас, р. в 1922 г. в Алитусском уезде, погиб 23.12.1946 г. в деревне Микалавас Даугайской волости.
2. Гуоба (Вяз) — Вацловас Петраускас, р. в 1926 г. в Алитусском уезде, погиб 22.06.1950 г. в деревне Буда Даугайской волости. Вильнис (Волна) — Альгирдас Скинкис.

Я все тревожусь, что нами слишком мало сделано. Главное, краски нет. Могли бы хоть пропаганду вести. <...>

14 января

Несколько дней спустя появился и Капсас. Оказывается, он потерял листок с зашифрованной фамилией и датой встречи и теперь примчался один...

Очень соскучился по Ванагасу. Я с ним лучше сработался, чем с остальными, и мы друг друга хорошо знаем. С Карюнасом пока ни за какую работу не брались. Ну хоть сегодня начнем разбираться, что там с награждениями.

Этот наш уголок леса — настоящий, как говорят русские, "бандитский притон". Уже несколько дней в двух бункерах бывает по 12—14 человек. И никто не догадывается, что здесь, под землей, так много живых существ. Странно иногда, как подумаешь: вот люди наверху ездят, дрова рубят, и никто не догадывается.

Вокруг нашего бункера такая суета. Недавно целых три дня деревенские над нашим потолком рубили деревья. Когда с колодами ехали через вход, казалось, могут к нам провалиться. <....>

15 января

Вчера написал одну матрицу. Надо еще побольше приглашений отпечатать. Карюнас с Веверсисом выписывают свидетельства. Капсас пишет дальше свою, как он ее называет, "друлиаду"[1]. Люди хоть посмеются, когда напечатаем.

Изредка мы принимаемся спорить с поэтами. Капсас, сам себя оправдывая, защищает писателей. По его мнению, надо стараться "сохраниться", а сохранившись, сможешь принести народу благо, то есть свое творчество. Конечно, доля истины в этом есть. Я думаю, они все умеют приспосабливаться, но умеют (вместе с тем) и действовать против оккупанта. Что хорошего, если, спасая свою шкуру, помогаешь только монголам? Зачем нужен писатель, который может писать только на свободе? Зачем нужен поэт, который только на свободе может петь о страданиях народа и вспоминать о самопожертвовании и героизме? Я всегда говорю и буду говорить, что только тот мужчина, кто сейчас пробуждает народ, кто сейчас, не обращая внимания на то, что его жизнь в опасности, поднимает народ своим могучим словом. Кем считать

1. Предположительно слово "drulijad " образовано от "Drulis": был партизан с таким прозвищем, и даже не один.

писателя, у которого в годы оккупации поджилки тряслись, писателя, который угождал оккупантам, а в годы независимости снова начнет воспевать битвы, павших за родину и т. д.? Только “оборотень” может так поступать. <...>

Я особенно в споры не вмешиваюсь, больше слушаю, потому что, заговорив на эту тему, начинаю горячиться. Вся эта борьба, все эти горестные жертвы вросли в мою душу, и тот, кто пытается эту борьбу опорочить или хоть сколько-то уменьшить ее значение, вызывает злость и доводит до бешенства. <...>

16 февраля

Сегодня День независимости — 16 февраля. Независимость и суверенность народа “обеспечены” в Воркуте или в хорошо, очень хорошо замаскированном бункере. Где Атлантическая хартия? Радиокомментаторы серьезно, наставительно и высокомерно объясняют, что государства Запада всё видят, им известно, что́ здесь делается, и они, понятно, принесут избавление, но сейчас... сейчас надо еще подождать, потому что время еще не пришло. А что до литовских дел, так их тоже пока касаться нельзя; позже, может, после войны...

Меня обсыпали проклятые чирьи, и шесть дней я даже пошевелиться не мог — так их было много. Теперь опять сижу в бункере за столом, хотя еще не могу как следует сгибать ноги. Однако не меньшее проклятие — оттепели, постоянно в эту зиму возвращающиеся. Вот и несколько дней назад оттепель началась, и это нас всех доводит до бешенства и вгоняет в “пессимизм”, потому что просочившаяся вода все чаще и назойливее капает нам на головы.

Мы с Карюнасом спим на “верхнем этаже”, так что вода льется сначала на нас двоих. На полу уже лужа, но это мелочи. Что делать, когда лужи соберутся у нас на “кроватях”? Сегодня все обсуждали, что можно бы сделать, чтобы не текло, однако ничего не придумали. Два раза углубляли бункер, и все равно ничего не помогает.

Бумагу от Капсаса еще не получили. Только письмо прислал. Черт его знает, может, он опять домой отправился, вместо того чтобы постараться побыстрее доставить нам бумагу. <...>

Затянувшееся безделье просто бесит. Вильнис принес книги, и теперь все в них углубились. Я недавно перечитал “Боги жаждут” и “Остров пингвинов” Анатоля Франса. Прекрасный писатель. Его вымышленные персонажи из “Богов” напоминают мне теперешних партизан. Хотя мне совершенно не нравится фанатизм революционеров. Только совершенно слепой может дойти до такого состояния, чтобы гильотина сделалась “милой”. <...>

4 марта

...Сегодня неожиданно и Капсас притащился через сугробы. Оказывается, у него украли деньги и документы и потому он не мог добыть бумагу. Получив мое письмо, взял взаймы денег и тут же двинулся сюда. Он привез с собой "Маяк" ("Švyturys") — советский журнал, который только что начали издавать. Особенно врезается в память новелла Довидайтиса. В ней описывается, как бежавший из страны литовец, обедневший и больной, возвращается на родину из канадских лесов. Фабула примерно такая же, как у Венуолиса[1] в "Вернулся". Я не представляю себе, как можно наврать больше и омерзительнее. Только представить себе: обедневший, оголодавший и больной беженец внезапно попадает в "райское" королевство! А ему там, на чужбине, ксендзы врали, какой террор свирепствует в Литве. Здесь-то "счастье"! Лампочка Ильича "сияет" в деревнях... Сталин лично "заботится" о благе литовцев... Может ли быть большее вранье?!

Вильнис и Капсас утверждают, что Довидайтис — неплохой человек. Отец Довидайтиса — профессор и сейчас сидит в лагере.

Отец умирает в лагере, а сын грезит большевистским раем! Настоящее ничтожество этот сын. Когда Литва опять станет независимой, он, наверное, будет во весь голос орать, что большевики заставили его так писать. Из себя выхожу от злости. Попался бы мне в руки этот мерзавец, я бы ему спел насчет "рая"! Разве можно это назвать приспособленчеством? Это продажа собственной души, оплевывание себя. Просто не понимаю, как человек может стать таким слизняком, таким червяком.

Этот "Маяк", кажется, будут распространять и среди живущих за границей литовцев, потому что в обоих номерах пишут о жизни литовских эмигрантов. Какое дьявольское коварство! Понятно, не один беженец-литовец еще подумает, что в Литве началась "другая" жизнь. Хорошо, что американцы закрыли советскую репатриационную миссию в Германии[2]. Эти гнезда лжи давно надо было разрушить.

Нас всех удивляет развитие политических событий последних дней. Коммунистические партии всех стран, как заведенные патефоны, принялись повторять заявление Тореза, что

1. Антанас Венуолис (Антанас Жукаускас; 1882–1957) — писатель, драматург, фармацевт. Лауреат правительственных наград довоенной и советской Литвы.
2. Советская репатриационная миссия была сформирована 3 ноября 1944 г.; речь шла о возвращении сограждан, оказавшихся под контролем союзников. Работала до середины 1950-х.

против СССР коммунисты воевать не станут. И правда, удивительная вещь. <...>

Вечером 6 марта я, Веверсис и Гуоба двинулись к Нямунасу[1]: дело в том, что Капсас, направляясь к нам, бумагу с собой не взял, а оставил ее в Алитусе у Аудрунаса. Поскольку "Красный рай" Капсаса уже давно написан и все матрицы готовы, надо было немедленно, как только получим бумагу, его выпустить. 9 марта решили начать печатать. <...>

13 марта

В последние дни я был в особенно хорошем настроении, и не без причины: работа шла хорошо, хотя и не так быстро, как я хотел. У нас было уже достаточно бумаги и матриц. Мы с Жайбасом совершили несколько походов, и казалось, что дальше с бумагой перебоев не будет.

Наш штаб был богат и образованными людьми, и подручными материалами. А в будущем мы еще обещали себя показать. Обещали...

Вот в субботу, 5 марта, ночью, по моему предложению, решили как можно скорее выпустить бюллетень, специально предназначенный для интеллигенции. Он должен был стать нашим первым и открытым выступлением в области печатной пропаганды с нашими организационными целями, идеями и проч. Там должны были быть затронуты различные неполадки партизанской жизни, так часто вводящие в заблуждение наших людей, разные слухи и т. п. Все это должно было быть основательно разъяснено. Должно было быть объяснено, почему все еще появляются пятна, чернящие нашу организацию. Должны были быть затронуты и равнодушие, пассивность, приспособленчество кое-кого из наших интеллигентов и чрезмерный страх перед красным идолом. Да, там много чего должно было быть написано...

В разговоре участвовали Карюнас, Вильнис, Капсас и я. Все говорили с воодушевлением (во всяком случае, мне так казалось). Мы жаждали свой пыл передать и интеллигентам, надеялись своими словами их расшевелить, потому что разве может сегодня литовский интеллигент не горевать о судьбе своей родины? Нет, такого быть не может.

Конкретно решили: Карюнас напишет вступление и затронет идейную основу всей нашей борьбы, непонимание и

1. Нямунас (Неман) — Винцас Каланта, р. в 1924 г. в Варенском уезде, погиб 19.06.1949 г. у деревни Жюрай Варенской волости Варенского уезда.

т. п.; Капсас подготовит тему "Большевистская литература и наша интеллигенция"; Вильнис даст что-то из лирики; наконец, я — оценку международного положения.

После всех дискуссий я пошел спать, но проспал недолго. Встав, увидел, что Капсас свою статью уже почти дописал. Он дал мне ее прочитать и попросил показать, где в ней, по моему мнению, слабые места. Я несколько раз перечитал и сказал ему, что́ заметил.

Вечером 6 марта мы начали собираться в дорогу: я, Веверсис и Гуоба. Еще засветло пришел Крегжде[1]. Мы дали ему "свежеиспеченные" воззвания против колхозов.

Он привез Баурукаса[2] поесть. Мы поели и стали прощаться.

— Ну, с Богом, мужички! Всего вам наилучшего, — прощаясь, пожелал я остающимся.

— Удачи... счастливо... до свиданья... — отвечали мне.

— Только смотрите осторожнее, потому что опасно, если здесь где-нибудь русские есть, — вроде бы и озабоченно проговорил Капсас, узнавший, что на опушке леса засели русские.

Я пообещал привезти подарки: Капсасу — кусок колбасы, а остальным — конфет. Баурукасу в шутку сказал:

— Прощай, может, никогда уже и не увидимся.

Я и теперь помню эти свои слова. Конечно, тут нет ничего особенного. Мы часто друг другу так говорили в шутку. Однако не странная ли у нас судьба? Так легко: сказал, и случилось. И вообще — разве мы живем? Все происходит как во сне, в страшном сне...

<...> Около 11 утра (в понедельник) нас подняли. Сказали, приехал Аудрунас. Мы с Гуобой вылезли наверх. Там хорошо: солнце светит, воздух чистый и не холодный. От света даже глаза начали слезиться. Посмотрели мы друг на друга и удивились: лица бледные, как у покойников. Чему удивляться — каждый таким стал бы, несколько лет просидев в бункере.

Вот и Аудрунас. Нацепил поверх пальто дорожный плащ и выглядит настоящим "кулаком". Оказалось, Аудрунас прибыл прямиком из Б. Привез пишущую машинку.

За разговором Аудрунас замечает, что по шоссе едут грузовики с военными. Мы оба смотрим на шоссе. Метрах в 150 от нас по шоссе сплошной вереницей едут грузовики. В пер-

1. Крегжде (Ласточка) — Пятрас Савицкас, р. в 1924 г. в Алитусском уезде, погиб 26.11.1949 г. в лесу Варчёс Аловеской волости.
2. Баурукас — Пятрас Серпенскас, р. в Алитусском уезде, схвачен 07.03.1949 г.

вых сидят монголы в белых плащах. Я окликаю Гуобу. Машины все двигаются на расстоянии метров 50 одна от другой.

— Восемь, девять... двенадцать... — считаем мы. <...>

— Это к нам, — говорю Гуобе, показывая на едущие машины. Всего проехало около тридцати грузовиков, все битком набиты монголами. Знали бы они, что мы за ними наблюдаем!

Мне словно голос какой-то твердит, что эти русские обшарят наш лес. Решаю сегодня еще побыть здесь. Прощаюсь с Аудрунасом.

— Смотри держись! — говорит он мне.

— Буду держаться! — смеясь, отвечаю я.

Снова лезем в бункер. Веверсис с Гуобой сомневаются, что эти русские могут обыскать наш лес. Договариваемся вечером окончательно решить: ехать или нет. Зависит от того, получит ли наш связной бумагу.

Едем к связному. Оказывается, бумаги пока нет. Придется еще день подождать. Гуоба с Веверсисом идут за халатами. Я тем временем объясняю гражданам сложное международное положение, комментирую отставку Молотова и т. д. Говорю — как по книге. Успокаиваю, уверяю, что так быть не может, и граждане со мной соглашаются.

— Ну, конечно, так долго быть не может. Но все равно эти гады, англичане и американцы, слишком долго ждут.

Возвращаются Гуоба с Веверсисом.

— Кончено!.. У Жемайтеляй люди слышали взрывы и стрельбу. Рассказывают, что нашли наш бункер, — шепчет Гуоба. <...>

Возвращаемся в свой бункер, настроение похоронное. По пути заворачиваем к Нямунасу. Молчим, что уж теперь говорить! Уже и так довольно сказано. В бункер лезть желания никакого. Неизвестность насчет того, что случилось с нашими, страшно мучает, не можем усидеть на месте. Куда угодно, только бы ехать, на месте не сидеть, это пытка!

Берем Нямунаса проводником и идем к Студенту. У него надеемся найти Крегжде. Вполне возможно, что Крегжде, услышав стрельбу и взрывы, отправился к нему.

Светит луна. Все видно, как днем. Идти холодно. На нас всех только форма и маскхалаты...

Добираемся до знаменитых “студентов”. Живут и впрямь “по-студенчески”. Вход чернеет за несколько десятков метров. Его и днем не прикрывают. “Зачем маскировать, — говорят они, — если здесь люди хорошие?” Вот это “логика”! “А что будет, если вдруг лес станут обыскивать русские? Ведь такой бункер точно найдут”, — говорим мы. Однако “студенты” уверены, что русские зимой по лесам не шарят. “Чудесно” живут...

У Студента Крегжде не застаем и не узнаем ничего... Опять к Нямунасу. Ничего определенного никто не знает. Одни только слухи:

— Семь убитых, одного взяли живым.

— Пять убитых, трое сбежали.

— Восемь убитых.

— Один был с бородой.

— Нет, с бородой были двое, а два совсем обгоревшие и растерзанные, даже трупы опознать невозможно...

И так без конца. Как совместить одно с другим? Сердце словно какой-то червь точит и всю кровь отравляет. Погибли все. Предатели долго за нами следили, пока наконец выследили. Наверное, нас выдали частые передвижения. Перед глазами стоят смеющийся Жайбас и грустный, тревожный и больной Карюнас, едва успевший вступить в партизаны Вильнис, Капсас, Ванагас[1]... Бедный Ванагас.

Двигаемся дальше. Может, Ал. что-то знает? Однако и здесь: один человек скажет так, другой эдак, а третий еще как-то. Но все же одна вещь привлекла наше внимание. Люди шепотом говорят, что в понедельник около десяти утра видели, как по большаку у деревни Такнишкяй в сторону Алитуса бежали двое штатских. Оба в пиджаках и очень спешили.

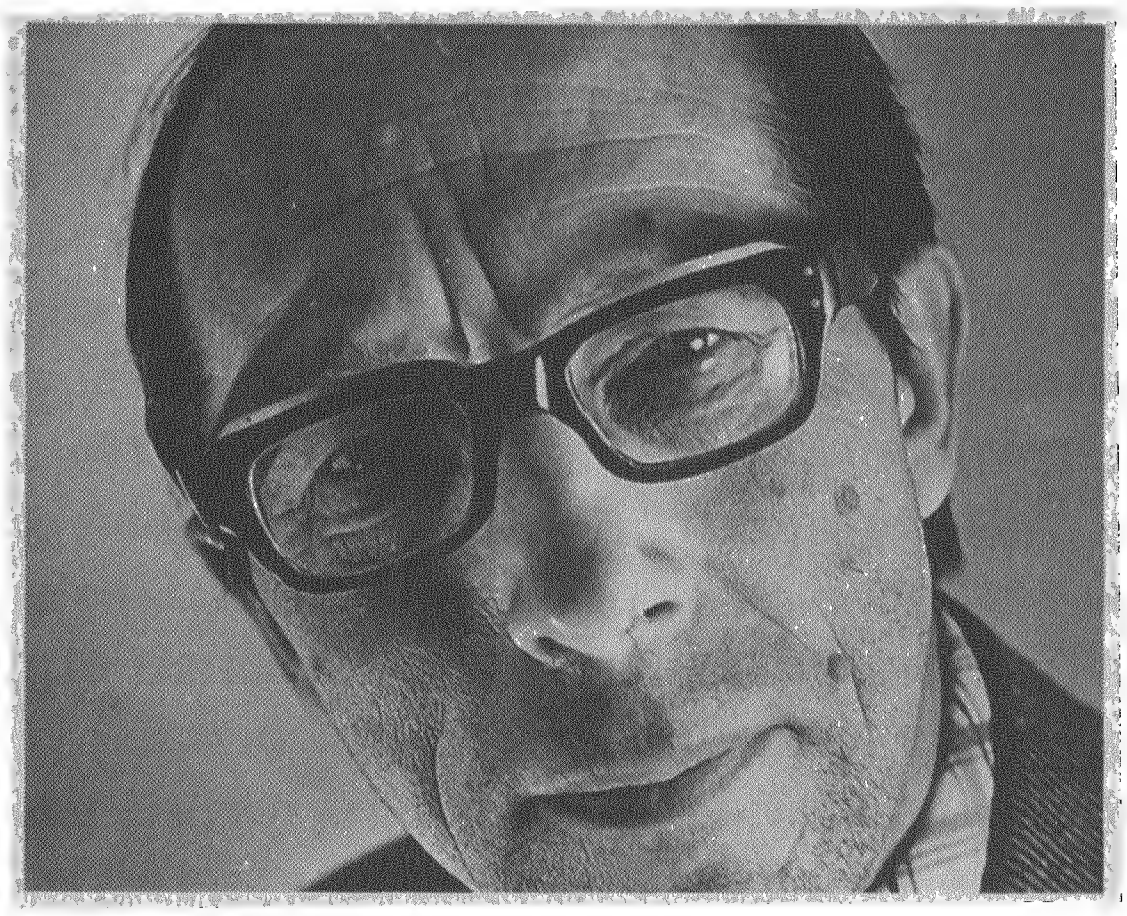
Я поначалу ничего не заподозрил, однако Веверсис тотчас замечает:

— А не могли Капсас с Вильнисом застрелить спящего Карюнаса и сбежать в Алитус?

Не хочу верить, однако что-то уж очень похоже на правду. Нет, не могли они выдать, да еще так подло — гадюки. Ведь они оба поэты, оба интеллигенты, оба печалились о судьбе нашего народа. Если они хотели уничтожить окружной штаб, так у них, особенно у Капсаса, бывали и более удобные случаи. Могли выдать Ванагаса и меня, хоть бы и теперь, пока мы не ушли. Я не литературный критик, однако то, что они привезли, было создано сердцем, не языком... Не верю. Такой подлости, такого страшного предательства еще не было в партизанской истории. В таком случае они бы далеко позади оставили Иуду. Ведь Капсас так искренне писал "Красный рай". Зачем было писать, если тогда же можно было предать? Я снова погрузился в мысли, сомнения, рассуждения. Кому же можно доверять, если и такие люди предают?

1. Ванагас (Ястреб) — Стасис Пиличаучкас, р. в 1920 г. в Алитусском уезде, погиб в 1950 г. в деревне Панемунинкай.

Витаутас Кубилюс



Дневники 1945–2004

Фрагменты

Перевод Анны Герасимовой

1965 XII 16

<...> Завершился съезд [Съезд писателей Литовской ССР. – *Ред.*]. Теперь пора обзавестись программой – ясной и последовательной. Победила плеяда молодых. Я ждал этого и хотел. Победила программа эстетической широты и свободы. И все же какая-то горчинка на сердце. Кто выигрывает, тот всегда и – проигрывает. В этой победе была какая-то жесткость, безжалостность, игнорирование других и гордыня. Особенно ощутимо это было в речи Марцинкявичюса[1], которую он направил против принципа уравниловки и еще: не надо, дескать, оглядываться назад.

Победили молодые. Старики отправлены на полку. Выброшены за борт литературы. Почти вычеркнуты. И никто из них не может этому противостоять. Они еле живы. Выбиты из рук политические аргументы. И партия от них отвернулась. Как в 1963 году она шла со стариками, так теперь идет с

© Vytautas Kubilius
© Анна Герасимова. Перевод, 2015
Фото Альгимантаса Жижюнаса.

1. Юстинас Марцинкявичюс (1930–2011) – поэт, драматург, партийный и общественный деятель. Лауреат государственных премий. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

этой плеядой. Думаю, в групповых распрях поставлена точка. Первый же, кто вякнет насчет консолидации, получит дубиной по башке. Но что происходит? Старики до сих пор были на страже всех священных принципов. Молодые шли в фарватере оппозиции. И у них был ореол, была поддержка всех недовольных. Теперь положение меняется по существу. Они сами должны встать на стражу священных принципов. И Балтакис уже говорил о субъективности поэзии, Слуцкис обещал изображать только положительного героя[1]. Получается, то, что до сих пор выполняли старики, должны будут теперь выполнять Меж.<елайтис>[2], Слуцкис, Балтакис. Может, не в таком масштабе, но должны. Значит, для прогресса литературе теперь необходимо иметь новое, оппозиционное к этой силе движение, сплачивать новый мир.

Завершилась борьба за эстетическую свободу. И теперь никаких панегириков им, никаких скидок. Теперь задача — оценивать и смотреть на них как можно серьезнее и требовательнее. Критика всегда стоит в оппозиции, она не соглашается и сомневается. Такая задача у нее и сейчас.

Какие тут вехи? В прозе — социальная проблематика. Это выведет и поднимет нашу литературу. У послевоенного поколения — ответственность за страну, за всю жизнь. Молодое поколение деморализовано — не верит в возможность что-либо изменить, лишено всеобъемлющих идеалов. Поэтому замыкается в психологизме. Это прогресс, но вместе с тем и побег от всего, что остро, опасно.

В поэзии — искренность. Отрублены корни рационализма. Больше человеческой естественности и хаоса внутреннего. Дасас [Донатас Саука[3]. — *Ред.*] говорит, что как поэзия, так и проза заняты поэтизацией быта. Нет ценностей, которые стояли бы по ту сторону быта. Необходимо их искать. Какие это ценности?

Чувство национальной мысли и сознательности. Оно так мелко в нашей литературе. Так говорит Ирка[4]. Может, и правда. Но в наши дни оно приобретает иной вид и оттенок. Это уже не будет народностью старого типа.

1. Альгимантас Балтакис (р. 1930) — поэт, литературовед, переводчик. Лауреат государственных премий; Миколас Слуцкис (1928–2013) — прозаик. Лауреат государственных премий.
2. Эдуардас Межелайтис (1919–1997) — поэт, публицист, партийный деятель. Лауреат государственных премий.
3. Донатас Саука (р. 1929) — литературовед, исследователь литовского фольклора, переводчик. Лауреат государственных премий.
4. Ирка — Ирена Косткявичюте (1927–2007) — литературовед, искусствовед, исследовательница творчества В. Миколайтиса-Путинаса.

Главная задача — оценивать серьезно, требовательно. Теперь критика празднует триумф, теперь ее будут склонять к служению новым князьям. Но этого не может быть. Теперь пришло время предъявить серьезнейший счет тем, кто замахнулся на роль хозяев литературы.

Все же писателю так трудно. Так мал коэффициент истины, помогающий ему. Так мало широты литератур<ной> жизни он может ощутить. Но того, что он делает, возможно, не так уж мало.

Но не должно быть никакого удовлетворения. Абсолютная требовательность ко всем.

Одно из важнейших следствий съезда — отвоеванное право писать, как хочется. Но, конечно, не свобода писать, что хочется. До этого еще очень далеко. Однако и это право бесконечно значительно. Это очень много. Теперь можно будет писать, как хочется. Решено и подписано.

Я хотел бы сказать им: товарищи дорогие, не спешите канонизироваться. Одной из причин трагедии послевоенного пис<ательского> поколения было то, что они были слишком рано канонизированы. И в 1955—1957 годах вы пришли на практически пустое поле. Вам легко было подняться. Вы с легкостью привлекли к себе внимание. Но давайте не спешить канонизироваться. Это опасно. Лучше уж болезненное недовольство собой, чем злобная защита своего достоинства. Надо, чтобы все повторяли: “И кроме беловымытой сорочки... мне ничего не надо”[1]. Но будут ли повторять? Я чувствую — они довольны собой. Они слушают похвалы всесоюз.<ной> критики и презирают нас, смеющих что-то ругать. Однако, только высказывая правду, критика может утвердить свой авторитет. <...>

1966 VII 26

Страшнее всего лгать самому себе. Так говорит Ионеско. А знаем ли мы, когда лжем себе? Кто мы такие? Вот где страшно: мы не хотим знать того, что не желаем познавать, ибо в этом познании не могут не возникнуть конфликты с окружающим. Так лучше уж жить, как попало, ничего не знать, погрязнуть в этих ежедн<евных> делишках, а смелее и глубже не заглядывать.

Мне так хочется изучать серьезные теоретические вещи, но по вечерам нет сил, а день съедает писанина. Проклятье, сколько времени уходит на писанину, а читать, размышлять,

1. В оригинале по-русски. Ошибка автора, у В. Маяковского: “свежевымытой сорочки” (“Во весь голос”).

жить некогда. И полное истощение. Сколько еще хотелось бы написать, но сил нет.

Читаю Сруогу[1] — сколько сделал, как мыслил! А ты — пигмей и занудный муравей. Ни ясных убеждений, ни линии. Все запущено, все беспорядочно, средненько. Вот самое страшное.

1966 VII 28

Общественная значимость для литературы — аксиома. Теперь, после стольких катаклизмов, было бы бессмысленно отрицать. И почему-то — жутко, что литература оставляет человека на растерзание всем несчастьям, всем гидрам века.

Но это аксиома. А посмотрим дальше. Как зажат, скован человек! Как он бессилен и бесправен. С одной стороны, культ общества... <...> С другой стороны, общество его стреножит, у него нет своей территории, даже маленькой, деваться некуда.

Поэтому рядом с общественной значимостью как общим фактором литерат<урного> процесса остается один из важнейш<их> критериев — критерий понимания, изображения человека, любви к человеку. Чем больше человек освобождается от пут, от общественного стандарта, от обязательного для всех образа мыслей, тем он богаче и самобытнее, тем лучше для литературы. Так что одним из важных критериев должно быть развитие отдельной личности, углубление человечности, изоляция и отмежевание от навязанных норм. Это своего рода противоречие: для общественного прогресса требуется как можно больше дисциплины, а для прогресса литературы как можно больше индивидуализации. И это очень важное обстоятельство. Для нашей современности характернее всего конфликт между системой и индивидуальностью. Попрание индивидуальности. Поэтому любое ее пробуждение и рост сознательности — показатель прогресса. Но, господи, это такой старый и затасканный лозунг, до такой степени этап прошлого, и только наши ненормальные условия возвращают его в круг эстетических ценностей, хотя, без сомнения, это вечный и непреходящий критерий литературы.

Если с этой точки зрения смотреть на нашу совр.<еменную> литературу, мы увидим большие усилия и значительное пробуждение. Человек вылезает из уравниловки, из стандарта. Мечется в его рамках, ненавидит их. Осознает себя. И му-

1. Балис Сруога (1896 — 1947) — поэт, прозаик, драматург, театровед, исследователь литовского фольклора. Во время войны был в концентрационном лагере Штутгоф, о котором написал роман “Лес богов”.

чается. Характернее всего тут проза Ланкаускаса[1]. Конфликт между обществом и личностью — вечный. У нас он был объявлен решенным. И он решен — в пользу государства. Литературу тоже подталкивают к тому, чтобы она решила его в пользу государства. Но по природе своей она может решать только в пользу отдельной личности.

Теперь подходим к третьему критерию. Это критерий судьбы и положения народа. <...> В Европе, где нет конфликта между жизнью народа и жизнью государства, это лишено такой остроты. А у нас имеет первостепенное значение. Народные чаяния, национальное самосознание и психика, усилия, брошенные на борьбу за выживание, становятся сейчас одной из важнейших вещей. Когда-то я был к этому равнодушен. Казалось, бессмысленно что-либо делать: не та эпоха. Однако каковы бы ни были условия, все же выстоять, сохранить себя — одна из важнейших задач. Как человек хочет выстоять, так и народ. А литературная жизнь возможна только через сознание и психику народа. <...> Надо сказать, что с точки зрения этого критерия наша литература чрезвычайно скудна и мелка. Народного самосознания касается лишь по верхам. И что там глубже, мы не знаем. Законы народной жизни выводятся из газетного материала.

У Корсакаса и других была абсолютная монополия на социальный критерий, оторванный от жизни и чаяний народа. Но это критерий односторонний. Особенно сейчас.

Итак, если литература поднимает народное бытие, сознание, касается пластов психики — это мера прогресса. Примитивная, притащившаяся из XIX века. Наконец, консервативная, заключающая традиции в оковы. Но таких условий, как своеобразие национал<ьных> типов, даже национальность психики, игнорировать нельзя.

Конечно, никакой перспективы нет. Этот вопрос не имеет никакого политического решения. Это трагедия атомного века и многих народов. <...>

1966 X 1

<...> Какая сложн.<ая> жизнь. На самом деле идешь прямо — натыкаешься на стену, а компромиссы убивают морально и творчески. И так и эдак плохо, и так и эдак трудно. Но мне кажется, что писатель, создавая произведение, не должен соглашаться ни на какие компромиссы. Только тогда будет пол-

1. Ромуальдас Ланкаускас (р. 1932) — прозаик, драматург, переводчик, художник.

ноценным его творчество. Хотя в литературной жизни нужна более разнообразная и гибкая тактика. Нужны и соглашатели, и храбрецы. Только благодаря конформистам могут существовать нонконформисты. Такова диалектика.

Межел.<айтис> написал книгу против критиков, полную злобы и маразма. <...> Вот тебе и финал "новатора". Мучился, боролся, а закончил ролью жандарма. Фактически таковым и остался — дитя сталинизма. Не смог это из себя выдавить. Как и большинство. В чем этот сталинизм? В попытках наводить порядок в литературе полит<ическими> методами. Этот — советский, а тот — несоветский. Мачерниса публиковать нельзя, Тисляву[1] тоже, потому что несоветские. Это чисто политическая оценка литературы. Она очень глубоко засела. И, главное, в поэтах, которых это, казалось бы, меньше всего должно волновать.

1967 II 25

Опять конфликт. Опять бессонная ночь и пустые монологи, обращенные к тишине. Их никто не услышит.

Посл.<еднее> заседание по "Весне поэзии"[2]. Вылетают письма Балтрушайтиса. Не подходят к юбилею. Балтакис через силу впихнул статью Йонинаса[3], где вся поэзия послевоенная отмежевывается от культа. То есть ничего общего и не имела. Я, конечно, высказался против. Так он теперь меня обвиняет, что я зажимаю все советское.

Зло берет. Это ведь стартовый выстрел для всей редакции. Тем самым понемногу сдаем одну позицию за другой — все, что с таким трудом завоевано. Возвращаться будет трудно, а то и невозможно. В юбилейный год позиции, скорее всего, останутся неизменными. <...>

Что за дурацкие речи, что в послевоенные годы не было в поэзии сталинизма, если он до сих пор еще сохранился. Ведь зажим иного мнения, публикация мелких стихов, восхваляющих власть, и отказ от тех, в которых выражено хоть какое-то недовольство или хотя бы грусть, снисхождение к лозунговой критике и зажим профессиональной — самые что ни на есть характерные черты сталинизма.

1. Витаутас Мачернис (1921–1944) — поэт. В 1970 г. автор настоящих дневников написал предисловие к первой книге стихов Мачерниса, выпущенной в советской Литве; Юозас Тислява (1902–1961) — поэт, переводчик, журналист, издатель. В 1932 г. эмигрировал в США, был активным деятелем литовской диаспоры.
2. Имеется в виду альманах "Весна поэзии" ("Poezijos pavasaris").
3. Антанас Йонинас (1923–1976) — поэт, публицист. Лауреат государственных премий.

И все это идет, все это становится атмосферой. И это делают люди, причем без всякой перспективы, без всякой стратегии, без всякой ответственности...

1967 VIII 12

Был в Ин-<ститу>те Вашкялис[1]. Как странно и даже страшно. Обычный человек. Читает те же книги. Интересуется тем же, восхищается Вайчюнайте[2]. А между нами высокая стена страха. Если бы говорили шутя, но нет — трещина, прошедшая через мир, прошла и тут. И снова тебе мерещатся русские на площади Ленина.

И я думаю: что я мог бы сказать? И я думаю: кто я такой и чего хочу? Снова возникает необходимость самоопределения.

1. Все начинается в Литве. Борьба за самосохранение идет только здесь. И поэтому ты должен ориентироваться на то, что делается здесь, а не там. С местом выбора все ясно. Если выживет наш род, то лишь благодаря культуре, строящейся и создаваемой. Поэтому все силы должны быть отданы на укрепление этой культуры. Да!

2. Довольно много оппозиции. Полит.<ических> стихов никто больше писать не хочет. Большинство парт.<ийных?> только критикуют. Энтузиазма и идеализма все меньше. Все эти перевороты обнажили <положение вещей>, открыли <людям> глаза. Но весь аппарат работает, как часы. Так что не надо иллюзий. Кроме того, ни у каких оппозиционных настроений нет никакой политической базы, никакой программы, никакой перспективы.

3. В России был Евтушенко. Был отряд энтузиастов. В Литве — не было. Зато здесь нет и погр.<омной> литерат.<уры>, как в Москве. Это кардинал.<ьное> отличие. Здесь не могли согласиться на энтузиазм в связи с национал<ьным> вопросом, и здесь оппозиция в литературе не может опираться на то, на что опираются те, — она была бы здесь гораздо категоричнее. И потому застряла.

4. Сейчас очень много расколотых людей. Они и такие, и иные. А где настоящее лицо, непонятно. Это самая печ.<альная> черта. Хуже всего молодым — они хотят быть цельными, гармоничными, бескомпромиссными, а это трудно.

5. Что нас жрет, это компромиссы. Без них невозможно существовать. И это компромиссы не просто отдельной личности, а всей культуры в целом, ибо кто-то должен обслужи-

1. Бронюс Вашкялис (р.1922) — театровед, литературный критик, бежал в США в 1944-м.
2. Юдита Вайчюнайте — см. в настоящем номере.

вать правящую власть. Только так, скопом, а не через абсолютное отрицание могут пробиться и более смелые ростки.

Но ничего этого сказать не удастся. И неважно — это просто мысли про себя, испуганного, подавленного, недовольного собой, легко отступающего человека.

Какие мы несмелые, трусливые! Как трудна наша эпоха. И какие жесткие пальцы сжимают нам горло. Какие бездны разевают на нас пасти. А мы мечемся и блуждаем.

Если даже знаешь, чего хочешь, то не осмелишься дерзнуть. Сам убиваешь в зародыше собственные стремления.

Расколот народ, литература, мир и человек. <...>

1969 IV 30

Прочел в "Нямунасе" № 4 новеллу Апутиса[1]. И здесь тоже видна вся разница между критикой и искусством. Критика наблюдает, размышляет, проповедует, но с холодным умом. А художник живет крайним напряжением, огромной концентрацией мыслей и эмоций. Даже удивляешься, как ему удается поднять такую ношу, как он не потеряет силы и не падает, раздавленный ею. Вот такой внезапный интеллектуальный жест, такая высокая духовная температура — вот что сейчас нужно. Чего мне больше всего не хватает в самом себе. Все взвешиваю, оглядываюсь, а есть ли проблемы, которые раздирали бы меня, рвали на куски? Я, наверное, настоящий профессионал, то есть пишу что угодно, пишу все, но часть ли это моего существа? Теперь еще эта докт<орская> диссертация, эти пустые попытки писать научно, это примитивное барахтанье в изучении формы, а сам я ничего не говорю. И так два года.

А жизнь — просто качели. То я совершенно подавлен, сломлен, потерял надежду, а то вдруг опять хочется куда-то идти. <...>

Вот эти горящие вопросы искать, смотреть на них. Но моя психика так слаба, раздавлена, исчерпана. Я в нее могу вместить только один вопрос, одну хворь — диссертацию. Больше ничего.

Видел "Гильотину" Шальтяниса[2]. Тоже поразительно смелый, отчаянный бунт. Перед тем как отрубят голову. "Спешите все на гильотину!" — таков лозунг, парадоксы ужаса и абсурд. И это — настоящее.

1. Юозас Апутис (1936–2010) — прозаик, переводчик. В 2005 г. награжден Национальной премией по культуре и искусству. Журнал "Нямунас" ("Nemunas") выпускался с 1967 г.
2. Саулюс Шальтянис (р. 1945) — прозаик, драматург, публицист, сценарист. Пьеса-гротеск "Гильотина" поставлена в 1968 г. в студенческом театре Вильнюсского университета.

Но меня одолевают сомнения. Сколько можно жить в ненависти? Вся наша литер.<атурная> жизнь пропитана ненавистью, недоверием, недовольством. Где любовь, где единение, где взаимное восхищение? Все это потеряно навек.

От ненависти — одно раздражение. Но такова судьба.

1969 V 21

Мы повторяем привычные истины. Весь этот идейный набор века болтается в голове. А свое хоть что-нибудь у тебя есть? Но это свое появляется тогда, когда человек находит корни в жизни, когда его перестает волновать мишура, мелькание проносящихся мимо предметов, когда он постоянно думает о чем-то существенном, неизменном. Ведь все наше мышление заполнено ежедневной политической и спортивной хроникой, театральными постановками, разговорами о книгах. Как редко мы смотрим на что-то постоянное, серьезное и глубокое. <...>

VI 16

Ах, вся беда в том, что мы не хотим, не имеем воли быть собой, что мы слишком хорошо научились приспосабливаться, что чересчур сильно работает наш защитный аппарат, чувство самосохранения. И то, чего нам хочется, мы не можем превратить в жизнь — быть или не быть, а держим где-то на периферии сознания — мы все понимаем, все знаем, но жить и мыслить по-своему не в силах. Профессионалы приспособленчества. Думаем по команде. Политика инфицировала нас насквозь, пропитала все, и ты никак не можешь из нее вырваться, быть человеком самим по себе. Это страшнее всего.

69 VI 24

Разговор с А. Вознесенским у Саи[1]. Скромный, спокойный, не рвется, не ангажирует. Устал. С июля прошлого года не публиковался. Их замучили петиции. Подписал — после этого репрессии бесконечные. В. Аксенов подписывал все петиции, и его совсем не печатали. Он *самый честный среди нас*[2]. Денег нет. Страдает.

Но самое что ни на есть реакционное проявление нынешних времен несравнимо прогрессивнее самого прогрессивного времен прошедших. Читаешь “Не хлебом единым” Дудин-

1. Казис Сая (р. 1932) — прозаик, драматург, детский писатель. Лауреат государственных премий.
2. В оригинале — по-русски.

цева и видишь, что такую прозу, самую революц<ионную> для 1956 года, теперь публикует даже “Октябрь”. <...>

Мы говорим, что нынче все системы верований, идеалов и надежд развалились. Молодежь освобождается от какой бы то ни было веры. Они гораздо яснее все видят, и у них нет этой веры, вбитой в мозг, как гвоздь. И это стимул к движению вперед, ибо так освобождаются от фанатизма, которым заражен мир. Это неверие, это чувство пустоты — обязательный этап очищения. <...>

Ужканаве, VII 14

<...> Приходит конец новат.<орской> программе Межелайтиса. Он исчерпал себя до конца. Не может ничего дать литературе. Только барокко, только словесный балласт. Ибо отметает существование нового взгляда, новых экзистенциальных аспектов. Он хочет оставить в неприкосновенности сами рамки, саму тематику и обновить только слово — это нелепость.

То поколение новаторов, которое пришло после 1956 года, на самом деле и не пыталось, по существу, пересмотреть основы трактовки и понимание. Теперь рождается новое поколение, которое хочет это совершить. Но оно еще жидкое, редкое. И все же надежда только на него.

Это поколение бывших новаторов выполняет в литер.<атурном> процессе логически неизбежную функцию торможения и удушения, ибо сам процесс освобождения идет дальше; они уже не решаются встать на его пути, а хотят зажать, задушить, чтоб остаться на фасаде, чтоб остаться вождями. Но это голые короли. <...>

1972 XI 2

Вернулся из Москвы. Ощущение — будто перед гигантской волной, которая сейчас вот возьмет и захлестнет. Ощущение разгрома. Все принципы и достижения, на которые до сих пор опирались, безнадежно разбиты в пух и прах. 1) Идея национальной самостоятельности и самобытности, 2) фронда, 3) литературная самостоятельность.

Мне показалось, что мы стоим, сунув голову в песок, боимся оглянуться. Мы в пасти, которая вот-вот захлопнется. Мы в режиме, из которого нельзя вырваться. И, видимо, сейчас начнут так давить, что деваться будет некуда.

Теперь одна песня — дружба народов, слияние литератур. Выход один: 1) петь эту песню вместе со всеми и делать какую-то мелкую культурную работу или 2) выйти с фрондерскими идеями и погибнуть.

Национально-культурный ренессанс СССР — одна из огромн.<ейших> пугающих опасностей. И эта песенка может убаюкать, когда фронда вызывает злобу и подозрение. <...>

Наконец, нам не хватает литературной дисциплины, различных литературных терминов, когда критике должно политиканствовать. И теперь положение народа, положение провинившегося народа, могут искупить только политиканств.<ующие> писатели и полит.<иканствующие> критики.

Я уже не гожусь для таких задач. Чувствую, что я свою игру продул. Кроме того, моральные принципы не позволяют мне свободно передвигаться. Так что я могу спускаться на дно.

Хотя везде хватаюсь за кусты, как утопающий. И на конференцию эту поехал, чтобы напомнить, что я еще не погиб. <...> Лучше другой вариант — попасть в Постановление КПСС, и тогда все кончится само собой.

По дороге домой я давал себе слово: не ездить больше, не лезть — будь что будет. И казалось, такое благо — умереть в родном краю, дома, а не в этом страшном и чужом котле.

Четыре дня, просвистанных всеми ветрами. Узнал, что плыл на щепке, которую залило волной, что, возможно, пойдешь ко дну, что весь происходивший до сих пор курс на деполитизацию и очеловечивание литературы врезался в стену. <...>

1974 IX 24

Сегодня похороны художника Валайтиса[1]. Единственного, кто посмел встать на защиту своего униженного, растоптанного коллеги. Это он пригрел и кормил Юрашаса[2], пока сам не остался без куска хлеба. А вообще характерно, что никто открыто не защищал Юрашаса, разве что Сая парой реплик. Никто не хотел рисковать. Каждый вцепился в свой шесток и занимался только собой. Что там с другими делается — неважно. Никакого духа коллективизма. Тут как на фронте: падает рядом человек, никто не волнуется. Каждый смотрит, как бы самого пулей не зацепило.

Не так в Москве. Там коллективная атмосфера, общий дух, переживание и поддержка; там "Таганка" выстояла именно благодаря солидарности интеллигенции.

1. Теодорас Казимерас Валайтис (1934–1974) — скульптор, живописец, актер. Трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.
2. Йонас Юрашас (р. 1936) — театральный режиссер, в 1972 г. снят с должности главного режиссера Каунасского драматического театра по политическим причинам. Эмигрировал в США в 1974 г.

1977 V 22

Вернулся из Москвы. Дал себе слово — не лезть больше, хватит этого чувства долга, хватит растрачивать здоровье и нервы. Хотя когда сдвигаешься с места, в этом есть и плюсы — видишь свою жизнь как бы со стороны, какая она неглубокая, мало чего стоящая; какие потоки бурлят вокруг, какие кипят драмы и силы, а ты стоишь в своем мирке, и что-то там делаешь, и чувствуешь себя спокойно. Как не хватает нам этого централизма, этой включенности в события, какие мы периферийные люди, далеко отстоящие от существенных вопросов.

У Москвы есть свой сформировавшийся постоянный железный хребет, к которому должны клеиться (крепиться?) все, кто не поддался эрозии. Эдакий узкий центр остова, состоящий из крепко связанных между собой частичек, со стороны трудно туда попасть. Какая гигантская дистанция — что говорят с трибуны и что говорят за кулисами. <...>

Все сильнее тревожит меня русская пресса. С беспокойством смотрю, для кого работаю и кому служу. Ведь единственный смысл — писать для лит.<овского> читателя, а для всесоюзн.<ого> читателя — ерунда, камнем идет на дно. <...>

После долгих и болезненных усилий диссертация возвращается в Литву, и снова начнется сказка про белого бычка. <...>

1978 V 17

Очередная бессмыслица — подготовил еще одну книгу статей "Литовские поэты XX века". Испытал большое разочарование, почти безнадежность. Столько трудов, столько страданий, столько попыток протолкнуть ценности литовского слова, а через пятнадцать лет выясняется, что ничего не было. Сам ход мысли весьма ординарен, аргументация социальная, подход чересчур марксистский. Вообще непонятно, за что меня травили. Нет даже глубокого переживания самой поэзии, а только возвышенно-эмоциональное комментирование. Нет никаких серьезных интеллектуальных концепций. Статьи слишком эмпиричны, все рассматривается, всего касаются, но глубоких зацепок нет. То, что в те времена казалось смело, непозволительно, само собой разрешилось. И теперь ты машешь кулаками после драки. А еще страшнее — нет стилистической культуры. Совершенно нет лейтмотивов. Возможно, вся моя ценность крылась в критическом разборе, но теперь уж этого не вернешь. Не достиг я свободы письма, осталось много скованности, испуга, приспособленчества, а главное — излишняя литературность. Заметил болезненный изъян — обызвествление мозга, он неспособен впитать новую информацию, вертится все в тех же мыслительных схемах, понятиях, приемах. Воз-

можно ли еще сломать эту закоснелость? Надо пытаться, но с ужасом замечаю, что с меня все как с гуся вода. Видимо, я был призван на борьбу. Перечитал Чернышевского. Как же мы притихли, как далеки от реальности, от открытого мышления.

1979 I 10

Опять новый год. Что принесет он? Снова брести сквозь бумагу. Снова спешка, и снова не будет времени сосредоточиться, понять, куда идешь, что делаешь. И так, наверное, до последней точки будет все недосуг. Надо бы мне обдумать, что делать дальше. По идее, нужна серьезнейшая методологическая перековка, а то крутишься все в том же колесе психологизированного литературоведения. Но вечно некогда, а точнее, нет внутренней необходимости. Для этого необходимо существенное обновление, переучивание по самой сути, а на такой подвиг не хватает сил.

Напечатана едва ли не лучшая моя статья о поэзии[1]. Она была написана сразу же по окончании диссертации. Тем самым, пролежала лет восемь. Теперь я уже вряд ли написал бы такую статью. Там есть ярость, есть смелость, есть категоричность. Сейчас уже разве найдешь в себе такое? Уже появился инстинкт самосохранения, я уже не посмел бы так кричать. Все-таки и меня коснулась эта порка, хотя кому-то может показаться, что я неприкосновенный. Но это неважно. Важно было бы обрести "мышление по существу", не метаться, а чувствовать суть, чувствовать истинность. А сейчас все равно остается дилетантское скольжение. А где эта суть? Она кроется не в литературе, а в чем-то еще, в человеческих ценностях, переживаниях, отношениях. Но такой подход выработать сейчас трудно, мы бежим от ясных и категоричных решений, не хотим иметь четкое мнение, скрываем сами от себя свои установки. И так во всей нашей литературе. Поэтому нет истинности, нет страсти, ведь какие-то существенные вещи вытеснены из сознания. И литература строится из литературы, из изворачивания, жульничества с самим собой, из вынужденного краснобайства, которое есть не литературная манера, а просто способ существования, способ мышления, способ приспособления. <...>

1980 III 3

В субботу вернулся из Ленинграда, Попал на юбилейный вечер Ф. Абрамова. Послушал его речь. Она выламывается из

1. Скорее всего, "Нужна ли стихотворению поэтичность?" // "Literatūra ir menas", 6 января 1979.

круга будничной литературной круговерти. Литература здесь нечто большее, чем литература. У него такое высокое понимание ее миссии, которое возможно, наверное, только в русской литературе, унаследовавшей толстовское евангелие. <...>

Судьба крестьянина как основная тема и как основной вопрос. Его именем он обвиняет существующее. И обвинение это очень тяжелое, потому что именно крестьянство было разгромлено, оттого и хлеба нет. Это еще один пример смелости и принципиальности. Он чувствует, что говорит за весь социальный слой. У нашей литературы нет такой критической мощи, здесь это обернулось бы отрицанием существующего строя. Но главное, что в ней нет и той моральной силы, той веры, силы убеждения, уверенности в собственной необходимости. <...> Может быть, судьба народа и есть единственный великий вопрос, который решает наша литература, ибо все прочие кратковременны и несущественны. В русской литературе, конечно, все иначе. <...>

1991 XII 25

Вырвавшись из этого повседневного грохота, начинаешь немного яснее соображать, в голове крутится одна политика.

1. Моральное предательство! Стоит 100-тысячный гарнизон, КГБ, советская прокуратура, и в это время ЛАФ[1] кричит о тоталитаризме, когда занято телевидение. Разве это не предательство? Разве не надо собрать все силы для сопротивления наступлению, которое тотально направлено против нас со времен блокады? Это предательство, прикрывающееся благородным именем оппозиции. <...>

2. Не говорить тоном прокурора и всезнайки. Одна-единственная правда — это всегда опасно. Посмотреть с разных точек зрения и посмеяться над собой. Не ощущать себя всезнающим пророком-морализатором. <...>

3. Нет политиков, которые смолоду сформировали бы свою собственную систему взглядов. 100 депутатов — все бывшие коммунисты. Они меняют позицию, меняют взгляды, у них нет настоящей внутренней принципиальности. От этого переходы из фракции в фракцию. Нельзя доверять ("Республика", "Возрождение"[2]).

1. ЛАФ (LAF, Lietuvos ateities forumas) — Форум будущего Литвы, создан в 1991 г., действовал недолго, противостоял политике Витаутаса Ландсбергиса, которую поддерживал автор.
2. "Республика" ("Respublika"), "Возрождение" ("Atgimimas") — газеты времен литовской перестройки.

4. Мы привыкли отрицать. Пришли с психологическим комплексом отрицания, недоверия. И не хотим видеть ничего хорошего в том, что происходит. Ворчание, издевки так и остались, перенятые новой властью.

5. Советская система по-прежнему у руля. Государственная собственность, ею владеет госаппарат, он деморализован, его привычки не изменились, поэтому сохраняется все та же советская инерция; перелома не ощущается, потому мало изменяются и моральные установки.

6. Взращенный за 50 лет образ жизни и идейные стереотипы, поэтому налицо большое внутреннее сопротивление (200 000 коммунистов, 100 000 кагэбистов), и все это не кончается. Как эту силу демонтировать? Только ли ненавистью? <...>

7. Сеть КГБ — гигантская. Как ее разорвать? Вернулся из лагеря Валайнис[1] и его густо окружили информаторами: слежка. И так по всей Литве.

8. Ищи вину не в других, а в себе. Ты тоже был коллаборационистом, ты молчал, есть и твоя вина. И осознание этой вины. Но нужно ли только искать виноватых? Нужно движение вперед как важн<ейшая> цель и стратегия этого пути. <...>

9. Изнутри общества, из подсознания вырвались таившиеся под спудом боль, злоба, мука, ярость из-за попранной справедливости. Теперь все это выплеснулось. Это было задавлено, не имело никакого выхода. Так не будем же удивляться агрессивности; она зачастую связана с шизофренией, со страхом, с самоощущением преследуемого человека. Все эти чувства рвутся наружу, и нет никаких демокр.<атических> способов канализации. Искать виновных, обвинять кого-то — прямо-таки осн.<овная> вещь.

10. Все политизировано. Все на это опирается. Что обедняет наш мир. Но мир на этом не кончается, есть добро, есть смерть. Открыться таким вещам — это существенно, это настоящая естественная жизнь, и давайте отдадимся ей. Это и есть центр искусства.

11. Закончил Вайчюлайтиса[2]. Но и тут ничего хорошего. Спешка. Нет внутреннего переживания, напряжения, ощущения необходимости. Описание со стороны, не изнутри. <...>

1. Валайнис — отец зятя автора.
2. Антанас Вайчюлайтис (1906–1992) — литовский писатель, поэт, дипломат, переводчик и литературный критик. В 1939 г. был назначен атташе по культуре в посольстве Литвы в Ватикане. В 1940 г. эмигрировал в США. Работал преподавателем, на радиостанции "Голос Америки" и в газетах.

Несущественная вещь, конформистская какая-то. Некуда стремиться, не от чего отталкиваться, как было в других работах.

12. Консерватизм. Чем смелее проходят реформа, перемены, тем сильнее скатывание в консерватизм под прикрытием громких слов о демокр<атии>, защите социального равноправия.

13. Ворчит больше всех интеллигенция. Она уже приспособилась к режиму, который казался несокрушимым, а теперь развалился. Опять надо приспосабливаться, искать новых господ, новую лакейскую улыбку. Это неудобно и злит. Гибнет чувство пристойности и самоуважения. Отсюда декламации о свободе.

14. Падение СССР — победа национальной идеи над коммунистической; национальное освобождение взорвало колониальную систему. Это гл.<авный> взрыватель. Приход Ельцина к власти — тоже победа национальной идеи. Этого не понял Запад, этого не поняло правительство Прунскене—Озоласа.

15. Человек вырвался из застывшей бетонной униформы. Партия убрала лапу с его образа мыслей, с семейных отношений. И он проявился как есть: в гневе, в ярости, в обиде на всех.

16. Нельзя все время выдерживать единую линию. Надо оглядываться: а что думает другая сторона? Ожесточение собственников и вера в Право собственности могут столкнуться с большим сопротивлением, если не оглядываться на интересы других. Общество — это сложная сеть интересов; тут надо не крушить, а осторожно менять, чтоб никого не поранить.

17. Основное занятие "Саюдиса"[1] и клубов — бить в колокола: творится подлость, обижают человека. Защита прав человека должна быть основным стимулом деятельности. Не позволять власти двигаться путем советской бюрократии. Придешь куда-нибудь, а тебе отвечают: не уполномочен, не знаю, в другой раз. Этого незнания не должно быть. Да, не все еще законы приняты.

18. Американцы в Литве. Как необходим их опыт и знания. И как трудно ими воспользоваться. Это опыт нормальной страны, а здесь ненормальная страна в незапрограммированных ситуациях. Умеют ли они действовать в таких

1. "Саюдис" (*лит.* "Sąjūdis" — "Движение") — народное движение, созданное в 1988 г., которое добилось восстановления независимой Литвы.

ситуациях? Они суют всюду свой либерализм как критерий, насмехаются над бюджетом, когда неизвестно, сколько стоит земля, дом, фабрика. Но в этом и состоит искусство плыть по морю неизвестности. На заседании Каунасского сената канадский профессор сказал: "Здесь воняет, здесь все кагэбисты". Один стал оправдываться: я не кагэбист. А надо было встать и уйти. Этот конфликт будет углубляться — взгляд на нас как на отсталую, темную страну: мы, дескать, лучше знаем, что делать. Ю. Янкус[1] говорит, что американцы, находясь в Литве, адаптировались к Москве!

19. Мы привыкли к агрессивным взаимоотношениям, агрессивному общению. Команд.<ный> стиль, наследие системы. Надо создавать другую культуру общения.

20. Вся эта наша власть — молодая. И она сразу ринулась изображать из себя власть серьезную, претендуя на мировое значение (Прунскене). Некоторые так сжились с этими своими амбициями, что возникают трения. Осознание своей ограниченности. Это первая власть, вырвавшаяся из-под медвежьей лапы, у нее еще нет традиций, культуры поведения.

21. Развалилась вся идеологическая, психологическая, социальная система, к которой уже адаптировались. Поэтому творческой интеллигенции сейчас неуютно — она чувствует свою вину и ненужность. Надо поддержать поднимающуюся власть — только так будет искуплена вина.

1. Юргис Янкус (1906—2002) — прозаик, покинул Литву в 1944-м, жил в Германии и США.

Миндаугас Карбаускис: мастер превыше всего

С главным режиссером московского театра имени Вл. Маяковского беседует Георгий Ефремов. 7 октября 2014 года

Георгий Ефремов. Попробую хотя бы косвенно потревожить тему неких пограничных ситуаций, вернее — проблему человека в условиях пограничья (или приграничья). Если герой нашего разговора Марюс Ивашкявичюс, за развитием которого я слежу вот уже почти 20 лет — притом что он до сих пор вполне себе молодой человек, — нужно отметить, что почти во всех его пьесах ("Малыш", "Мадагаскар", "Мистр" и других) так или иначе действует Литва, имеются те или иные сюжетные линии, исходящие из нее или ведущие к ней. А пьеса "Кант", которую ты выбрал для постановки, с подобной точки зрения совершенно нейтральна. И, как видно, это ей не вредит. Ивашкявичюс вообще — национальный писатель, или вопрос так даже ставить нельзя?

Миндаугас Карбаускис. Наверное, ставить можно, но это вопрос не ко мне. Я никем и ничем не уполномочен делать такие выводы. По-моему — если это кому-нибудь интересно, — талант в принципе не может быть национальным достоянием.

Что бы автор ни предполагал, к чему бы ни стремился, существует талант — особенная и отдельная, не всецело зависящая от него категория. И не ему одному принадлежащая. И не только его отечеству. Чье это наследие, чье достояние? Не знаю. Я слышал мнение, будто он как-то удивительно по-литовски сосредоточен... Возможно. Мой учитель [П. Н. Фоменко] говорил о литовцах, что нам дано слышать, как трава растет. Тогда в этом смысле — он литовский талант. Но без обостренной чуткости, зоркости больших художников не бывает. А Марюс как художник обладает изумительной тонкостью и глубиной... Национальная это способность? Универсальная? По мне, уж лучше давай рассуждать о писателе Ивашкявичюсе, а не о феномене литовского сочинителя, нашедшего воплощение в Ивашкявичюсе. Так будет справедливее.

Г. Е. Тогда надо сказать, нам всем повезло, что Ивашкявичюс есть. И нам с тобой в особенности: мы можем его читать в оригинале.

М. К. Мне такая мысль сейчас в голову пришла: рациональное, рассудочное — они скорее всеобщи, универсальны. А проявления сердечности, душевности — более личностны, семейны, провинциальны и национальны.

Г. Е. Тут многое, вероятно, зависит от колыбельных, которые мы слышим в младенчестве и которые учат нас языку.

М. К. И мышлению, таким образом. Тут все завязано — и невозможно, не нужно расчленять нас на общее и частное. Тем и прекрасен Ивашкявичюс, что его пьесы необычайно мудры и сердечны. Его умение быть душевно-интимным, говорить из глубины сердца — удивительно. Наверное, это и называется писательским дарованием. Когда мы ставили "Канта", все поражались: как талантливо написано! Если были какие-то претензии, то скорее к тебе как к переводчику. А присутствие Марюса в тексте, за текстом, над текстом — ощущалось очень сильно и благотворно. Он ведь на редкость способен удивляться, он не взрослый, он там ребенок везде. Особенно внутри. И вот это уникальная черта его таланта.

Г. Е. И поразительное владение языком. В его руках (мыслях, устах) это даже не инструмент, а инструментарий. Я полгода провел в состоянии изумления, когда переводил "Мадагаскар". Да и с "Кантом", и с "Мистром" та же история.

М. К. А юмор! Вот что у него неповторимо национально — юмор. И вообще — качество, владение ремеслом у него высочайшее. Он профессионал в высшем смысле. И с ним поэтому легко и радостно работать. Мы ведь утомлены и развращены приблизительностью. А он — мастер, он носитель и гарант ответственности и доверия. Это все и в искусстве играет одну из главных ролей.

Г. Е. А отношение к Богу?

М. К. Мне кажется, Марюс ответил на это в "Канте": "Когда я не знаю — верю". Не понимаю — верю. Это как в математике, где заданы некоторые аксиомы, и мы избавлены от необходимости их проверять и доказывать. Правда, опыт и вера — явления не фиксированные, не раз навсегда данные. В какие-то периоды кажется, что ты все знаешь и понимаешь, тогда вере почти нет в тебе места. А бывает наоборот. Сам путь познания и самоопределения в мире — немыслим без веры. Понимание добра и зла вне веры — невозможно. Мы вот сейчас заняты Львом Толстым, еще и потому эти вещи так для нас актуальны.

Г. Е. В связи с этим вопрос: насколько необходимо и уместно тут упомянуть о вашей новой работе — спектакле о Толстом?

М. К. Надо упомянуть — чтобы никто не увел. Ну а если без шуток... Мне показалось, что грехом было бы не спровоциро-

вать Марюса на такое дело: замахнуться на Толстого. Это всегда страшно и небезопасно, поскольку Толстой предельно злободневен. Всегда и во всем. И когда существует такой... как бы сказать... преемник и ретранслятор, как Марюс Ивашкявичюс, — хочется уступить соблазну и взглянуть на Толстого сквозь эту призму. Это ведь будет не композиция по Толстому, а оригинальная пьеса Марюса Ивашкявичюса.

Г. Е. Почему-то хочется сейчас вспомнить Юрия Петровича Любимова, с которым так недавно пришлось проститься... Я в 1964 году жил на Таганке, в двух шагах от тогдашнего Театра драмы и комедии, и мой трепет перед сценой возник именно там и тогда. Интересно было следить, как со временем изменялось общее восприятие Таганки — от восторга перед бунтарством к некоторому привыканию, как к некоей уже данности, традиции. Для тебя это важно — низвержение канона, преодоление устоявшегося? Над кем или над чем совершается победа, если она есть?

М. К. Ты употребил верное слово "трепет". Вот у меня трепет возник поначалу не перед театром, а перед русским языком. Я его учил в школе, еще в Шяуляе, и потом... И это не проходит. И уже не пройдет наверняка. Если вернуться к национальному самоощущению, я бы так сказал: литовец силен именно способностью воспринять, вместить и освоить значительно больше, чем предполагает и предлагает литовская история, география, фонетика. Сама литовская история — это история синтеза, срастания нашего опыта — рационального и чувственного — с другими культурами. Литовец (в моем представлении) кровно ощущает радость обретения. Представь, вот хуторянин собирается и едет на рынок: запрягает повозку, празднично одевается, внутренне готовится... К чему? Вот к этому приятию незнакомого, чужого, общего. И в этом понимании — я литовец и Марюс литовец. Мы, мало изменяясь в лице, способны очень меняться внутренне. Тут важна потребность в еще одном пространстве, космосе, хаосе... И мои перемены, мои метаморфозы по порядку шли так — русский язык, потом эмиграция, потом театр.

Г. Е. А как ты попал в Москву?

М. К. Я был безработным артистом. Наступила пора, когда в Литве не было никакой работы, и перед многими, практически перед каждым вторым, встала проблема отъезда. Это 1997-й. Я этакий молодой неудачник. И у меня страсть к русскому языку, к России. Мне чудится, что я здесь нужен. И она мне нужна — ее пространство, там есть где разгуляться. В том числе и театру. Вот Фоменко... Стихийно-игровой русский театр. А у меня появилась такая возможность — приехать, при-

смотреться, разобраться. Приехал и остался... Есть ли тут какой-либо мятеж, бунт? Не знаю. Важен вектор, момент, результат движения, поиска. Способность постижения — и достижения задуманного. Наверное, главное во мне — ремесленник, профессионал. Художника я в себе не очень вижу. Он в тени. А профессионал, иначе говоря, умелец — он превыше всего. По-моему, Марюс в этом смысле — образец. Он искусник. Итог у него всегда — завершенный и совершенный.

Г. Е. Многие сожалеют, что Ивашкявичюс отвлекся от большой прозы ради "малой", театральной. Им кажется, что перерыв между романами затянулся. Марюс — первопроходец, испытатель. Он ведь уже и игровой, и документальный режиссер, в Москве на Днях литовского кино осенью показали его "Санту"...

М. К. Профессионалу менее всего важен произвол, своеволие. Выше стоит долг, обязанность перед окружающими, делом, временем. Востребованность, социальная необходимость диктует тебе выбор. Это не сумма твоих фантазий, а их экстракт, квинтэссенция. Не "мне нужно", а "от меня нужно". Наверное, поэтому преимущество отдается сцене и фильмам, а не книгам. Пока, во всяком случае. Есть осознание, что твой крест — он именно такой. Если обо мне: я всегда с трудом улавливаю, что мне, собственно, самому требуется, а вот что от меня надо другим — это понятно и непреложно.

Г. Е. Не могу тут не вспомнить один разговор с Марюсом. Речь зашла о "так называемой" творческой свободе, и он вдруг признался, что многое "судьбоносное" с ним случилось, как говорится, из-под палки. Денежные затруднения принудили участвовать в конкурсе, режиссер уговорил написать историческую пьесу и т. д. И так сложилась некая сюжетная линия судьбы, о которой заранее никто и мечтать не мог.

М. К. И со мной так случилось, что прямо с первого курса, с первых этюдов — от меня постоянно чего-то требовали и ждали, а я все время не соответствовал. Но тут ведь так: если ты верно выбрал главную дорогу, тогда чужие требования и просьбы на этом пути — они тебя подталкивают, подтягивают, побуждают работать и развиваться. Главное, чтобы эти призывы, просьбы, тычки не прекращались. Иначе... Ну понятно, что тогда. "Из-под палки" — это правильно.

Г. Е. А драматургию Ивашкявичюса не пришлось прививать силком?

М. К. Да, это интересно, как приняли его драму русские артисты. Мы же не просто бубнили на первых читках, да и потом полгода, некий скомпилированный текст о Канте. Если вспомнить сейчас вновь о голове и сердце, надо сказать: когда чело-

век пишет от сердца (но не без участия головы), нет и не может быть никакой "ментальной непроходимости" между автором и слушателем, читателем, зрителем. А я видел, какое наслаждение испытывали актеры. Хотя "Кант" — это, по видимости, сборник скетчей...

Г. Е. Очень неплохих, надо сказать...

М. К. Да, очень качественных. Надо было видеть и слышать, как воспринимали этот спектакль, скажем, в Тыве. Нам иногда кажется, что где-то там существуют не слишком притязательные люди, не избалованные культурой, которым трудно воспринимать нынешнее искусство. Ерунда. Люди, идущие в театр, — идут в театр и ждут чуда. Если ты не сумел устроить это чудо, глупо пенять на зал, на социальные и климатические условия.

Г. Е. А вот условные земляки Канта, жители современного Калининграда, с которыми я общался, они саму идею такой пьесы приняли с настороженностью...

М. К. Они попросту испугались. Но испугались скорее пьесы, а спектакль приняли и зовут нас опять. И мы поедем, конечно. Дадим четыре спектакля. Аудитория у этого представления всегда небольшая — 100 человек. Больше нельзя. Любое сообщество должно внутри себя наладить определенные связи, и зрители "Канта" должны это сделать, по возможности, быстро. Это некий сговор неглупых людей, такая договоренность: давайте отключим мозги. Это необходимо для "солидарного" понимания. Ведь в хороших пьесах однозначных ответов нет. Требуется коллективный поиск ответа. Надо сказать, когда вышел "Кант", в сознании продвинутых зрителей и критиков не нашлось "полки", на которую это явление легко было бы поставить. Спектакль сам создал такую полку. Во всяком случае, он ее строит, мастерит, сооружает. В основе уже имеются два опорных момента — феномен Канта и феномен Ивашкявичюса. Всегда проблема, когда является некто, кого до сих пор не было. Это чрезвычайно трудно — согласиться, что возникает новый, свой контекст, который не с чем сравнить. Он сам становится базой для будущих сравнений.

Г. Е. Когда и как в твою жизнь попал Марюс?

М. К. В 2000-е. Приезжаю в Вильнюс и иду в тамошний Малый театр. Марюса я тогда почти не знал, что-то слышал, но не слишком внятно. Дают "Мадагаскар", а я опаздываю к началу и попадаю только в антракт. В фойе сидит молодежь лет по 18—20, это для меня совершенно незнакомое поколение, и они горячо обсуждают один очень важный вопрос: а можно ли так говорить и думать об отечестве? О Литве, о нас? И я понимаю, что в пьесе, на сцене, происходило и происходит что-то не-

обычайно важное и актуальное. Потом я увидел вторую часть спектакля, потом весь спектакль, и не один, а два-три-четыре раза... Туминас отлично его поставил... Но я о другом. Марюс этим своим восприятием истории просто взбудоражил общество, заставил всмотреться и вслушаться в себя и в окрестный мир. Спустя какое-то время последовал новый удар не меньшей силы: "Изгнание" (в русском переводе "Гон"). Могу сказать, что и я побывал на месте его героев. Когда все вокруг подмывает бежать, устремляться куда-то, гнаться за самим собой... Я в 1997-м, будучи достаточно обеспеченным, хотя и безработным, поехал туда, в Лондон, на три месяца — рассмотреть западный мир и разобраться в себе. Подумать, как быть дальше. Я многое тогда разглядел (как и молодые герои пьесы) — и ужас, и одиночество, и обреченность. Я смотрел спектакль в видеозаписи и поймал себя на каком-то очень сокровенном переживании. Моя Москва родилась в Лондоне. Там, в пивной, я сидел с выпускником философского факультета, готовым перевоплотиться в каменщика, мы сидели за чаркой самого дешевого виски и решали — как сопротивляться отчаянию. Я слышал, что "Изгнание" хотят поставить в Москве. Сомневаюсь: кто адресат? Кого и как эта история тут может затронуть?

Г. Е. По моим наблюдениям, — Марюс лучше знает, как и на что воздействовать в наших душах. Думаю, Москва отзовется. Этим она всегда была хороша.

Гедра Радвилавичюте

Притяжение текста

Эссе

Перевод Александры Васильковой

У меня есть несколько критериев для оценки притягательного текста. Первый. Прочитанный рассказ должен снова, помимо моей воли, вторгаться в память — не обязательно вспоминаются сюжет или характеры, может быть, только детали, сравнение, метафора, какой-нибудь неожиданный поворот: *В их усадьбу во время войны попала бомба, вся семья сгорела, и бабушка повредилась в уме. Но один врач научил ее ходить против ветра, против свежего прохладного ветра, и ей это помогло* (Э. Тодэ). Второй. Текст должен быть не слишком далек от моего опыта. Тогда начинает казаться, что и я это испытала, и я там была, медпиво пила, те самые слова на язык просились: *Помню, как-то раз ты меня спросила: знаешь, что́ там, где заканчивается Полоцкая улица? Я съежился и даже слегка похолодел, но ты настойчиво смотрела мне в глаза: скажи, что? О, ответил я, ну конечно лес, лес, больше нечему быть. Еще... Нет, тряхнула ты головой – этого движения мне, может, сегодня больше всего и недостает, – там только туман и небо, понимаешь?* (Ю. Кунчинас.) Третий. Читая текст, я должна позабыть обо всем вокруг — иногда на мгновение, иногда такое состояние длится доль-

© Giedra Radvilavičiūtė, 2010
© Александра Василькова. Перевод, 2015
Фото Арунаса Балтенаса.

ше: *Прилетевший откуда-то крохотный мотылек стал энергично и бестолково носиться над нами – клочок бумаги на легком ветерке. Покрутившись, он сел ей на грудь, немного отдохнул, потом вспорхнул и скрылся из глаз. Мотылек улетел – и мне показалось, будто подруга чуть-чуть, едва заметно постарела* (Х. Мураками). Четвертый. Рассказ заставляет знакомые, может, даже банальные вещи раскрыться по-новому: *В тот раз мне впервые бросилось в глаза, что о женщине ничего нельзя сказать: я заметил, как, рассказывая о ней, они все обходят ее, как заговаривают о другом и изображают другие вещи, обстоятельства, места, предметы, пока приближаются к тому самому месту, где все это заканчивается, мягко и будто бы осторожно заканчивается легким, никогда не прорисованным контуром, который ее и обозначает* (Р. М. Рильке). Пятый... Как только я хочу что-нибудь сформулировать до конца, меня охватывает паника. Все высказанные положения делаются спорными и эфемерными. Окончательная истина становится тайной, которую я не могу, не ведая сомнений, открыть публично. Недавно я видела фильм. В нем сначала рассказывается, а потом показывается, как в старину в восточных странах, когда человека тяготило какое-то знание, он шел в лес, находил дерево с дуплом, приближался к нему — губами к коре — и, выговорив свою тайну темной полости, заделывал ее выкопанными тут же комьями земли, высохшей травой или мхом. Мужчина в фильме рассказывает о женщине, которую он слишком любил для того, чтобы с ней любиться. Силуэт ее напоминал розовый бутон. От распускания страсти ее уберегала вшитая в шелковое платьице молния — от крестца до последнего шейного позвонка.

О текстах я думаю не просто так. Я ничего не делаю без надобности. Я приехала в маленький литовский городок, чтобы участвовать в форуме по современной литературе. Меня предупредили о том, что перед вечерними писательскими чтениями надо будет что-то сказать приехавшим тележурналистам. А форум так и назывался “Северное лето. Притяжение текста”. В нем, кроме литовцев, участвовали писатели из соседних балтийских стран и Скандинавии. В прошлом году здесь, в старой усадьбе, во время форума был страшный сквозняк. Со стен попадали фотографии в рамках, одному музыканту саксофон забило песком. Сильный порыв ветра вырвал листки из рук исландского писателя и кинул их прямо в камин. Писатель не рассердился, потому что в его стране на огонь смотрят, как на чудо. Он сам рассказывал — в Исландии так холодно, что из всех насекомых может выжить только phthirius pubis (по-нашему — лобковая вошь). Но до чтений оставалось два часа. Я решила, воспользовавшись случаем, найти в городке дальнюю родню. Знала я только адрес, кое-какие связывающие нас подробности и генетическую принадлежность: в городке по-прежнему жила внучка брата моего деда. Девочек было две, но одна умерла подростком. Ряби-

новая улица, насколько я помнила, была недалеко, за старым, немного запущенным парком усадьбы.

Братья до самой смерти ссорились. После войны деда посадили на пять лет. Он работал на мельнице и якобы (или на самом деле) обвешивал, воровал по несколько сот граммов из мешка для своей семьи. Еще несколько лет спустя в этой семье родилась я. Без хрена было бы невкусно. Без шерсти не завелась бы моль. Без муки не было бы человека. Когда меня в больнице в первый раз принесли кормить, мама сказала — в складочках на лице еще виднелась оставшаяся мука. Дед божился, что отсидел безвинно, но брат, напившись, рассказывал, что тот с детства был заводилой, жуликом и авантюристом. Вспоминал времена, когда они дрались. Дед, который был пятью годами старше, валил брата наземь, прижимал ему руками запястья к глиняному полу, как на распятии, наклонялся к лицу, щурился и пугал, что сейчас медленно заплюет. Он запрягал жаб в тележки, сделанные из катушек, окунал брата лицом в миску с тестом и делал "посмертную маску". После войны высыпал в деревенский колодец две пачки сахарина. Он запрыгивал одной ногой на стол, накрытый праздничной скатертью. Дед, на всякий случай, всю жизнь держал дома ружье — когда легально, когда нет. "Ты отсыпал муку Елене и детям, чтобы вы лучше жили", — расхрабрившись, говорил брат, и тотчас, желая "разбавить" свой приговор, а может, просто-напросто боясь получить в морду, затягивал "Стань на камень, садись на коня..." Деда увезли отбывать срок за Москву, под Загорск. Еще в дороге, во время пересадки, другой заключенный, прижавшись к нему со спины, предложил деду полюбиться: "Тебе будет хорошо и мне будет хорошо"[1]. Не знаю, что дед ему ответил, но больше никто потом не предлагал ему этого, даже в лагере за три года заключения. Пяти он не отбыл, выпустили по амнистии. Он сидел вместе с уголовниками, которые уже за завтраком расстегивали под столом ширинки и показывали новичкам свое хозяйство. До сих пор не понимаю, как бабушке удалось его навестить там, в русских лесах. Она много раз рассказывала, как холодной зимой потерялась в мраморном московском метро, с собой у нее был картонный чемодан, а в нем — сало. Тогда бабушка повредилась в уме... но стала ходить против ветра, против свежего прохладного ветра, и ей это помогло. Не представляю себе ее в русской метели, точно так же, как не представляю, например, себя на Франкфуртской книжной ярмарке. Моя мать посылала деду в лагерь свои фотографии до тех пор, пока не получила от него первого письма, тоже со снимком, но не деда, а преступника, которому дед эти фотографии показал. "Хоть и далеко, но душой я всегда с вами"[2], — писал усатый мужчина. Вернувшись, дед рассказал, что, пока сидел,

1. В тексте по-русски. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. В тексте по-русски.

ему приходилось уживаться не только с этим человеком, но и с двумя совершенными им убийствами. Еще дед любил пересказывать сам эпизод возвращения. Он ничего не сообщил заранее, и, когда вошел в избу, бабушка выронила сковороду с только что выложенными на нее картофельными оладьями. Дедов брат ни одной посылки в лагерь не послал. Но перед смертью они помирились.

Дед сам приехал мириться в городок, где теперь проходит форум по современной литературе с участием писателей из стран Балтии и Скандинавии. До решающей встречи братьев произошли и более важные события. Умерла одна из внучек дедова брата, а потом, опрокидывая Богом установленный порядок, — его дочь. Фотографию умершей внучки я еще помню. В гробу, видимо, в своей комнате, лежит девочка-подросток. В руках у нее книга. Как будто молитвенник, но — великовата. Возле гроба стоят мать и фикус, пережившие смерть ребенка. Я была ровесницей умершей. Может быть, только это меня и потрясло. Эту девочку в гробу, ее лежащие рядом умершие (деревянные) косы я вспоминала все время — когда чистила зубы, когда перед зеркалом выдавливала прыщи на лбу, когда доставала украшения из шкатулки в виде яблока, когда читала книги и плакала над так верно описанной в них любовью. К дедову пятидесятилетию кто-то из того городка передал завернутый в газету окорок. Окорок, мраморный, как станция московского метро, я помню, а родню — нет.

У меня было ровно два часа. Тропинки в парке за усадьбой не были посыпаны ни щебенкой, ни камешками. С собой у меня была только коробка трюфелей для Эмилии. Может, надо будет называть ее Эмилюте, как называл дедушка, когда распечатывал последние продиктованные братом и написанные ею письма. Солнце уже садилось, в косых лучах вспыхивала, но, вылетев из полосы света, тотчас пропадала мошкара. Цвели только желтые цветы. В их серединках держалась, собравшись правильными круглыми облачками, дымка пыльцы. Я боялась, как бы не поднялась обычная для этих краев песчаная буря. Недавно в Вильнюсе одна женщина, волоском сшивающая блузки из засушенных жасминовых лепестков, спросила меня, люблю ли я бывать на природе. Одна — нет. Одна — точно нет. Я ответила ей, что тогда долетающий издали собачий лай кажется мне таинственным, каждая травинка начинает жить самостоятельной жизнью, а небо над головой захлопывается, словно фиолетовый чемодан с двойным дном, в котором спрятаны апокалиптически опасные вещи. В глаз влетела мошка, и теперь он чесался. Слева тянулась ограда кладбища, и странно было знать, что именно здесь лежит в белом гробу девочка с большим молитвенником, моя кровиночка.

Справа краснел краеведческий музей. Когда я подходила к курившей в дверях женщине, она показалась мне серой

мышкой, которая каждое утро обтирает шкуркой наскучившие экспонаты своей западни, уже не цепляясь за них взглядом. Но когда я приблизилась, сразу бросилось в глаза, что о женщине ничего не скажешь. На ногтях — лак сочного вишневого цвета, на щиколотке — серебряная цепочка. Название улицы — Шермукшню, Рябиновая, — она произнесла шепеляво, пробудив в памяти немецкое слово *verführen*: соблазнять. Я давно заметила, что шепелявость и даже косоглазие иногда производят странное эротическое действие.

— Берегитесь, слева пруд, — сказала она, махнув рукой в сторону Рябиновой улицы. — Мы его называем Королевским глазом. Там глубина — три метра, а издали выглядит как луг, совсем зарос.

Уходя, я подумала, что эта женщина могла продержаться в музее только лето (в глазах у нее тоже была глубина — три метра).

Эмилия встретила меня в саду, одетая в старый, но все еще белый халат медсестры. Лицом она нисколько не походила на деда, но, когда она велела не разуваться и заварила чай, я почувствовала себя как дома. Одноэтажное ее жилье мы так и не обошли, я только видела, что на старинной печке сидели две кошки. А в "захлебнувшемся сливами саду" мешал цемент голый до пояса мужчина. Она стала рассказывать о себе так, словно мы давненько не виделись. На самом-то деле я ее никогда не видела, даже на семейных фотографиях. Эмилия работала в местной больнице, в отделении гемодиализа. Больных с не работающими почками чистить кровь привозили близкие. Мужья, обычно очень вежливые и испуганные, жен провожали самое большее два-три раза. Потом жены начинали им напоминать треснувшие и противно пожелтевшие груши. Никто не виноват, сказала Эмилия, так природой устроено, я давно поняла, что мужчина женщину любит до тех пор, пока она желанна. А женщины иногда любят мужчин и после их смерти. Жены провожали мужей на процедуры, иногда длившиеся по четыре часа, до самой их смерти, если не находилось донора почки и положение было безнадежным. Люди — и мужчины, и женщины — одинаково плакали, когда вены и артерии на руках и ногах были так исколоты, что не найдешь, куда воткнуть иглу. Но Эмилия была опытной, рано или поздно подходящее место высматривала. Она скептически относилась к перитонеальному диализу из-за частых инфекций. Хотя ясно, что можно эту процедуру проводить дома... Полгода назад она еще работала в каунасской клинике. Ричардас — она махнула через окно на мешавшего цемент мужчину — тогда вкалывал в Ирландии на рыбном заводе.

— Осенью выхожу замуж. Надоело из Каунаса на выходные ездить. То на то и выходило. У меня был роман с врачом из другого отделения. Я спала с ним, а он — и с другими медсестрами. До самого конца этой истории почему-то не могла себя заставить сказать ему "ты", обращалась на "вы".

Ему и его дети говорили “вы”. Один раз мы занимались любовью в его старом “мерсе”. Зимой. Открываю глаза, рядом сопит человек, воняет тряпка, которой протирают стекла. У начала лесной дорожки заметенный указатель — “Католический детский летний лагерь”. Мне надо было чувствовать, что я молода, что у меня обе почки действуют, надо было чувствовать, что я живу. Позади указателя заснеженный ельник, заячьи и собачьи следы, снег облит кофе из нашего термоса, дальше — предместье, Каунас, люди, звуки, но мне показалось, что за этим указателем ничего нет... Что там только туман и небо, понимаешь? Вдруг мне стало ясно, что я больше не смогу говорить этому врачу “вы”. Да и не понадобится, потому что я больше не люблю его. Когда вернулся Ричардас и я уже работала здесь, он еще раз позвонил, ночью, из каунасского казино. Пьяный, но не сильно. Эмилия, говорит, ты всегда знала, чего хочешь, хотя я тебя до конца не понимал, быстро скажи, на какой цвет ставить, на красный или на черный, назови любое, но счастливое число. Рядом лежит Ричардас. Я шепчу: цвет — красный, номер — семь. И обязательно позвоните, доктор, другим медсестрам, не стоит рисковать, узнав только одно мнение... А мой Ричардас сквозь сон бормочет, какая ответственная у тебя работа, Эмилик, ночью в лаборатории они без тебя совсем запутались в пузырьках.

— Эмилия, — говорю, — любовь длится три года. Как и тюремный срок. Потом возвращаются домой.

— Откуда ты знаешь? — спрашивает она.

— От французских писателей, — говорю.

— Ты только не сердись, знаешь, я литературой совсем не интересуюсь. Мне лучше давалась химия. Я читала, что здесь, в усадьбе, происходит этот форум, но не пойду. Разве что вечером, музыку послушать. В больнице я так устаю, что газету не всегда могу полистать. Кроме того, вечером сливы закатывать будем. И мед убрать надо. Мед осенью нам даже немножко помогает концы с концами свести. Вот моя сестра, может, стала бы изучать литературу. Но ей было не успеть, умерла двенадцатилетней. Когда она уже сильно болела, мать всю местную библиотеку домой перетаскала, потом унесла обратно. Родители и нашли ее утром мертвую с книгой. С этой книгой и похоронили — 1972 год, “Голод. Пан. Виктория”. Соседи, дураки, говорили: Бога совсем не боится, сунуть девочке в руки роман вместо молитвенника... — но матери было наплевать. Женщины, которые хоронят своих детей, вместе с ними и Бога закапывают. Кроме того, ей, может, спокойнее было себе представлять, что сестра эту книгу дочитает в раю. Смерть моей сестры повлияла на то, как я сегодня живу. Хотя, может, и не смерть, я слишком мала была, чтобы понять, может, больные повлияли. Ричардас думает совсем по-другому. Для него не существует прошлого, только то, что будет. Привез из Ирландии денег, пристраивает теперь к дому

еще комнату с отдельным входом, говорит, для ребенка. Он не знает, что, пока он был в Ирландии, мне сделали операцию, и детей у меня, наверное, не будет.

Ни на одной из фотографий, которые мне показала Эмилия, не было деда вместе с братом. Словно они и в воспоминаниях могли жить, только соперничая. Но в альбоме была та самая фотография, которую я подростком от страха разорвала: в белом гробу лежит девочка с деревянными косами и книгой Гамсуна в руках, а рядом пережившие ее смерть мать и фикус.

Потом мы вышли в сад, Эмилия захотела нарвать для меня слив и налить литровую банку меда. Так и не познакомив меня с Ричардасом, она забралась на приставную лестницу, поставила мне на голову эмалированную миску — я одной рукой ее придерживала, уперев другую в бок, и казалась себе женщиной с этикеток советского молдавского вина. Разомлевшая кошка терлась головой о мою голень. Сливы шлепались прямо на макушку. Прилетевший откуда-то крохотный мотылек стал решительно и бестолково носиться над нами — клочок бумаги на легком ветерке. Покрутившись, он сел ей на грудь, немного отдохнул, потом вспорхнул и скрылся из глаз. Мотылек улетел — и мне показалось, что я могу предугадать дальнейшую судьбу Эмилии. Ричардас закончит пристройку к дому, но не найдет работы в этом городке. Он снова уедет в Ирландию, потому что там остались все деловые связи. Будет стоять у конвейера, фасовать мороженую рыбу и через полгода почувствует, что стынет сердце. Однажды вечером выйдет из пивного бара и захочет есть, в другом кафе познакомится с женщиной, на год приехавшей из Литвы поработать в гостинице, чтобы поставить красивый памятник погибшему в аварии сыну. Он проводит ее до дома, по дороге расскажет про пристройку, про оскудевшую жизнь в Литве и даже про Эмилию. На другой день или еще через день он получит от расхрабрившейся на расстоянии Эмилии письмо, в котором та признается, что не может иметь детей и, не сказав ему об этом, чувствует себя виноватой. Он вспомнит пространство городка — то, что его ждало и словно было его домом, — сад, "захлебнувшийся сливами", осенью — мед, Эмилию, старые белые халаты, расстеленные дома на полу вместо тряпок, и...

— Ну, может, хватит? — спросила из веток Эмилия.

Халат она скинула и обвязала им голову от пчел. Наклонившись, смотрела на меня сбоку. Я убрала миску, взглянула наверх и поняла, что она мне кого-то напоминает: белое не загоревшее лицо вполоборота, пухлые влажные губы, никакого прошлого — одно ожидание (хотя сама она и думает по-другому), вместо волос — складки белой ткани... С дерева, сквозь ветки, на меня большими глазами смотрела вермееровская девушка с жемчужной сережкой. Только вместо жемчужины у самого уха висела, чуть подрагивая, тяжелая, опаловой дымкой подернутая слива.

Потом мы сходили на кладбище. Я несла мешочек со сливами и литровую банку меда и старалась запомнить могилу сестры Эмилии, хотя в таких местах мне всегда кажется, что еще раз я здесь не побываю. Родня лежала в земле несколькими слоями, но, кроме дедова брата, я не помнила, кто кем кому доводился. У могилы росла липа. Памятник потемнел от липового сока — странно, потому что был уже конец августа. Видно, июльский сироп год за годом впитывался в камень. На прощанье мы поцеловались, и мне снова почудилось, будто я касаюсь губами только что написанной масляными красками теплой картины.

Обратно я вернулась быстрее, чем дошла туда, и другой дорогой. Наверное, в парке за это время прошел дождь, потому что по обеим сторонам от тропинки желтели слипшиеся полосы сбитых лепестков. Теоретически вполне возможно, что и дед с братом здесь ходили. Хотя вряд ли. Деревенским жителям некогда прогуливаться ради удовольствия, нет у них такой привычки.

Увидев за деревьями стену усадьбы, я сразу повернула в ту сторону — по тропинке, но почти напролом через кусты. Очень давно здесь, скорее всего, была аллея. В конце тропинки стоял облупившийся и выцветший, никакой службы не несущий шлагбаум. Я пролезла под ним, потому что вокруг, словно замки с резными крышами, высилась крапива. Пестро раскрашенные шлагбаумы мне всегда напоминают пунктирную линию: отрежьте здесь — как на присланных по почте счетах. В верхней части таких документов бывает общая информация, а под линией отреза — дата, счет за телефон, подсчитанные местные и междугородние разговоры ошеломляющей длительности. Словом, под пунктирной линией мало волнующие абстрактные предметы оборачиваются раздражающим настоящим временем.

✂- -

Идя через луг, я уже издали заметила двух журналистов с камерой, установленной прямо на траве. “Спасибо, что не опоздала”, — насмешливо поблагодарила меня подруга, приехавшая сюда из Аникшчяй. Меня сразу начала грызть совесть. Я знала, что сама она никуда не опаздывала, хотя дома оставила девочку нескольких месяцев от роду, для которой заморозила кубиками свое молоко. На два дня, чтобы можно было спокойно работать на форуме. Ее муж по частям размораживал молоко и поил им ребенка. Подруга была уверена, что детей надо кормить материнским молоком самое меньшее полгода, тогда они до трех лет ничем не болеют. Знакомый поэт пил кофе из пластмассовой чашки, из кармана его пиджака свисал мужской носок. Я задолжала ему пять литов и одну цитату, но даже не взглянула на него. Поэтов я не люблю за то, что они чаще всего из многодетных семей и ненадежные: несколько детей в нескольких городах от нескольких любящих стихи женщин.

От страха, не зная, как точнее сформулировать пятый

критерий текста, я забыла поздороваться с журналистами. Шагала через луг по направлению к заранее почему-то включенной камере, словно меня там ждала награда. (Окорок, завернутый в газету.) Остановилась только тогда, когда идти стало некуда, потому что я губами ткнулась в стекло объектива. Прилипла к нему так, как улитки прилипают к коре, и без обязательного для такого случая вступления зашептала последний из своих критериев текста:

— Пятый. Хороший текст должен притягивать, заставлять раз за разом к нему возвращаться. Так тянут к себе старые парки. В них всегда можно заблудиться. Но, не обращая внимания на переплетающиеся тропинки, на доносящийся издали таинственный собачий лай, на поднимающийся над цветами туман, на заросший пруд, на захлопнувшийся над головой фиолетовый чемодан с опасными предметами и крапивные замки, тащишься вперед, явственно ощущая, что там, где надо, тебя ждет нечто не менее важное, чем развязка. Вроде твоей кровной родни, которой ты до тех пор совсем или почти совсем не знала.

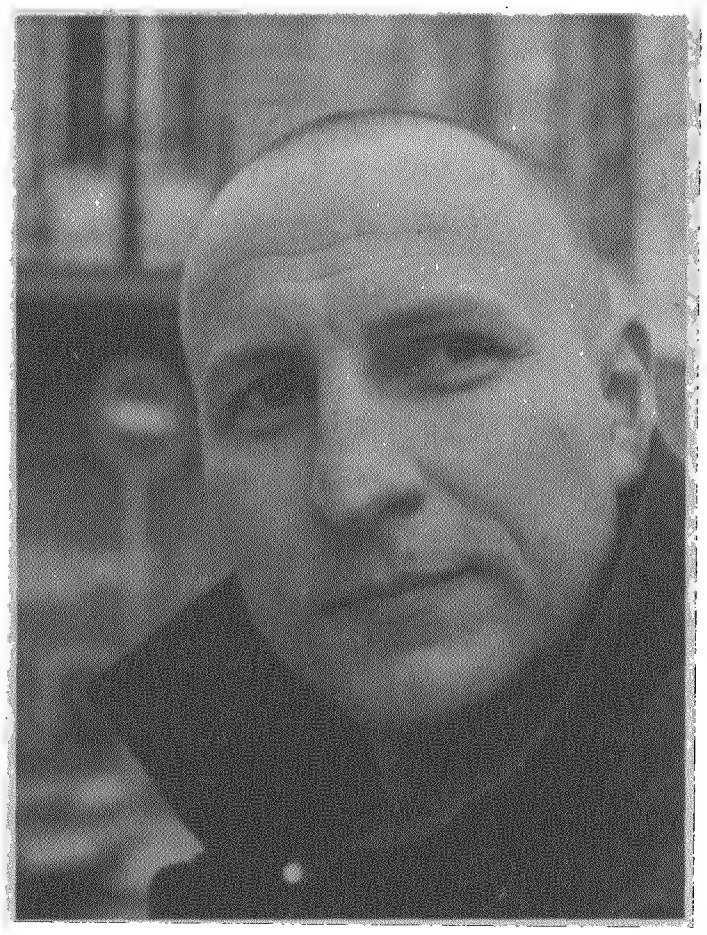
Мужчина за камерой после этих слов остался стоять, где стоял. И не такую чушь люди теперь болтают по телевизору, чтобы их лучше запомнили. Один певец, я сама слышала, рассказывал даже, что ему больше всего нравится заниматься любовью с подругой в сумерках, сидя и распевая песню "...хотя нас в мире всего три миллиона". Потом на глазах у журналистов и у любимой он стянул с себя дизайнерские подштанники. Но стоящую рядом журналистку я все же несколько смутила. Она видела, что я — уже немолодая, нефотогеничная, помятая (только что пролезла под шлагбаумом) и немного... нервная. Она по-матерински взяла меня за локоть, потянула за собой, увела на несколько шагов от объектива и попросила: "Может, вернемся от теоретических аспектов к этому форуму. Наверное, у вас есть какие-то совершенно личные, искренние впечатления от этого праздника. С прошлого года или, может быть, еще более ранние". Сразу стало легче, речь полилась гладко, страх пропал:

— В последние дни я все думаю и думаю о бесконечном дне северного лета... Помню, два года назад время бежало очень быстро, несравненно быстрее, чем теперь, не успеешь оглянуться — и лето пролетело. Это было два года назад, в 1855-м, а теперь я для собственного удовольствия хочу написать обо всем, что мне тогда довелось пережить, а может, только приснилось...

Уже называя год, я сообразила, что говорю не своими словами. Это были записи лейтенанта Тома Глана. "Пан", самое начало. С этой книгой в руках здесь похоронили сестру Эмилии. Мне вдруг до смерти захотелось рассказать про эту девочку журналистке. Вот и были бы совершенно личные, искренние впечатления от этого праздника... От более раннего... Я взглянула на журналистку, но она смотрела на

оператора. Улыбаться перестала. Не ощущая жизненно необходимой поддержки, я совсем растерялась. Желая увернуться от глаза камеры, издали удивительно похожего на дупло, я наклонилась. Потрогала изумрудную траву — она была жесткая на ощупь. Я видела четыре ноги двух людей, казалось, принадлежавшие одному существу. Вокруг не было ни кочки, ни пучка сена, ни одного высохшего клочка. Тогда я поспешно, не распрямляясь, отодрала ногтями от литровой банки выскальзывающую пластмассовую крышку, сунула четыре пальца в подаренный Эмилией мед, который осенью помогал ей свести концы с концами, подцепила добрую горсть и замазала объектив. (Сделала точно так, как в старину делали люди в странах Востока, когда рассказывали дереву тайну, желая задушить ее в темноте.)

Сигитас Парульскис



Жертвоприношение

Перевод Татьяны Корнеевой-Мацейнене

Здесь сходятся все полюбившиеся мне персонажи, весь трансцендентный и имманентный жизненный опыт, все переживания: Иисус Христос, Отец, Мать, Сын, невинность и грех, любовь и ее пустота, суета — и не в вульгарном смысле этого слова, а в смысле полной опустошенности, — материальность пустоты и ее противоположность, возможность нащупать духовное начало, хотя бы в знак того, что оно есть в неизъяснимом пространстве, есть где-то рядом, как смерть и упраздненное воскресение. Ритуал, смысл которого я никогда не пойму до конца и значение которого тонет в повседневных мелочах, однако не менее важный, чем цикличность природы, осознание — хотя бы мгновенное — структуры мира, тоска по всему, что постоянно утрачивается, тоска, преследующая и истощающая сознание до неимоверного сияния — сияния, изглаживающего иерархию образов, да и вообще — порядок и достоверность.

Не хочу, даже и желая того — не могу воспринимать это как священнодействие, хотя отец со старым проржавевшим ножом и брагой из местной пивоварни, а также с замызганными хлевным навозом веревками в руках напоминает мне героя Ветхого Завета, может быть, даже самого Авраама, а я, идущий в загон к обреченному животному — свинье, чувствую себя Исааком, и, пока отец связывает ноги свиньи веревками, что-

© Sigitas Parulskis, 2002
© Татьяна Корнеева-Мацейнене. Перевод, 2015
Фото Альгимантаса Жижюнаса.

бы мы могли ее опрокинуть, на меня, прямо-таки сковывая члены, действует могучая сила, тысячелетиями требующая жертвоприношений... И перед лицом этой силы не так уж и важно, что свиней режут всегда, точно так же зарезан мог бы быть и я сам или принесен в жертву отец — в этом треугольнике жертвоприношения, преисполненном жестокости традиций и обычаев, мы, все трое, равны.

В родительском доме я всегда чувствую себя гостем, может, даже немного чужаком, посторонним, приехавшим ненадолго и надолго уезжающим, и, чего доброго, только обращения к отцу, матери — только обращения делают меня сыном этих людей, которых я называю отцом и матерью. Кровь — огромная сила, но разве только кровь нас связывает? Кровь свиньи? Кровь дома? Матери? Кровь полуголой женщины с рассеченной головой, кровь, капающая на снег, — какую ослепляющую белизну помнит снег, отведавший крови, а позднее — с невероятной скоростью заполняющий большую миску с холодной колодезной водой, кровь, ее так много, что, кажется, вода превратилась в кровь, и скоро она начнет беспрерывно хлестать через край; полный таз материнской крови; наклонившись над ним, она словно приносит жертву, и нет таких безвинных слез, которые могли бы смыть эту картину, нет ритуала — который мог бы ее оправдать. Эхо первородного греха, греха, обретенного с кровью рожающей матери. Человек с ранних лет может стать учеником Христа, однако как коснеющая в традиции животная особь он не имеет выбора.

Родители стареют, старение их трудно заметить, трудно сравнить их с ними же самими, какими они были столько-то и столько-то лет назад, но всякий раз агония заклannой свиньи удлиняется, и по этой затянувшейся агонии — ужасающему прощанию жизненного процесса с жизнью, сопровождаемому всплесками визга, — я понимаю: отец постарел, из рук ушла сила, он уже не может достигнуть сердца свиньи, а я — я могу убивать только словами.

Ничего, действительно ничего священного — мама неверным шагом ходит по недавно заснеженному двору с мисками и ведрами, куда будут складывать внутренности свиньи: исходящие паром, сереющие, отливающие синевой кишки, печень, легкие, почки... Раньше, когда еще зимы были богаты снегом, отрезанную голову свиньи клали прямо в сугроб, чтобы снег вытянул кровь и тепло из освежеванной туши. Теперь, когда снега все меньше и меньше, его заменяет большой, темно-зеленый эмалированный таз с холодной водой, которая, когда в нее окунают голову, мгновенно превращается в темно-кровавую жидкость.

Все-таки это напоминает ритуал: отец запрягает кобылку Ширмойи, ибо последнюю свинью (их уже больше не будет) забили прямо в загоне и, чтобы вытащить ее оттуда, потребовалась лошадиная сила; потом отец взбирается на се-

новал в хлеву и подает мне старые двери — они служат алтарным столом, на котором будет принесена в жертву освежеванная туша, ее опаляют, отмывают, отскабливают ножом до желтоватой белизны, а после — разделывают. Трудно сказать, когда именно действия, напоминающие ритуал, приобретают характер сакральности: может тогда, когда тушу свиньи взгромоздили на двери и мы с отцом закурили, или в то время, когда по двору разнеслась вонь горящей щетины, а может, после традиционных маминых слов "бедненькая животинка". Или тогда, когда небесная невеста — негритянка Мария, черным-черная опаленная свинья — лежит вверх ногами и нож отца, ранее опущенный в горячую воду, оставляет первую желтовато-белую полоску у опаленных, от жара сжавшихся сосков, так и не испытавших восторженного трепета материнства. А у меня все еще дрожат руки от напряжения, с которым пришлось держать опрокинутую на бок свинью, чьи ноги были связаны веревками, пока отец ножом искал сердце. И, само собой, от криков агонии.

Мое сознание, заполненное руинами знаний и извращенное искушениями интеллекта, — вот что более всего виновато в том, что обычное закалывание свиньи бродит по фантасмагорическим каналам ассоциаций. Вот отец раскаляет копыта свиньи, они блестят, как уголь, и, когда отец круговым профессиональным движением запястья выдергивает их и, почти горящие (мне совершенно непонятно, как он не обжигает рук), резко отбрасывает прочь, я всегда припоминаю "Распятие" Матиаса Грюневальда: страшно вытянутые вверх пальцы умирающего Христа, так бессильно и вместе с тем с упреком устремленные к небу — почему-то, несмотря на гелиоцентрическую систему Коперника, я все равно думаю, что Бог наверху, даже если этот "верх" совсем рядом.

А когда отец, закончив ритуал скобления и обмывания свиньи-невесты (она сегодня венчается со смертью, это может подтвердить и ржание апокалиптического коня Ширмойи в хлеву), отрубает ей голову (обезглавленный Иоанн Креститель всякий раз собирает рыбаков возле подернутого тонким льдом озера для исполнения апостольской миссии), появляются и первые христиане, изголодавшиеся по крови Спасителя — ватага котов, жадно лакающих темно-красные лужицы, текущие из-под снега медленно, но упорно; одному котенку кровь все капает и капает прямо на голову, а он всякий раз так смешно ее стряхивает, словно хочет избавиться от чувства вины. Стряхивает, но не отступает.

Где я и каким они, мои родители, меня видят, существую ли я для них в тех пробелах пространства и времени, между редкими телефонными звонками или еще более редкими посещениями их дома, или, наоборот, — где они для меня, можно ли те пространственные и временные просеки заполнить банальными фраза-

ми “соскучился без вас”, “думал о вас”? Стоит ли поднимать такие мазохистские вопросы?

Но почему такими страшными бывают угощения (и вообще пребывание в гостях у родителей) после заклания свиньи, когда у хлева остается лишь снежно-кровавая каша, по которой ковыляют бродячий пес и несколько наглых ворон, а привязанный у своего жилища полусеттер, получерт-знает-кто, Спрагтукас, сходит с ума, потому что не может добраться до галок, устроившихся на клене, а может, и до тех самых призрачных каркающих ворон, ибо тьма так быстро вырастает сама из себя и так быстро стирает видовые различия явлений и предметов мира, что кажется, будто даже голос собаки начинает застревать и, наконец, окончательно запутывается и исчезает в ее неуютных погребальных одеяниях.

И тогда больше всего хочется убежать — от крови и запаха жертвы, от усталости и долгого послеобеденного, с трудом перевариваемого обильного угощения в родительском доме, словно где-то существует другая, качественно другая жизнь, уютные мгновения, по которым тоскуешь. Если я и могу любить родителей, то лишь жестокой остраненной любовью, ибо нет этого “где-то”, и я все равно хочу убежать и бегу от покрытых язвами, прямо поживому гниющих отцовских ног, от изъеденных кислотой и до крови потрескавшихся материнских рук, от их не назойливой, но самой настоящей заботы обо мне — о том, чтобы мне не было холодно спать, чтобы я вкусно и досыта поел, чтобы в моей жизни все было хорошо.

Бежать не потому, что мне неприятны их болезни, знаки их старости, мелкие пороки, а иногда и детские капризы, — я не могу их любить вблизи, мне необходима проклятая дистанция, территория воображения, где живут умершие символы и где на омерзительном алтаре, находящемся между действительностью и идеалом, происходит беспрерывный, бессмысленный ритуал жертвоприношения. Фрейд? Но я никогда не отождествлял мать с Пресвятой Девой, никогда не испытывал ужаса оттого, что моя мать, по словам философа, — всего лишь шлюха моего отца. И даже в самые мрачные периоды истории нашей семьи я не хотел убить отца, даже напротив — еще больше любил его и скучал по нему там, в том нереальном пространстве проклятых символов и непрекращающихся напрасных жертвоприношений. Даже более того — ибо и свой дом, и свои храмы я строил на песке, и страшно было их разрушение.

А двери в иной мир мать уже вымыла, мы с отцом отнесли их в хлев, на чердак, где вечность дышит затхлым прошлогодним сеном.

Однажды я их заснял: отца, режущего свинью, механическим сепаратором отделяющего сливки, и мать, колдующую над плитой, изготавливающую творог, потом — домашние сыры; едящих за столом, бранящих пса Спрагтукаса, пе-

ребрасывающихся словами. Они не поняли, что такое видеокамера, слово "снимать" для них связано с кино, телевидением, с тем, что происходит где-то по ту сторону экрана, но не здесь, не с ними.

Никогда я не видел и, должно быть, уже никогда не увижу своих родителей такими, как тогда, когда я — позднее — привез видеомагнетофон и показал им их самих: они смеялись, вскрикивали, толкали друг друга, как дети, сердились и снова смеялись, потешались друг над другом и все показывали мне — посмотри, это же мы, это нас показывают! Верю, что в то время, в то жалкое видео-время, они снова любили друг друга так, как когда-то в юности, когда хотели жить вместе, когда вожделели друг друга, мечтали иметь детей, сына.

Заключительный план этой пленки (снимал я уже перед отъездом и — как же без символики! — из комнаты, через стекло): у сарайчика отец топором рубит ребра свиньи, а мама, припав на колени у колоды, придерживает их, чтобы не упали на землю. А ведь на самом деле на этой колоде должна бы лежать моя голова.

Юлюс Саснаускас

Вкус мацы

Перевод Томаса Чепайтиса

Не скажу точно, сколько лет подряд составители нашего "Католического календаря" 23 сентября, день Холокоста, "сдабривали" рекомендацией: "Желательно помолиться о том, чтобы человек не был жесток к ближнему своему". Правда, сейчас этой фразы уже нет, изъяли. А раньше я все ругался по радио: пусть сопроводят тем же напутствием и 14 июня[1], и 13 января[2]. Может, редакторы меня услышали, а может — сами одумались, или просто фраза им надоела. С недавних пор католики Литвы могут в этот день наслаждаться свободой мысли и молитвы. Хошь — молись, хошь — и вовсе не молись, если не молится.

Мне чаще всего просто не молится. Не только в этой интенции[1] — чтобы люди не были так жестоки. Чего мы вообще вправе просить у Господа — если вспомнить, что творили с еврейским народом у нас и повсюду вокруг? Я никогда не сумею — да и все мы вместе не сумеем — оплакать эти сгорбленные, в лохмотьях, фигурки, воплощения чистой скорби, согнанные по вильнюсским улочкам в Понары на массовую бой-

© Julius Sasnauskas
© Томас Чепайтис. Перевод, 2015

Фото Арунаса Балтенаса.

1. В Литве — День траура и надежды. В этот день в 1941 г. начались массовые депортации литовцев в Сибирь. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. В Литве — День борцов за свободу. В этот день в 1991 г. погибло 14 человек, защищавших здание Комитета радио и телевещания Литвы.

1. Интенция в католичестве (*лат. intentio* "стремление") — то, о чем кто-либо просит в молитве. В данном случае "в интенции календаря" просят о том, чтобы человек не был жесток и т. д.

ню. Из теплушек, бывало, возвращались, но из той процессии и из других таких же процессий не вернулся никто и никогда. Вымолить им Вечный покой? Если Господь рискнул взять себе имя Спасителя, он сам должен бы собрать души убитых, особенно души невинных жертвенных агнцев. Каплями невинной крови, словно вотумами[1], украсить стены Царствия Небесного. Мы слишком малы, слишком никчемны, чтобы смотреть им в глаза. Я мог бы просить у Небес только вечного беспокойства нам, живущим на этой земле, в этом городе, окутанном ласковыми еврейскими эпитетами и за несколько месяцев пожравшем все, что тут было еврейского, всех до последнего детей этого народа, как будто жизнь их была ошибкой, недоразумением, злом.

Ты мог и не служить в батальоне СС, ни разу не выстрелить, никого не предать — и все равно зарыдаешь "Господи, помилуй!", заглянув в кварталы, где когда-то бурлила их жизнь, теснились их лавочки, их шкалы[2], их синагоги, от которых не осталось и камня на камне. Мой любимый город никогда не будет таким, каким был бы, если бы у него не отняли его еврейскую историю. Вылезающие то там то тут из-под штукатурки и краски письмена на иврите и идише не устанут преследовать нас вечным упреком, ведь мы не сумели защитить этих людей, не сумели даже вступиться за тех, кто столетиями мирно и трудолюбиво строил здесь свою жизнь.

Не о жестокости речь. Не помню, в чьем дневнике мне довелось прочесть записи 1942 года. Война, оккупация, не хватает дров и хлеба. Темный, холодный Вильнюс. Стакан чаю с повидлом или кусочком сахара становится праздником. Дневник отмечает все, каждую мелочь интеллигентской жизни. Ищу известий о происходящем в городе за пределами крошечной квартирки. Ни слова, ни малейшей заметки. Снова чай, разговоры о быте, попытки отвоевать хотя бы чуточку уюта и безопасности. Гетто — вот оно, через улицу. Никто ничего не видел, не слышал, не хотел видеть и слышать. Боялся даже намека, не дай Бог развалится его мнимо спокойный домик? Втихомолку молился о том, чтобы человек не был жесток к ближнему своему?

В других литовских городках, бывших штетлях, когда я беседовал со свидетелями тех событий, меня тоже не раз поражали лакуны, провалы в памяти там, где впору было бы до скончания века вздрагивать от ужаса. В километре от твоего дома зарезано и свалено во рвы несколько тысяч твоих соседей, а в памяти ничего не осталось. Кошмары не мучают? Нет, не жалуемся. Да, в городке поговаривали, что всех евреев собрали и расстреляли. А немецкие солдаты были веселы и находчивы, одаривали детей шоколадками, пахли мылом, иной еще и

1. Вотум — вотивный дар: сердца, руки, ноги — таблички, сделанные из дорогих металлов, которые вешают в алтаре в знак благодарности за услышанные молитвы.
2. Škala или iškala — так в Литве называли *бейт ха мидраш*.

на губной гармошке изображал что-нибудь романтическое. Приходилось прятать от них кур и сало... Страшнее преступлений литовских стрелков мне кажется то, что многие тогда верили: твоему народу, тебе, соседям можно жить, рассуждать о свободе, даже чувствовать себя счастливым, списывая со счетов — от страха, от тупого безразличия — других, иноверцев, якобы не заслуживших места под солнцем. Пусть их вертятся шестеренки фабрики смерти, все равно их не остановишь, а нам надо жить, сохранить себя как народ, восстановить государство. Чай стал горчить лишь спустя несколько лет, с приближением фронта и Красной армии, тут-то вспомнились пытки, застенки, ссылки, уготованные тебе самому. И когда поднимали бокалы за новый 1944 год, шампанское уже мешалось со слезами, уже начались рефлексии, поиски способов выкрутиться.

Понимаю, нет ничего легче и глупее, чем задним числом выносить вердикты: мол, кто-то мог бы стать героем или святым, а заботился лишь о своей шкуре. Всяк горазд языком молоть, если не приходится ставить на карту собственную жизнь. Но я не верю, что те, кто все же не закрыл глаза на судьбу гонимого народа, были непобедимыми храбрецами и героями. На подобные "мероприятия" идут не размышляя, *как на духу, от невозможности* поступить иначе. Почему в христианском народе, который днем и ночью пичкали евангельскими заповедями, нашлось так мало решимости заступиться за этих несчастных? Ну, а сейчас, после всех пережитых нами мук и гонений, стали ли мы иными? Может ли тут родиться хотя бы чуть более твердое "не могу" перед лицом несправедливости и насилия?

Много лет назад, на тогдашнем проспекте Ленина, соседи-евреи угостили меня праздничной мацой. Переехав, мы все время оказывались рядом с ними, чудом уцелевшими или переселившимися из других мест и еще не эмигрировавшими в Израиль. На скамеечках теперешнего "французского парка" еще можно было услышать разговоры на идише, в доме напротив него мы делили кухню с пани Сувальской, потом с интеллигентной Раей, а в классе всех веселил круглолицый Лазарь, позже уехавший на родину предков. Да, о маце — в детстве это была обычная история, когда целый день носишься по лестничной клетке, а тебя вдруг заметят, заговорят с тобою, когда случайно "врежешься" во взрослых, а тебя вдруг окатят волной нежности и щедрости. В таком вот порыве добрых чувств соседка, улыбаясь, как-то зазвала меня к себе, стала рассказывать что-то о своих традициях, а под конец дала большой хрустящий хлебец. Он не был вкуснее черного хлеба, посыпанного сахаром, я ел его, поначалу несмело, но с каждым куском все меньше верил, что руки, протянувшие мне этот хлебец, могут быть коварными или недобрыми.

Слава Всевышнему, скажу я теперь, что среди всего перепробованного в детстве был

и этот необычный хлеб наших соседей, часть иного — и все же здешнего — мира, страшившая своей инаковостью и в час милости Божьей показавшая, что жизнь и здесь, и там достойна той же нежности и ласки. Не знаю, хватило ли бы у меня сейчас смелости пришить звезду Давида, если бы мимо меня по узким закоулкам Вильны гнали толпу обреченных. Но если бы не вкус мацы моего детства, я вряд ли смог бы до конца осознать, что потерял этот город, похоронив несколько столетий его еврейской истории. От скорби теряешь дар речи — и тщетно пытаешься сложить на этом месте, у оврага в Понарах, слова молитвы.

Даля Стапонкуте

Литовское лето и кипрская реальность: Грустная история личного мифа

Фрагменты романа-эссе “Из двух выбираю третье”

Перевод Ольги Лемперт *под редакцией* Ларисы Поляковой

...Переехав на Кипр, я осторожно, привередливо приручала остров, тщательно оценивая каждое его проявление, влиявшее на меня, и каждую новость, которая такое влияние могла бы оказать. Я то восставала против реальности маленького сообщества, то смирялась с ней. Пока, наконец, не осознала, что противостояние другой культуре не придает сил, а лишь ослабляет. Литва всегда была закрытым для других местом в моей душе. Она — моя пристань. В ней коренится моя уверенность в себе. Она — мой секрет, тайник, куда я сложила самые красивые лепестки, прижала цветным осколком и засыпала землей. Потом я вновь раскопала тайник, сдула пыль со стекла и любовалась необычной, немного неестественной красотой моих лепестков. В этом “откапывании” было что-то бессмысленное, даже абсурдное, но неизбежное. В детстве мы с подругами называли эти игры *секретиками*. “Хочешь, покажу тебе *секретик*?” — “Покажи”. И мы показывали и восхищались эффектом, произведенным миниатюрным аквариумом где-нибудь в туннеле многоэтажки, а затем все это немедленно уничтожали, пото-

© Dalia Staponkutė, 2014
© Ольга Лемперт. Перевод, 2015

му что показанная тайна переставала быть тайной. К тому же мы не доверяли друг другу. Если не разрушить после того, как показала подруге, то она сама тайком сделает то же самое, да еще и соврет, что это сделал кто-то другой. Такие были правила.

Если у тебя много секретов и тайников, кому-то очень приятно их отыскать, разломать, опубликовать, развенчать, обнажить, отобрать у тебя неоспоримое право владычицы и хозяйки *секретика*. На Кипре я могла быть спокойна. Никто не мешал мне "единовластно" владеть секретом Литвы. Периферийное равнодушие острова оказалось мне на руку: Литва никому не была здесь нужна, точно так же, как Кипр не нужен был Литве. Литва и Кипр были и остались странами малознакомыми не только друг другу, но и всему остальному миру, и, может быть, именно поэтому они и сами по себе все еще остаются загадочными.

Положение единственной "владычицы секрета" на Кипре наводило на меня меланхолию, но не могу назвать это состояние неприятным. Иногда хранить тайны так заманчиво. Так притягательно. Думая о киприотах, я чувствую, что им тоже хорошо знакома тайна тоски по родине, неудержимая потребность сохранить собственное "я" в ностальгической повседневности. Такими чувствами киприотов не удивишь. Мы, малые народы, знаем, что, где и как прятать, чтобы остаться независимыми. Это чувство настолько сильно, что о родине мы можем даже помолчать, если надо. И не то чтобы я очень хотела молчать, но на Кипре меня никто о Литве особо не расспрашивал. Лишь однажды почетный консул Кипра в Литве, назначенный самими литовцами, позвонил мне, чтобы уточнить, на каком языке говорят литовцы и где "теперь" их столица.

Вместе с "незаметной" Литвой я и сама чувствовала себя незаметной, почти невидимкой, и казалось, жизнь проходит мимо, словно прекрасный незнакомец. Хотелось стать иной, другой, чем-то выделиться, добиться признания тех, кто меня окружал, быть вместе с ними, но не потеряться в новом мире, а стать его частью. То была острая необходимость быть понятой и обрести понимание. В культуре другой страны всегда есть что-то пугающе чужое, и, чем больше пытаешься ее понять, тем больше инородного обнаруживаешь в себе. Наверное, такова цена понимания: чтобы понять другого, нужно освободиться от себя и создать себя заново. Еще в студенческие годы в России я поняла, что любой шаг вглубь мира другого человека ведет туда, откуда нет пути назад. Как будто бы жизнь начинается заново, с чистого листа. Tabula rasa[1]. Так открывается новая страница личного мифа. <...>

* * *

Каждое лето Литва встречала двух кипрских девочек[2]. Это нужно было в первую очередь

1. Букв.: чистая доска (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Речь идет о двух дочках автора.

мне. Встречала не абстрактная Литва, а конкретные люди: бабушка, родители, братья, добровольно взявшие на себя эту заботу. Литовская семья молчаливо принимала участие во всех моих "заговорах", возможно потому, что для них история моей эмиграции изначально воспринималась как история успеха, и они в меня верили. Они не говорили "возвращайся" и не делали замечаний в духе "тебе-то хорошо". Долгое время казалось, что все идет так, как надо. Лишь бабушка не считала мою жизнь в другой стране нормальной, и ее мнение было непоколебимо. Уехать можно в другой город за работой получше, но зачем уезжать из своей страны? Бежать нужно только от нищеты. Так ее родственники бежали из межвоенной Литвы в Америку и пропали без вести. Для бабушки жизнь в эмиграции описывалась одним словом: беда. Лучше, чем в Литве, быть нигде не может. Страшно ведь жить на раскаленном камне. А он еще и движется. Таким ей виделся остров Кипр. Я чувствовала и знала, хоть никогда не говорила этого бабушке, что в ее мировосприятии есть что-то глубоко верное и, безусловно, мудрое. Если я когда-либо и принимала чью-либо сторону, то это всегда была ее сторона, бабушкина. И для нее я всегда оставалась той же Даленькой, хоть и вернувшейся "из космоса". Счастливые часы, проведенные в детстве с бабушкой в прекрасной деревне, не прошли бесследно. Детство — святое время. В той литовской бабуле была единственная не воображаемая, а настоящая Литва, которая с ее смертью ушла безвозвратно. С тех пор для меня изменился весь мир, даже мои сны изменились.

Поколение? Разве это магическое слово что-то объясняет? "Поколение" на литовском созвучно слову "рубить". Поколения уходят и сменяются каждый день, возможно, их вовсе нет, как нет и составляющих их людей? Поколения — это и историческое время, и календарные годы. Я чувствую себя человеком той эпохи, которую проживаю, и моя идентичность на данном отрезке времени разноцветна, как коллаж. Я бываю такой, какой требует быть каждая предложенная временем роль: архаичной и средневековой, романтиком девятнадцатого века и программисткой будущего или даже пришелицей с другой планеты. Порой во мне сливаются все эпохи разом, и я вдруг не понимаю себя, словно я какой-то пережиток прошлого или еще не родилась.

Повседневные декорации Кипра и Литвы

Другая страна научила меня подчиняться силам, которые меня превосходят и управляют переменами. Но если я вижу, что эти перемены сужают дорогу, то сопротивляюсь и, оставшись не понятой, сворачиваю в другую сторону. Ничто не меняется быстро, но меняется все и везде. Так было всегда. Меняются Кипр и

Литва, и в будущем наибольшие сложности могут возникнуть между теми людьми, которые меняются, чтобы приспособиться к новой родине, и теми, что любой ценой будут отстаивать свою идентичность. Есть такая закономерность: если ты выбираешь жизнь чужака, то и люди вокруг тебя живут с чужаком.

Я приехала на Кипр не затем, чтобы его не любить. Кипр конца 80-х по сравнению с Литвой казался современным и свежим: это была оправившаяся от войны, полная энергии страна, желающая научиться чему-то новому, как и я. Несмотря на свойственную пришельцу стартовую "пикировку" с местом, я не могла не полюбить эту "прелюдию" к нашей литовской жизни. К тому же я привезла с собой важное бабушкино напутствие: везде живут люди, и я не пропаду, если буду соблюдать несколько правил. Бабушка наставляла меня так: на своем пути я повстречаю больше глупцов, чем мудрецов, а потому надо думать своей головой. Если сильно не повезет в чем-то, не стоит слишком терзаться, нужно искать другой путь. А также помнить, что, если человек предал тебя однажды, он предаст еще раз. В этом случае лучше уйти насовсем во имя pakaj-us — внутреннего покоя. Еще она говорила, что худших времен, чем ее молодость в послевоенной Литве, быть не может, поэтому выход всегда найдется. "Немцы, красные, партизаны..." Если проходимцы не дают житья, лучше с ними делиться тем, что имеешь, и ни о чем не просить. Сами принесут. Умный человек учится у других, а неумный — на своих ошибках.

Эти "правила" порой приносили утешение и даже помогали, особенно в борьбе за место в общественной жизни Кипра. К участию в публичных обсуждениях иностранцы не допускались, к тому же эти дискуссии казалась столь "локальными", что при всем желании я не видела, как в них включиться. Иностранцы на Кипре никогда не были исключением, скорее — правилом, числом они превосходят местных жителей. На острове всегда жило куда больше гостей, чем хозяев. Каково же было самоощущение хозяев? Наверное, они прибегали к самозащите, отмежевываясь, поддерживая особую замкнутость общинной жизни. На Кипре иностранцы жили, наслаждаясь "раем" Средиземноморья, а трудности и общественные прения были привилегией местных жителей. Иностранцы не существовали для местных, а те — для них, они были словно две планеты. Дануте, выпускница университета имени Витовта Великого, которая искала и обрела на Кипре все, чего только может достичь серьезный экономист, заметила, что в стране существует четкое деление на три части: европейскую, русскую и кипрскую. Долгое время Восточная Европа, с точки зрения киприотов, была как бы одной страной и относилась к "русскому лагерю", а настоящими европейцами считались бывшие "меценаты" острова: британцы и все те, кто "вокруг

Брюсселя". Остальные иностранцы на Кипре имели свои собственные аутентичные наименования: американцы были американцами, ливанцы — ливанцами, турки — турками. Есть определенная ирония в том, что, помимо собственной жизни, мне пришлось прожить на острове также и "русскую жизнь" — еще одну, дополнительную. Такой меня видели киприоты с точки зрения расовой, если так можно выразиться, принадлежности. Я знала русский язык, часто работала переводчиком на важных переговорах, внешне была не чернобровой киприоткой и не веснушчатой британкой, и этого хватило для еще одного обертона личного мифа. По мнению киприотов, быть русской — большое преимущество. Русские женщины для киприотов — эталон красоты. "Нашими женщинами детей пугать, — говорил владелец киоска Сотирис. — А эти русские, голубоглазые, эффектные, но опасные..." Сначала я противилась этой "русификации", затем перестала: защищать в чужой стране свою национальную идентичность показалось мне донкихотством. Мифы, которые о нас сочиняют другие, более живучи, чем история наших корней, и зачастую даже время с трудом с ними справляется. Конечно, в кипрском Университете, где я работала, ценили мое литовское происхождение, оно было еще одним плюсом, свидетельствующим об интернациональном духе Университета, но место работы "получше" всегда доставалось грекам. В ответ на вопрос "почему?" я получала подробные электронные письма со множеством приложений и безупречной аргументацией. Мария, моя приятельница-шведка, не ошибалась, когда говорила, что иностранке на Кипре о карьере нечего и мечтать... С другой стороны, отсутствие профессионального выбора со временем превращается в истинную свободу выбора.

Все страны мира обладают периферийными свойствами того или иного оттенка, и людям вроде Одиссея тесно везде, где бы они ни находились. Кипр и Литва. Различий не меньше, чем сходства, поэтому обе мои родины иногда кажутся мне двумя океанами, по которым невозможно проплыть на одной и той же лодке. Обе страны, словно живущие на окраинах Европы диогены[1], охраняют ее восточные границы, будучи при этом и европейцами, и нет. Мы одинаково легки на подъем и закалены политическими сквозняками, бесстрашны и далеко не наивны. Но мы поразному относимся к повседневным заботам, разными глазами видим соседа, дерево, Бога. Как говорится, плачем об одном и том же, а смеемся над разным. Поэтому когда я ощущаю, что канал культурных связей между Кипром и Литвой мелеет и над возможностью моего самовыражения в обеих странах повисает не-

1. Диогены — древнегреческие защитники границ, произошедшие из двух родов: "дио" — два, "генос" — род.

ловкая тишина, волны выносят мой корабль в нейтральные воды, заливы, водопады и лагуны "третьей стороны". Это — метафоры для выдуманных и настоящих, больших и малых городов, куда я отправлялась с рабочими поездками и новыми контрактами в силу неизбежной в наши дни профессиональной миграции.

"Ты везде ищешь мегаполис", — говорил Артурас, когда я его, гостя острова, вела не в традиционную кипрскую таверну, а на шумную дискотеку в самом высоком здании Никосии с бронированными дверьми и неоновой вывеской "Zoo". Если бы я хотела сравнить дискотеки Кипра и Литвы, то именно там нашла бы наибольшее сходство, потому что в их антураже видно одинаковое, отчаянное стремление казаться настоящим большим западным городом. Но если сравнивать, например, такие "приметы публичности", как СМИ, то различия между двумя моими родинами очевидны. Большинство статей в кипрской ежедневной газете можно читать, подобно литературному тексту: это складный рассказ с выводами, с правильно построенными предложениями (в отличие от риторической школы, преобладающей в Литве), там практически нет криминальной хроники. Я пытаюсь пересказать своей подруге Руте, которая не понимает по-гречески и живет "за границей", точнее, "за Зеленой линией", одну из последних криминальных новостей Кипра: "Сегодня вечером в Никосии юноша напал на студентку из Шотландии и, угрожая игрушечным пистолетом, потребовал у нее рюкзак и ноутбук. Та ударила нападавшего рюкзаком по голове, пнула каблуком в пах и убежала. Юношу увезли в больницу". И мы с Рутой, переглянувшись, как заговорщицы, громко прыскаем: киприоты — не преступники, а клоуны... В кипрских газетах не увидишь открытой критики в адрес Церкви, описания скандалов с геями и педофилами, зато часто можно прочесть о мужском насилии в семье, где жена — обычно уроженка другой, "не нормальной", страны. Странно, но нет на Кипре и глянцевых журналов типа литовского журнала "Люди", а на страницах тех, что выходят, преобладающие темы — кулинария, политика и футбол. Когда я, полушутя, предложила одному кипрскому ежемесячнику написать о знаках Зодиака: мол, это популярно во всем мире — они так же почти серьезно спросили: "А что это такое?".

Вид из окон, как ничто другое, выдает различие между моими родинами... Я вижу пальмовую рощу, точнее — рощицу. Для киприотов это роща, для литовцев — рощица. Однако то, что для киприотов — камешек, для литовцев — скала. Для литовцев — озеро, для киприотов — лужа на пути к морю. Посреди парка растет исполинский эвкалипт. На нем круглый год проходят всяческие птичьи слеты, столь шумные, что я давно уже, как святой Франциск, просыпаюсь с их щебетом и наблюдаю красоту занимающегося дня. Птицы собираются, разговаривают и

разлетаются. Бывает, что и дерутся, и тогда побежденный падает на землю с переломанными крыльями и проклеванной грудью. Я хороню этих птиц в парке под эвкалиптом. Я и эвкалипт — фотография на обложке моей первой книги. Над ней дружески посмеялся нью-йоркский фотограф Роландас: "Женщина и дерево Дикавичюса[1]". Может быть, литовцев и впрямь тянет к деревьям. Может быть, они и впрямь "недавно с них слезли", шутят о северных народах эллины. "Греки, будучи язычниками, не жертвовали богам мяса, тем более — людей, а вот в Северной Европе..." — пишут в популярном кипрском журнале.

Если говорить о деревьях, то не случайно лучшие садовники на Кипре — литовцы. Даже под палящим солнцем они не боятся сразиться с опасными розовыми кустами и дикими бугенвиллиями, словно северные Гераклы с мускулистой и белой, как у младенца, грудью. Раз я наблюдала такого Геракла в своем саду. Его звали Ричардас. Ни один киприот не смог бы так вычистить сад. Любопытные соседи тоже подглядывали, а потом расспрашивали меня, где я взяла такого садовника: он один трудится, как целый отряд. Пот и кровь льются — как в бою. Я не раз убеждалась, что лучший лозунг для литовца: "Я сам". "Литовец" — говорю соседям. "А, хорканос су [из твоей деревни. — *Д. С.*]", — отвечают они. "Одна деревня" в сознании киприотов — "одна кровь"...

Так сравнения усаживают мир на качели, и нет конца забавным аллюзиям.

Приехав в Литву, я тоскую по Кипру, а на Кипре тоскую по Литве, зная, что нигде не выживу, если буду пытаться быть киприоткой в Литве, а на Кипре — литовкой. Я уже не спрашиваю, как прежде, готово ли кипрское общество принять людей из других стран. *Процесс пошел*, и это — реальность. Вокруг видишь русские, китайские, арабские заведения, и уже становится редкостью официант, говорящий с тобой в кафе по-гречески. Ничто не стоит на месте, все меняется с потрясающей скоростью, но нет гарантии, что мир вновь не повернет вспять... Кипр уже космополитичен, и я живу в космополитичном районе. Аптеку неподалеку от моего дома держат египтяне-копты, от которых я узнаю последние египетские новости. Сирийцы напротив открыли овощную лавку и ресторан, деятельность которого в Европе узаконили путем женитьбы на латышках. Семейство иранцев открыло магазин ковров, болгарка торгует платьями, в хлебопекарне работают румыны, грузинка владеет химчисткой, в соседнем доме проживает француженка, ежедневно выражающая недовольство тем, как вывозят мусор. Собаку в парке выгуливает британка, говорящая сама с собой. А что уж говорить об Университете за углом, который в годы кри-

1. Римантас Дикавичюс (р. 1937) — литовский фотохудожник, автор альбома "Цветы среди цветов" (1987), где он поэтически запечатлел красоту женского тела на фоне природы.

зиса купили американцы и превратили в Центр дистанционного обучения. Там один только персонал двенадцати национальностей. Была по соседству и финка, что каждый год перебиралась в другую квартиру, но все на той же улице. "Зачем, — спрашиваю, — ты переезжаешь, если улица та же самая?" Она отвечает, что не может сидеть всю жизнь на одном месте. Возможно, для финки год на Кипре — это целая жизнь, а переезд в другой дом неподалеку запускает жизнь заново. На Кипре работала и моя юная подруга Моника из Клайпеды, выдающихся способностей менеджер. Она в одночасье решила, что на Кипре ей тесно: в три часа ночи еще плясала на дискотеке, а в семь утра уже улетела жить в Амстердам. Растворилась Моника, как в море ветер, оставив у моей двери шкаф из "Икеи"...

Это всего лишь декорации повседневности. Они, как новые технологии, как спорт или популярная культура, не различают национальностей, им безразличны происхождение или образование. В этих областях красота языка не так важна, как в науке, политике, литературе, куда иностранцев пускают редко и только за особые заслуги. Что же нас, странствующих профессионалов, не должны касаться эти важнейшие сферы? Или мы все же можем что-то изменить? Думаю, да, хотя нелегко войти в комнату, запертую на ключ. Изменения начинаются лишь тогда, когда люди сами начинают сомневаться и задаются вопросом, в правильном ли направлении они движутся, сталкиваясь с новостями и пришельцами из-за границы. Пока звучит "Нам хорошо, как есть", перемены будут принимать с трудом.

Перемены, которые мне довелось наблюдать на Кипре, происходили очень медленно, будто страна забылась сном, и вдруг, в одночасье, пролетели двадцать четыре года, пока я пила капуччино все в том же кафе за углом моего дома...

Томас Венцлова
Москва 60-х

Интервью

Перевод с английского Тамары Казавчинской

Эллен Хинси. В январе 1961-го вы уехали в Москву. С чем это было связано? С тем, что КГБ преследовал ваш независимый кружок?

Томас Венцлова. Я полагал, что в большом городе мне будет легче скрыться от всевидящего ока КГБ. И не ошибся: трения мои с властями были внутрилитовского свойства, у московского КГБ и без меня забот хватало, и особого интереса к моей скромной особе тамошние чекисты не испытывали. Во всяком случае, меня больше ни разу не вызывали на допрос или для беседы. Впрочем, у меня были и другие причины для отъезда, вызванные самим процессом взросления.

Э. Х. Не можете ли Вы хотя бы в общих чертах нарисовать картину Москвы того времени? Какое она произвела на вас впечатление, когда вы появились там зимой 1961 года?

Т. В. Ну, Москва для меня была не внове, я знал, например, ее музеи и театры, а они и тогда были, и теперь остаются одними из лучших в мире. Но любви к ней, как к Ленинграду — Санкт-Петербургу, я никогда не питал. Уж слишком она огромная и хаотичная. В одном стихотворении я сравнил ее с критским лабиринтом, который, в свою очередь, есть метафора Аида. Московская архитектура была либо византийского свойства (причем большинство церквей выглядели заброшенными, а то и полуразвалившимися), либо это была эклектика XIX века, в лучшем случае — стиль модерн, а я до него не большой охотник. Конечно, встречались кое-где приятные глухие уголки, — вроде, скажем, Кадашевской набережной неподалеку от Кремля, где я прожил несколько лет, — но почти все такие места были сильно попорчены домами сталинской постройки или конструктивистскими монстрами. Москва — город шумный, пыльный, зимой грязный от почерневшего снега. Почти

© Tomas Venclova, 2014
© Тамара Казавчинская. Перевод, 2015
Журнальный вариант. Авторизовано.

все известные мне квартиры были отчаянно захламлены, лестницы расшатаны, с застарелым кошачьим запахом. Одевались люди бедно и провинциально (не без исключений, конечно). На всем лежала печать системы: с одной стороны, на каждом углу — милиция, у прохожих тусклые, напряженные лица, нередко помеченные страхом; с другой стороны — хамство и пьяные драки, от которых нельзя было укрыться, — во многих районах ходить по ночам, а то и днем не рекомендовалось. Магазины, в том числе и книжные (они-то интересовали меня больше всего), снабжались скверно, а если на прилавок "выбрасывали" что-нибудь стоящее — повторяю, книги тоже были дефицитом, — то все расхватывалось вмиг. В центре, правда, работало несколько приличных ресторанов — кстати сказать, цены там отнюдь не зашкаливали, — но туда попасть можно было только по блату, то есть по знакомству. В общем, царила скудость и серость, хотя не кричащая нищета. Кстати, почти все это я хорошо знал по Вильнюсу. Если Москва чем и отличалась, так это людьми. Но, конечно, нужна была толика счастья, чтобы выйти на того, кого надо.

Э. Х. Начнем с того, что у вас не было жилья и первым делом вы остановились в гостинице. Что это была за гостиница и где она находилась?

Т. В. Чтобы жить в Советском Союзе — неважно где, — не нарушая закона, нужна была прописка в милиции. Само собой, в городе находились тысячи и тысячи нелегальных иммигрантов, но они все рисковали. Моего друга Зенонаса Буткявичюса, у которого не было прописки, "повязали" на улице, продержали сутки и отпустили, приказав покинуть город в течение 72 часов. Он сидел с уголовниками и вынес на волю множество записок, которые мы потом разносили по адресам, каждый раз получая стаканчик водки за доставку. Но стоило остановиться в гостинице, и все решалось само собой. В большие гостиницы в центре, конечно, было не попасть, и, уж во всяком случае, цены там кусались; но в северной части Москвы, возле так называемой ВДНХ — Выставки достижений народной хозяйства, — построили кучу дешевых отельчиков, где за койку в общей комнате брали рубль в сутки (для сравнения: средняя зарплата равнялась тогда 100—200 рублям в месяц). Ясно, что на них и пал мой выбор. Оттуда на метро, составлявшем гордость столицы, да и всей страны, можно было быстро, всего за пятак добраться до центра. У меня в номере обретался еще один постоялец. Он причинял определенное неудобство, потому что иногда приводил на ночь то ли невесту, то ли подругу — и при этом сконфуженно просил "не обращать внимания и спать спокойно", что я старался исполнять усердно, хотя и с переменным успехом. Первый месяц прошел тихо-мирно, но потом гостинич-

Томас Венцлова. Москва 60-х

ный персонал стал на меня глядеть волком. В конце концов, они заявили, что, согласно правилам, после месячного постоя с жильцов взимают уже по два рубля в сутки. Это мне уже было не по карману, да и столь затяжное пребывание в гостинице само по себе выглядело подозрительно. Я было сунулся в другой отельчик, но там обо мне уже предупредили. В общем, ничего не оставалось, как сдаться на милость моих московских друзей. Слава Богу, их у меня хватало.

Э. Х. У вас сложился какой-то жизненный распорядок за эти первые недели?

Т. В. Чуть ли не ежедневно я бывал у Наташи Трауберг. В ту пору она жила в Москве у родителей со своим мужем, литовцем Виргилиюсом Чепайтисом (кажется, у них тогда уже был сын). У отца Наташи, знаменитого кинорежиссера 20 и 30-х годов Леонида Трауберга, была замечательная библиотека, которую я весьма усердно штудировал. Вечерами ходил к другим друзьям, обычно один, иногда — с Наташей или Виргилиюсом. Самым притягательным местом была квартира Григория Померанца — вернее, не квартира, а крошечная комнатушка в одном из забытых Богом переулков у Москвы-реки. Там только и было, что кровать, куда усаживались гости, стол, на который ставилась водка и бутерброды, и голая лампочка под потолком. Хозяин комнатушки до войны окончил ИФЛИ, либеральное по тем временам заведение, где даже в годы глухого сталинизма умудрялись дать студентам приличный багаж знаний и привить кое-какие основы мышления (среди тамошних профессоров был Дьёрдь Лукач, а среди студентов-заочников — Солженицын). В годы войны Померанц служил в Красной армии, затем был арестован, несколько лет просидел в лагере, вышел после смерти Сталина и теперь едва сводил концы с концами, работая библиографом. Педагог милостью Божьей, он часто собирал у себя молодежь, чтобы порассуждать о Гегеле, индийской философии, современном искусстве и, конечно, о текущей политике. То был неофициальный просветительский кружок, напоминавший вильнюсские кружки подобного рода, но без какой-либо определенной программы и, пожалуй, более высокого уровня. Жена Григория, Ирина, и его пасынок, Володя Муравьев, не скрывавший своих вполне антисоветских взглядов, принимали самое живое участие в обсуждениях (Володя, кстати, дружил с Аликом Гинзбургом[1]). Наташа и Виргилиюс хорошо знали их всех. Пранас

1. См. в настоящем номере статью о литовском номере “Синтаксиса” Александра Гинзбурга. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Моркус[1] в свои московские годы тоже бывал на сборищах у Померанца. Там я встретил немало будущих друзей.

Как-то вечером Наташа повела меня в другое место — на Пушкинской площади, неподалеку от дома, где жила сама. Это была квартира Сусанны Раппопорт и ее мужа Владимира Финкельштейна, необыкновенно располагающей к себе пожилой пары. (Несколько лет спустя Владимир скончался от сердечного приступа, а Сусанна, не сумев пережить его смерть, покончила с собой.) У них собирались весьма необычные молодые люди, почти все родом из Франции, — выходцы из эмигрантских семей. Их родители вернулись в СССР, уверовав, что режим переменился к лучшему (мягко говоря, это оказалось не совсем верно). Дети получили советское гражданство и, тем самым, стали заложниками режима, который от всей души ненавидели. Все мечтали вернуться в douce France[2], страну детства и первых школьных лет. Все отлично говорили по-русски, но все же хуже, чем по-французски (мечта их о возвращении исполнилась, хотя и спустя многие годы). Самой заметной фигурой среди них был Андрей Волконский, потомственный аристократ и композитор-авангардист, уже известный в музыкальных кругах. Еще одним центром притяжения был Олег Прокофьев — сын прославленного композитора Сергея Прокофьева. Историк по образованию, он сочинял стихи (иные из которых попали в гинзбурговский "Синтаксис") и писал картины. Третьим был Никита Кривошеин, сын героя французского Сопротивления, отбывший срок в советской тюрьме, куда попал за свою статью во французской печати — там он, среди прочего, рассказал о судьбе злосчастных простаков, которые, поверив советской пропаганде, оставили Францию ради Советского Союза. Наконец, был там человек много старше остальных — Дмитрий Сеземан, друг цветаевского семейства, с ее мужем и дочерью прибывший в Советский Союз перед самой войной. Всех их арестовали почти тотчас по приезде. Мужа Цветаевой расстреляли, дочь провела восемь лет в лагерях и шесть — в ссылке, Дмитрия освободили во время войны. В Дмитрии меня больше всего заинтересовало, что его отец, профессор Василий Сеземан[3], тоже бывший политзек, преподавал философию в Вильнюсе — я сам сдавал ему экзамен по логике. Так что, как видите, между моим родным городом и Москвой существовало множество связей, порой совершенно неожиданных.

1. Пранас Моркус (р. 1938) — литовский киносценарист, радиожурналист, эссеист, общественный деятель. В 1955–1957 гг. учился на филологическом факультете МГУ.
2. Милую Францию (*франц.*).
3. Василий Эмильевич Сеземан (1884–1963) — философ, профессор Каунасского и Вильнюсского университетов, узник ГУЛАГа.

В салон Владимира и Сусанны были вхожи также несколько молодых женщин, и среди них — Марина Кедрова, преподавательница английского языка в Московском университете. Она мне очень понравилась при первой же встрече. Интерес оказался взаимным. Несколько раз я бывал у нее дома: ее комната представляла собой нечто вроде постоянной выставки полотен московского андеграунда, и с большинством их авторов она водила дружбу. Дело, конечно, было небезопасное, поскольку на абстрактное и сюрреалистическое искусство власти смотрели косо. В марте я переехал к Марине, а еще какое-то время спустя мы расписались, тем самым полностью узаконив мое пребывание в Москве. Мне исполнилось двадцать три, и Марина была моей первой серьезной любовью. В 66-м мы разошлись, но по сей день остаемся друзьями.

Э. Х. Будьте добры, опишите, пожалуйста, Маринину комнату.

Т. В. Комната была просторная, в так называемом шаляпинском доме на Садовом кольце — близко от центра и, кстати сказать, в двух шагах от Американского посольства. До революции этот одноэтажный особняк принадлежал знаменитому певцу. После того как он эмигрировал, туда вселили несколько семей и дали каждой по комнате, превратив дом в коммуналку, что было обычной советской практикой. Марине комната досталась от друга-искусствоведа, скончавшегося примерно годом ранее. Ее связи с подпольными художниками, как и коллекция хранившихся у нее картин, возникли в результате этих когда-тошних отношений. Было приятно, хотя и странновато жить среди нескольких десятков больших полотен в высшей степени нетипичного для СССР эстетического свойства. Висели они впритык, без промежутков. Там были диковинные морские существа, примитивистские натюрморты, громадные холсты с брызгами краски в стиле Джексона Поллока (последний крик абстракционистской моды тех дней), квадраты а-ля Мондриан (тут выделялся Олег Прокофьев) и тому подобное. Об этой комнате, которая сыграла определяющую роль в моей жизни, я написал несколько стихов. Сюда то и дело заглядывали художники и приносили картины — новые или написанные поверх старых; вообще там царила атмосфера художественной мастерской. Захаживали и любители, и знатоки, включая Георгия Костаки[1], полуподпольного коллекционера современного искусства (надо сказать, сама Марина продажей живописи не занималась и на жизнь зарабатывала

1. Георгий Дионисович Костаки (1913—1990) — советский коллекционер греческого происхождения и подданства, крупнейший собиратель русского авангарда.

только преподавательской работой). В годы перестройки дом отвели под музей Шаляпина. Я зашел туда однажды постоять в нашей прежней комнате, где висели совсем другие картины, некогда принадлежавшие Шаляпину.

Э. Х. И долго вы там прожили?

Т. В. Месяц или чуть больше. Так случилось, что мы однажды жгли что-то в старой печи, это "что-то" взорвалось, и весь дом наполнился дымом. Тут же явился сосед, ответственный по коммуналке, и его взору впервые предстали картины, украшавшие стены. Он тотчас смекнул, что дело неладно. Утром мы отлучились за покупками, а по возвращении обнаружили на своей двери висячий замок: вчерашний сосед заявил, что вызвал милицию, дабы она конфисковала упадочническое искусство, а в комнату он нас не пустит, так как мы в ней устроили буржуазно-декадентский притон. Вполне типичный случай по тем временам (у кормила власти стоял Хрущев, который только что разоблачил абстракционистов). Так мы оказались на улице, из вещей — только сумки с продуктами. Благо, мы застали дома Олега Прокофьева, который жил неподалеку. Уходя, мы, к счастью, не закрыли форточку: худощавый и гибкий Олег пробрался внутрь и открыл окно, которое было чуть выше земли. Таким образом, нам удалось вынести свои пожитки и все картины, которые мы, на всякий случай завернув в простыни, переправили к одному приятелю, жившему в двух-трех кварталах от нас. Воображаю выражение лица нашего блюстителя эстетического порядка, когда он вместе с милиционерами переступил порог комнаты и обнаружил голые стены. Он даже не пытался нас найти — во всяком случае, мы больше о нем не слышали. А картины висели себе в доме у друзей неопределенно долгое время; мы же перебрались к Марининой матери на Кадашевскую набережную. В ее заставленную вещами двенадцатиметровую комнатку в старом доме (построенном чуть ли не до наполеоновского нашествия), в самом углу двора, почти невозможно было всем втиснуться. Втроем мы оказывались там редко — мы с Мариной снимали жилье, но иногда все же возвращались "на Кадаши".

В истории со спасенными картинами был забавный эпизод. Дело происходило 12 апреля 1961 года — в день полета Юрия Гагарина. Улицы были переполнены ликующими толпами с развевающимися знаменами и портретами космонавта. (Надо сказать, народное ликование было не в пример более искренним, чем в дни Первомая и тому подобных празднеств.) Два мальчугана, заприметив под простыней одну из наших картин в мондриановском духе, завопили: "Смотрите, вон еще Гагарина несут!". Девочка чуть постарше резонно возразила: "Что вы выдумываете? Может, это совсем и не Гагарин!"

Томас Венцлова. Москва 60-х

Э. Х. Вы с женой были знакомы с множеством авторов подпольного искусства. Расскажите, что это было за сообщество? Где вы встречались?

Т. В. С иными из них (и в немалом количестве) можно было встретиться и у Померанца, и в доме Сусанны Раппопорт, где она правила самовластно. Хотя обе группы пересекались, имелось отчетливое различие: первая была не лишена богемности, вторая отличалась закрытостью и бонтонностью — между собой мы называли дом Раппопорт "У Вердюренов" (как светский салон у Пруста). У Померанца главными были Володя Муравьев, писавший антисоветские стихи, его брат Леонид, художник, и Николай Котрелев, тоже поэт андеграунда, впоследствии ставший известным филологом. "У Вердюренов", кроме Волконского и его приятелей, я познакомился с Андреем Синявским и женой его Майей или Марьей Розановой. Марина представила меня Дмитрию Плавинскому, Лидии Мастерковой и другим известным художникам московского авангарда, в том числе Эрнсту Неизвестному, который в ту пору входил в моду.

Здесь нельзя не рассказать о двух значительных личностях. В-первых, это поэт Геннадий Айги, чуваш по национальности. Он учился на одном курсе с Евтушенко и Ахмадуллиной, но потом его исключили из Литинститута за неисправимо модернистские стихи — "за ницшеанский бред", как гласила официальная формулировка. Сначала он писал на родном чувашском, но вскоре перешел на русский. В те времена он один на всю страну сочинял верлибры (даже подпольные поэты не отказывались от традиционных размеров и рифмы, которые, надо заметить, более органичны для русского языка). Выгнанный из Горьковского института, Айги нашел себе приют в Музее Маяковского, заведении довольно скромном, занимавшем квартиру знаменитого поэта, где тот провел свои последние годы вместе с Лилей Брик. Главным сокровищем Музея был архив, где хранились многие материалы русского футуризма. Айги был влюблен в футуристов (правда, не столько в Маяковского, сколько в Велимира Хлебникова и Алексея Крученых) и себя считал их последователем. Нельзя не признать, что в его поэзии немало от футуристов, но совершенно нет их агрессивности и подчеркнутого урбанизма; по духу своему это скорее религиозная поэзия.

Кстати, Крученых был еще жив — старый, без средств к существованию, он кормился продажей книг и рукописей; к счастью, начальство им мало интересовалось. Айги устраивал ему вечера. Помню одно такое чтение дома у Андрея Волконского. Это было нечто из ряда вон выходящее, потому что Крученых был не только поэтом, нарушавшим все прави-

ла грамматики и законы здравого смысла, но обладал к тому же незаурядным актерским дарованием. (Впоследствии он нередко бывал у нас на Кадашах, где галантно ухаживал за Мариной.) Среди прочего, Айги ухитрился устроить в каком-то захудалом Доме культуры выставку "Художники — иллюстраторы Маяковского". Среди этих иллюстраторов были классики русского авангарда Казимир Малевич и Павел Филонов, строго запрещенные в Советском Союзе, но уже гремевшие на Западе (и весьма дорого там продававшиеся). Помогая Марине вешать одно из полотен Малевича, я испытывал невероятную гордость: за последние тридцать с лишним лет то было первое публичное явление Малевича в Москве.

Волконский, который был дружен с Айги, помог ему наладить отношения с Францией, где поэзия Айги очень быстро обрела немалую известность. Само собой, о поездке в Париж не могло быть и речи, но его книги, выходившие по-французски, обретали множество поклонников, поскольку стихи Геннадия задевали знакомую струну — отчасти дадаистскую, отчасти сюрреалистическую. Все это, конечно, находилось под строгим запретом, но власть имущие предпочитали закрывать на славу Айги глаза. Что ни говори, его стихи были крайне далеки от политики. Ему удалось издать по-чувашски большой том французских модернистов, куда он включил Малларме, Оскара Милоша, Сен-Жона Перса, Рене Шара и десятки других поэтов, никогда не переводившихся на русский. Кстати говоря, на чувашском языке до выхода этой книги существовало одно-единственное французское стихотворение — "Интернационал". Иосиф Бродский (который отнюдь не причислял себя к поклонникам Айги) как-то заметил, что эта французская антология — один из величайших исторических абсурдов: на всю Чувашию, возможно, был один, ну, от силы — два человека, интересовавшихся сюрреалистами и дадаистами, тогда как в России жаждавших их прочесть были тысячи и тысячи...

Второе имя, которое нельзя обойти вниманием, — это Наталья (Наташа) Горбаневская[1], поэт, ставший впоследствии одним из самых известных советских диссидентов. Если мне не изменяет память, они с Мариной вместе учились в университете; прогуливали лекции, во всяком случае, дружили с давних пор, и ей, одной из первых, Наташа читала свои стихи: по природе стеснительная, она не отваживалась сразу пре-

1. Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936–2014) — поэтесса, переводчица, правозащитник, диссидент. Участница демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 против ввода советских войск в Чехословакию, одна из создательниц "Хроники текущих событий" и др.

подносить их публике. Впервые я встретил Наташу у Померанца: она была знакомой Володи Муравьева и Алика Гинзбурга. Последних политика интересовала несравненно больше, чем Волконского и Айги, которые особой любви к коммунизму тоже не питали, но для них куда важнее было чистое искусство. Стихи у Наташи были утонченные и пронзительные, в романтическом духе — о музыке, трагической любви, минувшей войне. Но вскоре темы изменились, и она стала писать об истреблении русской природы и культуры в Советском Союзе, о допросах, о теплушках с зэками. Наташа учила польский язык и буквально возвела Польшу в культ творения — в особенности ее героическое прошлое: Монте-Кассино, Варшавское восстание, Армию Крайову... (Польша тогда для всех нас была "окном в Европу", но привлекал нас и польский дух сопротивления, благородный и какой-то безоглядный, отраженный и во многих романах, и в фильмах Анджея Вайды. Порядочные и далекие от официоза писатели старшего поколения, такие, как Булат Окуджава и Борис Слуцкий, разделяли наше восхищение поляками.)

Наташа вскоре стала известным поэтом. Десятки, а то и сотни читателей знали на память ее прекрасные и на редкость музыкальные стихи, такие, как "Послушай, Барток, что ты сочинил?" или поэтическое кредо "Я не у дела. Я стихослагатель, печально не умеющий солгать". Какое-то время ее популярность была не меньше, чем у Бродского, который как раз тогда становился знаменитым. Стоит прибавить, что Бродский высоко ценил ее стихи. Ахматова, которая Горбаневскую поддерживала, часто принимала у себя и слушала, всячески призывала Бродского включить ее в свой поэтический круг. "В каждом поэтическом кружке должна быть, по крайней мере, одна женщина, — повторяла она. — Так было у акмеистов: Гумилев, Мандельштам, еще несколько мужчин и я. У символистов — Гиппиус. У футуристов — Елена Гуро. Вы должны позвать Горбаневскую". Приглашения по всей форме так и не последовало, скорее всего, потому, что Наташа жила в Москве, а не в Петербурге. Тем не менее она была очень близка к кругу Бродского, впоследствии названному "Ахматовскими сиротами".

Мы с Мариной хранили дома и читали тоненькие самиздатские сборнички ее стихов — из-за их откровенно бунтарского содержания это не лишено было определенного риска. Нечего и говорить, что сама Наташа рисковала несравненно больше. Она делала все возможное, чтобы помочь Гинзбургу и многим другим политзаключенным. Впоследствии, в 1968-м, она прославилась, став одной из семерых, вышедших на Красную площадь протестовать против советского вторжения в Чехословакию. За что жестоко поплатилась — была за-

ключена в психиатрическую лечебницу, но в конце концов эмигрировала в Париж, где и сейчас[1] живет и пишет. У нас сохранились очень теплые отношения. Я посвятил ей в 1968 году "Стихотворение о друзьях". А в следующем — опубликовал его с посвящением "Н. Г.", поскольку литовские цензоры понятия не имели ни о том, кто скрывался за инициалами, ни об общем смысле стихотворения (полагаю, их российским коллегам понять это было бы проще простого).

Э. Х. Вернемся немного назад. В то время, когда вы приехали в Москву, в Советском Союзе внезапно начались перемены, прежде всего, в области культуры. Так, в 1960-м "Новый мир" стал печатать выпусками мемуары Эренбурга "Люди, годы, жизнь". Вы еще в Литве их читали или уже в Москве?

Т. В. Читать их я начал еще в Литве. Отца[2], хорошо знавшего Эренбурга, не меньше моего интересовали эти мемуары (он как раз в то время и сам взялся за собственные трехтомные воспоминания, которые написал более или менее по образцу эренбурговских). Сейчас мне представляется, что книга Эренбурга грешит поверхностностью и в ней масса зияющих пропусков (несомненно, свое черное дело сделал внутренний цензор), но в ту пору книга имела огромный резонанс и вполне благотворно повлияла на культурную жизнь страны. Эренбург вернул в общественную сферу сотни запрещенных имен — и русских, и западных (Гийом Аполлинер, Андре Мальро и даже Пабло Пикассо были в СССР почти такими же "подзапретными", как Пастернак и Мандельштам). Он посвятил пространные очерки множеству писателей и художников, практически неизвестных широкой публике, а главное — достаточно честно воссоздал атмосферу сталинских чисток (хотя упомянуть в связи с этим Бухарина, с которым приятельствовал, или, скажем, Троцкого он мог лишь в завуалированном виде). Я уже знал кое-что о тех областях литературы и искусства, о которых писал Эренбург, и имел представление о многих воскрешенных им лицах. Но и мне его мемуары помогли лучше разобраться в событиях 20—30-х годов. Однако они лишились всякого ореола, когда появились воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, написанные без всякой оглядки на внутреннего цензора. Правда, это случилось гораздо позже, и книга Надежды Яковлевны была напечатана только за границей — в СССР она проникала тайно.

1. Наталья Горбаневская эмигрировала во Францию в 1975-м. С 2005-го — гражданка Польши. Умерла 20 января 2014 г. в Париже.
2. Антанас Венцлова (1906–1971) — поэт, прозаик, критик, переводчик, государственный деятель (одно время председатель Союза советских писателей Литовской ССР).

Э. Х. В 1958 году поставили памятник Владимиру Маяковскому, и на площади его имени стал собираться народ и читать стихи. Как раз в "ваше" время, зимой 60 или 61-го, такие сборища возобновились. Вы бывали на этих чтениях?

Т. В. Нет, не бывал. В ту зиму я был слишком поглощен своей любовной историей. Кстати, Марина жила совсем близко от площади Маяковского, на том же Садовом кольце, примерно в полутора километрах, и во время прогулок я не раз проходил мимо памятника, но никогда не видел чего-либо похожего на толпу. Скорее всего, любителей поэзии уже разогнали к тому времени, хотя, может, и не до конца. Я много слышал об этих чтениях, но позднее, когда они уже отошли в прошлое. Иные из моих друзей были активными их участниками — если не сами друзья, то, по крайней мере, друзья друзей: Горбаневская, коли на то пошло, была близко знакома с одним из организатором "Маяковки", Юрием Галансковым, который попал в тюрьму и там погиб. Я никогда не встречался с Галансковым и стихи его прочел, когда все уже было кончено. Правду говоря, его сочинения (мятежные, но, по сути дела, наивные) на меня особого впечатления не произвели, хотя сам Галансков был, безусловно, натурой героической. Должно быть, Володя Муравьев принимал участие в "Маяковке", но стопроцентной уверенности у меня нет. Как бы то ни было, эта часть московской жизни прошла мимо меня. Сборища, в которых я участвовал, отличались полуподпольным характером и отнюдь не были открытыми для посторонних.

Э. Х. В ту пору вы встречались с Владимиром Буковским?

Т. В. Тогда я даже имени его не слышал. Само собой разумеется, я радовался, когда его обменяли на Луиса Корвалана[1], но то было пятнадцатью годами позже. Познакомились мы уже в эмиграции, точнее, в Париже — в редакции польского эмигрантского ежемесячника "Культура".

Э. Х. Вы упомянули раньше, что читали самиздатскую литературу. В те годы в Москве эта "издательская" деятельность процветала. Вы не расскажете о ней немного, и в частности, о том, каких авторов вы открыли для себя в тот первый московский год?

Т. В. В Москве самиздат циркулировал энергичнее, чем в Вильнюсе, и охватывал более широкие круги. Прежде всего, это была подпольная поэзия — ее читали почти все мои дру-

1. Владимира Константиновича Буковского (р. 1942) — политического деятеля, одного из основателей диссидентского движения в России, проведшего в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет, советское руководство в 1976 г. обменяло на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, после чего В. Б. уехал в Великобританию.

зья, а многие и писали. Кроме таких самиздатских имен первого ряда, как Айги и Горбаневская, мы знали десятки куда менее известных авторов. Иные сочинения граничили с графоманией, но, надо заметить, что действовал некий естественный фильтр: никто, кроме самих авторов, слабые стихи не перепечатывал и не распространял, поэтому и расходились они плохо. Чрезвычайно чтимым поэтом был Станислав Красовицкий, человек эксцентричный, впоследствии ставший православным священником (он тоже входил в число Марининых знакомых, и мы у нее однажды виделись). К этой же группе относились Леонид Чертков и Андрей Сергеев, которые потом стали моими близкими друзьями. Стихи их, в основном, были ориентированы на западную поэзию, чаще всего — английскую. Наиболее оригинальным из них был Красовицкий, писавший странные, сюрреалистические сочинения (оказавшие значительное влияние на молодого Бродского). В другую группу входили так называемые "барачные" поэты: Игорь Холин, Генрих Сапгир и еще несколько человек. Их называли также "Лианозовской группой", потому что многие из них были из дальнего московского поселка Лианозово, где, кроме них, жили почти одни подпольные художники — их братья по духу (в Лианозове в день смерти Пастернака я впервые услышал имя Бродского). "Лианозовцы", по большей части, были сатириками, метили в советский образ жизни и, прежде всего, в советский образ мыслей, высказываясь от имени некоего тупоголового "благомыслящего гражданина". Холин, рослый, крепкий, грубоватый, любил отпускать соленые шуточки; время от времени он посещал нас с Мариной (как-то раз мы даже в Вильнюсе встретились). Существовала, конечно, и самиздатская проза. Тут блистал друг Волконского, Александр Кондратов, чьи сочинения были скроены по тем лекалам, которые позднее стали превозносить как постмодернистские — вроде Сорокина или Пелевина, но появились раньше, иной раз были даже остроумнее.

После ареста Алика Гинзбурга появилось несколько самиздатских журналов, имевших целью продолжить традицию "Синтаксиса" (один из них символично назывался "Феникс", его выпускал Галансков). Я отдал в один такой журнал коротенький и не самый удачный рассказ, но без имени автора: речь там шла о военных сборах в Калининградском округе. Но все эти издательские усилия, как правило, кончались ничем.

Впрочем, существовал и другой вид самиздата — философская и политическая журналистика, сочинения того же Померанца — лучший тому пример. В своих глубоких, притом щедро сдобренных юмором эссе он разбивал в пух и прах даже не столько господствующую идеологию, сколько самое претензию установить некое окончательное, не подлежащее пере-

смотру мировоззрение. Мы читали ходивший по рукам очерк Жореса Медведева о судьбе русской генетики в лысенковские времена. Наташа Горбаневская однажды — кажется, позже — принесла ни много ни мало тогдашние лагерные записки — "Репортаж из заповедника им. Берия"[1]. Кстати сказать, первым там шел рассказ, который просто перевернул мне душу, о судьбе одного литовца.

Э. Х. А как практически курсировали эти сочинения? Как они попадали к вам? Опасно ли было читать их и передавать другим?

Т. В. О собственно литературных произведениях власти не слишком беспокоились, хотя из-за них можно было угодить в черный список и вообще нажить себе неприятности. Понятное дело, многое зависело от содержания и общей тональности написанного: "чистое искусство" считалось декадентством, что влекло за собой "моральное осуждение", но сатирические вещи или исповедальные лирические сочинения о бессмыслице и трагизме жизни (как у Бродского или Горбаневской) могли квалифицироваться как антисоветские и, значит, — наказуемые. Ну, а сочинения политические — это уже был совсем другой коленкор. Опасно было не только размножать и передавать их, но и хранить дома, тут требовалась особая осторожность. В два счета можно было заработать тюремный срок. Но Бог миловал, мы с Мариной избежали столкновения с московскими властями — видимо, оказались достаточно осмотрительны.

Э. Х. Какие еще литературные открытия вы сделали тогда?

Т. В. Множество малодоступных книг хранилось в домашней библиотеке Леонида Трауберга, включая "1984", который я прочел по-английски с помощью словаря, и книга произвела на меня невероятное впечатление — может быть, большее, чем любая другая в моей жизни. Володя Муравьев снабжал меня англоязычными новинками: "Шум и ярость" Фолкнера, "Нагие и мертвые" Нормана Мейлера. Их я тоже читал в оригинале, преодолевая немалые трудности, поскольку мой тогдашний английский оставлял желать лучшего. (Володя Муравьев и Наташа Трауберг свободно им владели.)

В 1962-м мы с Мариной перебрались к Елене Васильевой, приятельнице Леонида Трауберга, которая сдала нам комнату. Елена, вдова одного из братьев Васильевых, создателей "Чапаева", была самиздатской машинисткой. Ее сын, мой ровесник Александр или Саша, отличался двумя непревзойденными талантами: это был самый запойный пьяница, какого мне слу-

1. Валентин Мороз. Репортаж из заповедника им. Берия. Период появления в самиздате: 1966—1974.

чалось видеть в жизни, а по этой части, не стану скромничать, опыт у меня приличный; во-вторых, он был крупный книжный спекулянт, что надежно обеспечивало не только его, но и всех многочисленных его друзей разливанным морем водки. Саша знал всех и вся в московской богеме и полубогеме. Несмотря на алкоголизм, это был спокойный, бесстрастный, очень здравомыслящий человек с отличным чувством юмора, и мы сразу подружились. Книжные фарцовщики собирались неподалеку от Кремля, у памятника первопечатнику Ивану Федорову, так сказать, русскому Гутенбергу. Кстати, там же собирались и московские "голубые", к которым Саша не имел ни малейшего отношения — он любил женщин, и даже очень. Вообще-то подпольная книготорговля в Советском Союзе преследовалась по закону, но Саша был неуязвим. Думаю, между завсегдатаями Федоровского сквера и милицией существовала некая негласная договоренность. Сотни, а то и тысячи редких и запрещенных книг проходили через Сашины руки, и мне повезло — я прочел многие из них. Так что со временем я мог похвастать довольно основательным знанием русского модерна, известного как Серебряный век, что не только доставило мне немалую радость, но и пригодилось в будущем — в годы работы в Йельском университете. Кстати, с Андреем Платоновым меня познакомила Марина, за что я ей по сей день благодарен.

Э. Х. Можете ли вы вспомнить что-нибудь о своих впечатлениях от живописи той поры?

Т. В. Хотя Марина не была художницей, у нее были отменный вкус и чутье, и, думаю, при других обстоятельствах она могла бы стать искусствоведом. Как я уже говорил, мы бывали в мастерских у подпольных художников, хорошо знали коллекцию Георгия Костаки, собиравшего русский авангард и составившего одно из лучших мировых собраний этого периода. Кроме того, была музыка. Я не большой любитель джаза и рока, в отличие от большинства моих сверстников, которые тогда были совершенно на них помешаны. Меня больше интересовала серьезная музыка XX века, и тут мне очень помогала дружба с Андреем Волконским. В России он был одним из первых пропагандистов додекафонии, прекрасно знал творчество Веберна, Штокхаузена, Ноно, Булеза[1], у него были пластинки с их сочинениями. На эту музыку

1. Антон Веберн (1883–1945) — австрийский композитор, одни из основателей Новой венской школы, ученик и последователь "атональной" школы Арнольда Шёнберга. Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007) — немецкий композитор, дирижер, теоретик музыки; один из лидеров музыкального авангарда. Луиджи Ноно (1924–1990) — итальянский композитор и педагог, бдизкий к "нововенцам". Пьер Булез (р. 1925) — французский композитор и дирижер, один из лидеров французского музыкального авангарда.

власти смотрели весьма неодобрительно (примерно как на Мондриана и Поллока, но все же чуть поспокойнее), в конце концов, Волконский создал ансамбль средневековой и ренессансной музыки "Мадригал", который был не только блистательным профессиональным коллективом, но и давал ему средства к безбедному существованию. Мы изо всех сил старались не пропускать ни одного концерта "Мадригала".

Театральных связей у меня не было, но Марина вскоре ушла из университета и стала преподавать во ВГИКе. Между прочим, там учился или скорее делал вид, что учится, наш приятель Саша Васильев. В кино было множество новых явлений, за которыми мы с Мариной очень старались следить. В общем и целом, мое пребывание в Москве стало для меня вторым университетом, может быть, и поважнее первого.

Э. Х. В то время вы зарабатывали на жизнь переводами для Литовского республиканского издательства. Расскажите об этом немного. Что вы переводили? Можно ли было на это прожить?

Т. В. Я переводил в основном польскую беллетристику. Однажды даже решился на перевод с итальянского: это был "Капут" Курцио Малапарте[1] — сильная книга о Второй мировой войне и Холокосте, неизвестная в то время в Советском Союзе. На ежедневные расходы мы тратили зарплату Марины, но примерно раз в год я получал гонорар, который равнялся, а порой и перекрывал ее годовой заработок. Так что финансово мы были в равном положении, и мое мужское самолюбие не страдало. Жили мы, понятно, очень скромно.

Э. Х. Вы как-то сказали, что в ту пору не писали стихов...

Т. В. Писал, но очень мало. Тогда я не считал поэзию главным делом жизни. Это пришло позже...

1. Курцио Малапарте (1898–1957) – итальянский писатель, журналист, кинорежиссер. "Капут" опубликован по-русски в 1990 г. (по-литовски он появился еще в 1967 г.).

Письма Юргиса Балтрушайтиса к Джованни Папини

Публикация, вступление и перевод с итальянского
Николая Котрелева

Юргиса Балтрушайтиса, поэта и переводчика, почти два десятилетия прослужившего Литовской Республике в ранге посла в Москве, нет надобности, несомненно, формально представлять читателю русского журнала. Важнее и, к сожалению, проще напомнить, что давно необходимы и самое серьезное издание его сочинений, и самая обстоятельная биография, и внимательное исследование его наследия. Как ни огорчительно, для решения этих настоятельных, безотлагательных задач документальная база на деле — не разработана. До сих пор недоступен богатейший архив Юргиса Балтрушайтиса, хранящийся под спудом у наследников. Но и то, что лежит в русских, литовских и многих иностранных архивах, не напечатано, не введено в читательский и научный оборот. В этом плане важнейшей инициативой видится предпринятое Институтом литовской литературы и фольклора (Вильнюс) издание писем Балтрушайтиса.

Юргис Балтрушайтис дружил и переписывался с выдающимися деятелями европейской культуры: Валерием Брюсовым, К. С. Станиславским, Алисой Коонен, Гордоном Крэгом и многими другими. Особое место в его эпистолярном наследии занимает переписка с итальянскими друзьями и единомышленниками.

Выделяется и размерами (почти двести писем Балтрушайтиса и соответствующее количество недосягаемых — увы! — ответных писем), и напряженностью чувств переписка с Джованни Папини, виднейшей фигурой интеллектуальной и духовной жизни Италии первой половины XX века. Папини — философ, эссеист, журналист, прозаик, поэт — на всех поприщах оставил самый заметный след. Его духовная эволюция — от бунта против позитивизма и буржуазной порядливой ограниченности к художественному модернизму и нонконформистскому католицизму — близко отвечала эволюции Балтрушайтиса. Важно не только согласие, однонаправленность их личных путей. Параллельными или сходными путями шли их спутники в культуре — московские символисты и флорентийские и римские соратники Джованни Папини.

Балтрушайтис познакомился с Папини на пороге 1905 года. Глубочайшее взаимопонимание открылось сразу. На первый год переписки прихо-

© Николай Котрелев. Публикация, вступление, перевод, 2015

дится половина известных нам писем Балтрушайтиса, доверительно бытовых и фанатично проповеднических. До европейской катастрофы 1914-го переписка, при нечастых встречах, сохраняет характер переписки братьев. Затем — редкие жесты памяти...

Из числа писем Балтрушайтиса к Папини, отобранных для вышеназванного литовского издания (оно должно выйти в свет в 2015 году, письма будут напечатаны на языке оригинала и в переводе на литовский), мы отобрали несколько характерных. Перевод выполнен по фотокопиям с автографов Балтрушайтиса, хранящихся в архиве Джованни Папини (Fondazione e Museo Primo Conti (Fiesole, Firenze). FC/AP VII. C. 172).

Работу над изданием писем Юргиса Балтрушайтиса к Джованни Папини много лет назад начали трое друзей — Фаусто Мальковати, Юозас Тумялис и Николай Котрелев. Первоначальный замысел осуществлен не был, теперь к проекту вернулся один Котрелев, но он обязан сказать, что не будь того дружеского почина, невозможною была бы даже эта скромная предварительная публикация.

1.

<11/24 июля 1905 г. Римини>
Ночь
24.VII.<19>05

Мой дорогой! Как видишь, пишу много, хотя и не удается мне вполне распахнуться перед Вами. Быть может, потому, что слишком подавлен моею всегдашнею болью, ни происхождение, ни важность которой не известны. Это как облако, медленной тенью застилающее глаза того, кто пытается видеть как только можно четче. Оттого этот обман мысли, чувства и образов. Когда Вы приедете к нам, на печальный Север[1] с его серыми равнинами, когда придется дни и дни жить под мелким дождем, который, кажется, затягивает весь мир паутиной, Вы лучше поймете, почему столь мимолетна наша улыбка, почему столь горька каждая наша слеза. Вы, вскормленные сиянием безоблачного Юга, вечным празднеством всего и вся, возможно, не знаете, сколь драгоценна искра, сколь обманной кажется она, сколь она представляется неуместной. Она драгоценна, как немного хлеба в руках вечноголодного, она лжива, как всякое утешение, она неуместна, как смех в торжественной тишине полуночи... Вы лучше поймете и то, почему мы видим в темноте... Огонь для вас — вещь слишком привычная, как морская

1. В России Дж. Папини побывать было не суждено. (*Здесь и далее – прим. публикатора.*)

вода, тогда как для нас он — Бог, тогда как Искра — наша Троица... Потому я — поэт серого, пыли бесконечных дорог, пепла, всякого полусвета, искры, слишком слабой, чтобы отбрасывать тень под ноги того, кто идет, идет, идет... И потому во мне этот мой вечно неутолимый голод, эта моя жестокая зависть, бесконечно гложущая исстрадавшееся сердце мое.

Но я не жалуюсь, поскольку знаю, что вся моя беда, вся моя боль — это все малозначительность существа моего и жизни моей.

Простите мне эти рваные слова, эти розоватые искры, простите, Вы, сын божественного солнца, царь Огня, один из отроков в раскаленной печи[1]. Потому что Вы — воистину веселый огонь, который должен ввергнуть весь мир в пламя пожара. Ave[2], великий поджигатель, маэстро кровавых размышлений под ночным небом!

Ваш и Ваш Балтрушайтис.

2.

<20 августа / 2 сентября 1905 г. Римини>
2 сент.<ября> 1905

Дорогой Папини! Спасибо за соболезнование, поскольку и сегодня я все еще жалкая добыча разрушающей меня муки. Остается только жить, замкнувшись в молчании и ночной печали одиноких, одному — одному с последним презрением к людям. Папини, ничего нового мы не узнаем об этом мире! Ничего. Мы присутствовали на веселом зрелище! Прекрасно! Распрекрасно! У нас перед глазами побывал весь род человеческий! По-английски эта штука называется mankind[3]. Мы видели, слышали, даже нюхали. Значит, мы — мудры. Поздравляю. Кончен бал[4], нужно накрепко закрыть все окна,

1. Речь идет о трех верных Господу еврейских отроках, за отказ поклониться золотому истукану ввергнутых в раскаленную печь и спасенных от огня Ангелом Господним (Дан. 3).
2. Здравствуй — латинское приветствие; это обращение встречается у Балтрушайтиса в возвышенных контекстах — литургических цитат, вынесенных в заглавие стихотворений — Ave, stella maris (Дымно тает берег плоский...) Ave, crux! (Брось свой кров, очаг свой малый...) (ср. вошедшее в пословицу обращение гладиаторов к императору: Ave, Imperator! morituri te salutant (Здравствуй, Император! Идущие на смерть приветствуют тебя).
3. Человеческий род, человечество (*англ.*).
4. В подлиннике — крылатое итальянское выражение, обыкновенно оставляемое без перевода (È finita la comedia — "комедия сыграна", "спектакль окончен" и т. п.), в нашем случае было бы странно вставить итальянский текст в перевод с итальянского языка.

выходящие на человеческую пустыню, сгноенную Царями с их Витте without wit[1], чтоб заключить самый интимный союз с ее тюремною лампадой. Аминь. Не думал я, что Человек подл и глуп до такой степени. Во всей истории Куропаткин—Витте присутствует даже тончайшая внутренняя ирония[2]. Меня все это веселит. И потом этот Петербу́рг, получающий мир вопреки своим желаниям. И по́том этот Витте, предлагающий Комуре 1/2 Сахалина, при том что Комура — я в высшей степени уверен — из Токио имел инструкцию отказаться от Сахалина. До чего ж хорош подарок! И Комура не смог скрыть радостного изумления, торопливо соглашаясь, чтобы Витте не взял назад свой царский подарок[3]. Хорош народец! Нет, нет! Все великолепно. Меня все это веселит! Другого случая так весело посмеяться не представится. Но хватит пока. Вернемся к этому вопросу в другой раз. Потому что, дорогой Папини, я хотел бы подвигнуть Вас на какую-либо статью, ради того чтобы немного яснее представить наше дело. Через несколько месяцев я напечатаю небольшое сочинение: Открытое письмо русского к Mankind. Знаю, предприятие смешное и бесполезное. Но каждый должен выполнить свой долг. По крайней мере, поднимем шум![4]

Я очень доволен твоею радостью, всей твоей венецианской жизнью. Знаю, эти дни вызовут глубочайшие освобождающие последствия в твоем духе. Необходимо, чтобы кто-то праздновал победу! Что до меня, то я ухожу. В общем: Gloria in excelsis Deo![5]

1. Лишенный ума, безмозглый (*англ.*). Балтрушайтис обыгрывает звучание и написание слов — фамилии министра Witte и английского слова "wit" — "ум", "разум". Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — председатель Совета министров в 1905–1906 гг. Главный представитель России на переговорах об окончании войны с Японией, завершившихся подписанием 23 августа (5 сентября) 1905 г. Портсмутского мирного договора.
2. Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925) — русский генерал, главный военачальник во время русско-японской войны, на которого общество возложило ответственность за ее проигрыш (в 1904 г. командовал Маньчжурской армией, затем — главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии; командовал русскими войсками в сражениях при Ляояне, Шахэ, Сандепу и Мукдене; после поражения при Мукдене Куропаткин был отставлен от должности главнокомандующего).
3. Комура Дзютаро (1855–1911) — японский дипломат. Сыграл важнейшую роль в подготовке Русско-японской войны. В качестве министра иностранных дел подписал Портсмутский мирный договор. На предшествовавших переговорах выдвигал жесткие территориальные и политические требования к России, в том числе ставил условием уступку Сахалина, под давлением своего правительства согласился на передачу Японии половины острова.
4. Замысел не осуществился.
5. Слава въ вышнихъ Богу (*лат.*) — литургическое песнопение. Лк. 2:14.

Дорогой Папини, когда трижды созреет колос в поле, все, быть может, переменится к лучшему, но сегодня пусть свершится Судьба. Ite, missa est![1]

Сердечно жму твою правую.

Твой печальнейший Юргис.

3.

<27 сентября / 10 октября 1906 г. Москва>
10.X.<19>06

Восхитительный мой Сокол[2]: твое такое красивое письмо глубоко трогает меня. Сегодня не могу писать тебе много, но буду писать — буду писать. Много и часто! Потому что едва ли не один ты мне остаешься в мире. Уезжая за границу, я оставил тут нескольких друзей. И не нахожу их. Как видишь, мое положение среди людей почти идеально. А поскольку в Москве нет Кафе вроде флорентинских, можешь представить себе меня недвижным отшельником в уединенной комнате с деревом за окном, уже обнаженным осенью. И так ни глаз, ни ухо не тратят краткого человеческого времени, чтобы видеть и чувствовать только вещи полезные и вечные. Снова и снова благословляю твою работу пробуждающего. Твою работу и работу святого Ваилати[3]. Ты должен делать ее и делать. Даже если дни твои будут идти один за другим, как бесконечная череда твоих тосканских кипарисов, даже если вся жизнь, вся твоя душа будет, как святой кипарис, поглощена своею печалью. Буди, Сокол. Потому что, не желая либо не умея спать, — что ж еще делать.

Твой и твоейший Юргис.

(Деловое письмо следует.)

4.

<22 июля / 4 августа 1907 г. Эдинбург (Рига)>
22.VII.<19>07 Рига-Эдинбург II, дача Алексеева

Дорогой Джованни! Спасибо за твое письмо. Пусть молча, пусть вдалеке, всегда и всегда я думал о твоей пророческой душе всею живою мыслью отшельника. Я знал твой путь

1. Ступайте, <служба> закончена! (*лат.*) — литургический возглас, знаменующий окончание службы.
2. Псевдоним Дж. Папини (Gian Falco).
3. Джованни Ваилати(1863–1909) — итальянский философ и математик, близкий друг Дж. Папини и Ю. Балтрушайтиса.

к совершенному человеческому одиночеству, я чувствовал его, видел его, хотел его. Хотел. Чтобы осуществилась моя высочайшая вера в человека, чтобы был у меня старший брат. Ты тот, кого я долгое время тщетно искал, скитаясь по миру. Ты становишься все более одиноким. И всегда будешь таким. Я рад. Nunc dimittis...[1] Не лишено жалости слово мое. Потому что одиночество — единственное и последнее прибежище сильных. Потому что пустыня — земля обетованная живых. Иначе — нет воскресения. Ты это знаешь. Поэзия влечет тебя все сильнее, я этому рад[2]. Поэзия в нашем высочайшем и благороднейшем смысле слова. Для меня — ты всегда был поэтом. Всякое твое преображение — всегда ввысь. И это твое достоинство изменения всегда было главным, за что тебя должно любить, как я любил тебя и люблю. Я знаю, твой путь всегда будет благородным зрелищем, я в этом уверен, я этим счастлив.

Напишу тебе вскорости. Мой итальянский сегодня подводит меня, не могу говорить так, как хочется.

Поводыря до сих пор не получил. Пусть мне вышлют[3].

Напиши мне еще. Обнимаю, твой

Юргис.

5.

<5/18 ноября 1910 г. Вевей>
18.XI.1910

Дорогой Джованний! я прекрасным образом возвратился[4]. Мы в снегу. Бедный Толстой уже умер[5]. Я очень горюю.

1. Нынѣ отпущаеши... — возглас Симеона-Богоприимца, опознавшего в принесенном в храм младенце Спасителя мира. Лк. 2:29.
2. Джованни Папини был заметным явлением в истории итальянской поэзии XX в. Папини дебютировал в литературе как философ, постепенно в его творчестве все большее место стали занимать эссеистика и художественная проза; наконец, в неизвестном нам письме он, по всей видимости, признавался Балтрушайтису в том, что все больше осознает свое поэтическое призвание.
3. Речь идет о книге рассказов Дж. Папини "Слепой поводырь" (Papini G. Il pilota cieco. Napoli, 1907), высоко оцененной Балтрушайтисом.
4. Балтрушайтис возвратился в Швейцарию, где в это время жил, из Италии, после свидания с Папини во Флоренции.
5. Лев Толстой умер 7/20 ноября 1910 г. Балтрушайтис откликается на какое-то непроверенное сообщение в европейской газете, опережающее неизбежное событие. Папини, высоко ценивший Толстого и много о нем писавший, опубликовал "Молитву за Толстого (до его смерти)" (La Voce. — Firenze, 1910. — 24 nov. — P. 441).

Великое Солнце закатилось. Титаническое усилие. Он не смог вырвать у Μοιρα[1] ту тайну, которой нам не хватает. Напишу тебе в самом скором времени.

Твой Юргис.

6.

<14/27 ноября 1910 г.>
27.XI.1910

Дорогой брат! ты доставишь мне большое удовольствие, если сходишь еще раз к Гордону Крэгу и познакомишься с ним более серьезно[2]. Твой Прецциолини[3] — как сам лично ты видел и слышал — здорово ошибся, осудив его с досадной торопливостью и обращаясь с ним, будто с каким-то гнусным негодяем. Повторяю — ты доставишь мне личное удовольствие, если будешь с Крэгом мягче и постараешься создать ему кое-какую известность, которую он по полному праву заслужил после очень долгих мечтаний и жестокой борьбы. Это человек, достойный всякой дружбы и всякой пропаганды. Потому что нас мало, Папини, и слишком мы одиноки. Теперь мы знаем, о чем идет речь, когда мы хотим жить по нашей вере, следуя необходимости и единственной истине наших непререкаемых представлений. Может быть, Крэг не сразу сумеет объяснить тебе свою задушевную мысль, тогда ты сам построй красивую теорию, следуя той, пусть смутной линии, которую я наметил тебе во Флоренции.

Дорогой брат, солнца слишком много сегодня, тишина вещей слишком торжественна, а мои человеческие горести, все печали растворяются, больше не слышны. И я живу мое великое мгновение, славя Бога за силу и отвагу, которые он судил мне.

1. Богиня судьбы и смерти (*греч.*).
2. Эдвард Гордон Крэг (1872–1966) — английский актер и режиссер, теоретик театра, крупнейший представитель символизма в театральном искусстве. Балтрушайтис дружил с Крэгом и был поклонником его искусства; Крэгу посвящено стихотворение Балтрушайтиса “Древнее сказание” (Вначале был лишь сон весенний...).
3. Джузеппе Прецциолини (1882–1982) — итальянский критик, издатель. В начале XX в. ближайший литературный соратник Папини. Г. Крэг в это время жил и работал во Флоренции, по всей видимости, Папини в письме к Балтрушайтису рассказал об их неудачном знакомстве с английским мастером.

Многажды обнимаю тебя. Все вышесказанное прошу сообщить также Амендоле[1].

Любящий тебя Юргис.

7.

<17/30 ноября 1910 г. Вевей>
30.XI.1910

Дорогой брат! Спасибо за письмо. Напиши мне, как зовут этого твоего русского из Москвы[2]. Может быть, у меня и Тютчева есть что-то общее. И я рад этому. Боратынского — хотя должен был бы я знать — не знаю. Я уверен, много дураков будут говорить о каком-то влиянии этих двух величайших русских. Но всякий, кто немного понимает душу, прекрасно знает, что мой мир совсем иной, что он несравненно одинок. Кто говорит другое — слеп, глух. И еще ты должен раз и навсегда понять, что меня не знает никто. Даже среди моих задушевных друзей. Потому что — например — 3/4 моей книги, которая сейчас печатается, я не читал ни одной живой душе[3]. Мой лирический мир я выстроил в одиночестве моей воли, в тишине моих печалей, моих мук, слишком глубоких, чтоб сообщать их кому бы то ни было. Кроме разве тебя одного. Любые мнения мне безразличны, но все же я хотел бы знать имя.

Теперь у меня все прекрасно. Получаю корректуры книги. Сочиняю новые стихи, из следующей книги, которая будет в тысячу раз более одинокой, чем нынешняя[4]. Шлю тебе еще 2 стихотворения[5]. Напиши свое мнение о них. Только искреннее, только самое строгое. Жаль, что сейчас не можешь услышать ритм, это вещь важнейшая.

Обнимаю тебя.

Твой Юргис.

1. Джованни Амендола (1882–1926) — итальянский публицист, известный политический деятель-антифашист. Дж. Амендола и его жена Ева Амендола-Кюн — ближайшие друзья Балтрушайтиса, Амендола-Кюн, перевела на итальянский язык книгу стихов Балтрушайтиса.
2. В неизвестном нам письме Папини рассказал Балтрушайтису о разговоре о его поэзии с неким гостем из России, имя которого установить не удалось.
3. Речь идет о первой книге стихов Балтрушайтиса “Земные ступени” (М., 1911).
4. Речь идет о книге стихов Балтрушайтиса “Горная тропа” (М., 1912).
5. Приложения к письму мы не знаем.

8.

<26 ноября / 9 декабря 1910 г. Вевей>
9.XII.1910

Дорогой брат! Я забыл сказать тебе одну вещь, красивую и важную... Между моею жизнью в Италии столько лет назад и последним моим приездом к тебе навсегда закатилось столько всего, что я любил всей душой. Открылась дыра, где исчезли мысли, мечты и люди, люди, словно моя обманная греза, печальная и веселая. Едучи во Флоренцию, я боялся, что буду вынужден и тебя найти за гранью моего племени. Но с огромной радостью, с глубочайшим волнением я нашел тебя навсегда великим, совершенным в моем смысле, я нашел душу навсегда мужественную, навсегда творческую, созданную к победе, к основанию вещей, которые начинают подлинную жизнь, наипоследовательную во всех планах, устроенную на земле, открытой тобою, расчищенной, облагороженной, окрещенной и благословленной тобою, Джованни Папини, наилучшим братом моим. Ты понимаешь, что я хочу сказать, хотя говорю я слабо и сбивчиво. Это высшая истина, я ее вижу, чувствую, возвещаю тебе. И ты можешь пользоваться ею в любое мгновение душевной печали, уныния, если ты его иногда знаешь. Вот. Считая себя принадлежащим к вере немногих стоящих, спешу высказать тебе мою совершенную веру в тебя. И ты должен радоваться тому, что искренняя и немного ясновидящая душа благословила тебе навсегда.

Хотел бы сказать тебе все это словом более торжественным, более мужественным, железным. Но ты и так меня прекрасно понял. Пиши мне. Где Амендола?

Обнимаю тебя.

Твой Юргис.

Ундине Радзявичюте
Вальтер Шульц

Перевод Анны Глуховой

До сих пор все еще встречаются люди, чью жизнь изменили книги. Гюнтер знал, по меньшей мере, двух мужчин, пострадавших от набоковской "Лолиты". Один просто жил по ней, другой — очень хотел по ней жить.

Еще он знал одну умную женщину, которая на вопрос, какие мужчины ей нравятся, отвечала: "Такие, как Шерлок Холмс". Когда ее спрашивали: "А поточнее? — она отвечала: — Любой".

Гюнтер знал, что в России постоянно встречаются люди, пытающиеся жить по Достоевскому. И заканчивается это хуже некуда. Почему, если живешь по лучшим произведениям лучшего писателя, все заканчивается хуже некуда?

Наблюдая за жизнью, Гюнтер убедился, что на нее влияют не только признанные шедевры, но и малозначительные произведения. Иногда — какая-нибудь книжная обложка.

История эта началась, когда после некоего инцидента, приключившегося с его организмом, Гюнтер попал в больницу. Туманный диагноз был неприятен и кардинально менял виды на продолжительность жизни. Гюнтер лежал, отвернувшись к стене, и ждал еще одного обследования, игнорируя игривый взгляд медсестры.

Его первый сосед по двухместной палате очень громко молился. Молитвы пугали ходивших по коридору пациентов, поэтому спустя несколько дней его увезли. Второй, прибывший на его место, был тих и все время что-то читал. Гюнтер даже почувствовал к нему симпатию.

— Вы пишете книги? — спросил Читатель, услышав после очередного обхода фамилию Гюнтера.

— Да, — ответил Гюнтер.

Вопрос его разозлил. Вопросы о писательстве всегда его злили — в каждого спрашивающего ему хотелось запустить,

© Undinė Radzevičiūtė, 2011
© Анна Глухова. Перевод, 2015

чем подвернется. Останавливало лишь то, что в нынешние времена в тюрьме ничего хорошего не напишешь.

— Вы написали только те три или еще? — спросил Читатель.

— Только те три.

Гюнтеру уже исполнилось сорок пять. К этому времени другие успевают написать книг шесть-семь, а молодые классики — еще и умереть. Эта мысль Гюнтеру не понравилась.

Врачи говорили, что увеличить продолжительность жизни можно лишь с помощью денег. Денег Гюнтеру хватало только на жизнь, а на ее спасение — нет.

— Что говорят врачи? — спросил Читатель.

— Ничего хорошего.

— Очень интересно, — сказал Читатель и представился: — Вальтер Шульц.

На следующий день Гюнтера из больницы выписали. Жить в неизвестности или найти деньги.

Еще лежа в палате и плавая в поту, Гюнтер чувствовал, что денег не найдет.

Его выписали в тот же день, что и Читателя Вальтера Шульца.

Вальтер Шульц попросил у Гюнтера номер телефона. Гюнтер засомневался, давать ли, но не давать показалось неудобно. Вальтер Шульц пообещал позвонить. До сих пор читатели Гюнтеру не звонили: его читали только интеллектуалы.

Вальтер Шульц позвонил. Спустя ровно тридцать шесть дней после того, как Гюнтер на конкретных жизненных примерах убедился, что денег у него нет даже на жизнь.

Читатель сказал: у него есть финансовое предложение.

Квартиру Вальтера Шульца Гюнтер нашел легко. В престижном квартале проституток. У вокзала.

Дом девятнадцатого века кто-то додумался выкрасить в ярко-розовый цвет. В окна квартиры было видно все живое человеческое изобилие квартала.

В интерьере Читателя, Вальтера Шульца, образованный человек мог различить мотивы французского борделя. На темно-синей бархатной стене в рамках висели девять старинных эротических открыток. Если подойти поближе, можно было рассмотреть девять пухлых, совершенно обнаженных дам в робко-непристойных позах.

— Французские, — сказал невысокий, темный хозяин квартиры и погладил бородку.

В больнице он был без бородки, вспомнил Гюнтер.

В дамах на старинных раскрашенных французских открытках не было ни соблазна, ни непристойности. Они выглядели милыми и смешными.

— Представьте себе свою бабушку, — сказал хозяин квартиры. — Великолепный наборчик, купил в Бельгии, — сообщил хозяин квартиры, следя за взглядом Гюнтера. — В комплекте их должно было быть десять, но я нашел только девять. Одной недостает.

— Наверное, самой лучшей, — сказал Гюнтер, пытаясь по имеющимся девяти догадаться, в какой позе могла быть десятая дама.

Библиотека Читателя Вальтера Шульца, включавшая несколько тысяч томов на шести языках, выглядела впечатляюще.

— Составляю по методу Варбурга, — сказал Вальтер Шульц. — Вы знакомы с его методом?

— Да, разумеется, — ответил Гюнтер, рассматривая книги.

Об Аби Варбурге он где-то читал. Расставляя тома своей библиотеки, Аби использовал принцип ошибки: на тех или иных тематических полках вдруг попадалась книга, к теме совершенно не относящаяся. Такое грубое вторжение провоцировало у читателя неожиданные ассоциации. Варбург совершенствовал свою систему до тех пор, пока не угодил в сумасшедший дом. А его библиотека и библиотечный принцип остались существовать, будоража и видоизменяя умы других людей.

— Виски? — спросил Шульц.

— Нет, спасибо.

За стеной равнодушно гудел фагот.

— Культурные соседи? — спросил Гюнтер.

— Не здороваются, — ответил Вальтер Шульц. — Вы слышали об антроподермической библиопегии?

— Книги о болезнях кожи?

— Нет, — ответил Шульц, взяв с книжной полки маленькую книжечку. — Знаете, что́ это?

— Книга.

— И она обтянута...

— Кожей.

— Челове́ческой кожей.

— Человеческой кожей?

— И это еще не самый лучший образец антроподермической библиопегии. Хотя дорогой.

— А какой самый лучший?

— Когда видны сосок и татуировка на груди.

— Это немецкая?

— Немецкая. Более дорогие образцы обычно французские... Времен революции... Из кожи гильотинированных аристократок. Восемьдесят тысяч.

— ?

— Предлагаю восемьдесят тысяч.

— За что?

— За вашу кожу.

— Вы хотите снять с меня кожу?

— После.

— После чего?

— После того. Только криминальная эксгумация мне ни к чему, — сказал Шульц. — Хотите виски?

— Коньяка, — Гюнтер колебался, не уйти ли, но остался.

— Я тут составил договор на две книги. Можете не спешить. Подумайте недельку. Если решитесь, сделайте вокруг каждого соска на груди татуировку со своим именем и названием книги.

— Какой?

— Второй и третьей. Если только четвертую не написали.

— Не написал.

— Тогда второй и третьей. Вот ваш коньяк.

Гюнтеру хотелось уйти как можно скорее. Шульц его не удерживал. Дверь отперлась сама. В это время на лестничную клетку вышел человек с футляром от фагота, и Гюнтер сбежал по ступенькам вниз. С другой стороны улицы в него, напряженно щурясь, вглядывались проститутки. Им тоже иногда нужны очки, подумал Гюнтер, хоть это и не профессиональное заболевание.

В ту минуту он еще был способен думать, но, когда мысль о сделке скатилась куда-то вниз, в голове у него стало пусто.

Хотя домой он добрался целым и невредимым, два дня он не вставал с постели. Лежа в кровати, Гюнтер продавал вещи. Мысленно. Едва набиралась сумма в десять тысяч.

Потом он вспомнил все известные ему по литературе сделки. Чаще всего в обмен на любовь, славу или деньги человек жертвовал какими-то эфемерными вещами: душой, снами, смехом, голосом. Предложение Вальтера Шульца было конкретно и не содержало ни малейшего намека на тошнотворную мистику.

Прошло еще два дня, и Гюнтер решил позвонить.

Как же этот неизвестный Читатель обрадовался его звонку!

— Хорошо, — сказал Гюнтер.

— Вы сделали татуировку?

— Я сделаю татуировку.

Татуировки вызывали у Гюнтера инстинктивное отвращение.

— К вам друг, — сказала медсестра.

— У меня нет друзей, — сказал Гюнтер.

Как и многие писатели, он придерживался мнения, что друзья писателю не нужны. Только мешают писать. Хотя Гёте даже женщины не мешали.

В дверях стоял довольный жизнью Вальтер Шульц с виноградом в руках.

— Как мы себя чувствуем?

— Лучше.

— Виноград можно?

— Отравленный?

— Да. И мытый.

Приход Шульца Гюнтера порадовал. Они сидели, молчали и ели виноград.

— Испанский? — спросил Гюнтер.

— Испанский, — ответил Вальтер Шульц, пересаживаясь с кровати Гюнтера на принесенный медсестрой стул, — из Израиля.

Потом они почти не виделись, только каждый год на Рождество Гюнтер получал от Шульца поздравление.

Поздравления Вальтер Шульц писал на раскрашенных французских порнографических открытках с пухлыми дамами. Один раз Шульц даже поздравил его с новой книгой и пожелал здоровья.

Открытки Гюнтера радовали.

Их набралось шесть штук, а седьмую он не получил. Восьмую — тоже.

Гюнтер позвонил Вальтеру Шульцу на улицу Трех Королей, но к телефону никто не подошел. Он позвонил еще раз.

Спустя неделю он пошел в розовый дом у вокзала. Даже подошел к двери Шульца и позвонил, но никто не открыл.

На шум, а может, по своим делам, из соседней квартиры вышел мужчина с фаготом без фагота. Ему уже было пятьдесят, и выглядел он некультурно.

— Извините, здесь раньше жил Шульц...

— Больше не живет.

— Переехал?

— Можно и так сказать.

— Умер?

Фаготист кивнул головой.
— Давно?
— Пару лет назад.

На улице началась метель, снег ложился прямо на раскатанный детьми тротуар, и Гюнтер пообещал себе, что если он сегодня не сломает позвоночник, то завтра, самое позднее — послезавтра, купит новые ботинки. Те, желтые, из выворотной кожи.

Лежа на спине у ступенек, ведущих в полуподвал, ругаясь и боясь шевельнуть ногами, Гюнтер думал, что желтые ботинки из выворотной кожи ему уже не понадобятся. Через стеклянную дверь было видно, как внизу, в полуподвале мастер-татуировщик выкалывает какому-то идиоту русалку на плече. Гюнтер пошевелил ногами. Это означало, что он может встать. И даже спуститься вниз по ступенькам. Татуировщик поднял голову. Узнал, подумал Гюнтер и спросил:

— Сколько стоит вывести татуировку?

— Не могли бы вы зайти через пару часов? — спросил татуировщик.

— Сколько стоит вывести татуировку? — еще раз спросил Гюнтер.

— Зависит от площади.

— Покажите, — сказал мастер.

Гюнтер снял свитер.

— Я передумал. Я бы хотел не вывести, а сделать татуировку.

Мастер осмотрел место будущей наколки.

— Два слова. С левой стороны.

— С левой стороны у вас уже есть татуировка, — сказал татуировщик и прочитал вслух черные надписи вокруг сосков: Günter Grass. Katz und Maus.[1]

Мастер посмотрел Гюнтеру прямо в глаза. Взгляду недоставало расстояния, и Гюнтеру стало неприятно. Узнал, подумал Гюнтер.

— Повыше.

— Без проблем. Что наколоть?

— Вальтер Шульц.

— Вальтер Шульц?

— Вальтер Шульц.

1. Гюнтер Грасс. Кошки-мышки (*нем.*). (*Прим. перев.*)

Гинтарас Бярснявичюс

Из книги “Сбежавшее поместье”

Часть 1 “Подлинное лицо истории”

Перевод Томаса Чепайтиса

Отвага литовцев

ЛИТВИНЫ были крайне отважны, однако среди окружающих племен выгодно выделялись также благонравием и здоровьем. Поэтому все их боялись. К югу от литвинов обитало даже племя костобоков, а назывались они так потому, что соседи-литовцы без устали ломали им ребра.

Едва услышав, что ребра соседей срослись, литвины с дубинками уже тут как тут.

Литвины и андрофаги

К северу от литвинов некогда жили андрофаги, о коих Геродот, имевший с ними какие-то общие дела, писал, что они прозваны так за то, что едят людей, ведь *андро* — это примерно человек, а *фаго* — жрать, наворачивать. Питались андрофаги соседями и друг другом, зубами разрывая сырое мясо.

Литвины, не выдержав, послали к ним культурную миссию, установившую там культуру и порядок — то есть научили их варить, парить и жарить, а также коптить.

Соприкосновение великих цивилизаций

Как-то египетский фараон Рамзес выведал у своих жрецов, что на севере якобы обитает великое племя литовцев, создавшее свои собственные, земляные, пирамиды и понасыпавшее

© Gintaras Beresnevičius, 2005
© Томас Чепайтис. Перевод, 2015

их не десятки, а несколько тысяч, и что литовцы славятся мудростью и добротою и правят множеством северных народов.

Рамзес не поверил, но на всякий случай послал несколько писцов и бальзамировщиков разобраться что к чему, и, если эти рассказы — правда, пусть египтяне поучатся у литовцев чему-нибудь хозяйственно полезному.

Египтяне и впрямь увидели много полезного, но в хозяйстве им это вряд ли могло пригодиться, потому что, хотя курганы и произвели на них впечатление, столько земли в Египте не нашлось бы, а насыпáть пирамиды из песка — занятие пустое. Поучиться премудрости и добродетели египтянам тоже не удалось: им с литовцами никак не удавалось договориться, ведь литовцы, как все нормальные люди, говорили по-литовски, а египтяне объяснялись иероглифами.

Египтяне научили пруссов мумифицировать сородичей и отправились восвояси.

После чего египтяне стали лениться, забыли воевать и пришли в упадок.

Александр литовцев боится

Александр Македонский, собираясь идти на персов, раздумывал, не завоевать ли ему знаменитых литвинов, которые еще во время оно были знамениты тем, что о них решительно ничего не было известно.

Послал он гонцов на север. Последние, идучи оврагами да болотами, достигли наконец литовских окраин и увидели, что дальше там ничего нет, одни перья в воздухе летают, весь воздух — одни перья, даже дышать затруднительно. Обернувшись, вернулись домой и поведали, что видели; Александр, вестимо, подумал, что это литвины перья гусиные для подушек щиплют и что литвинов этих тьма-тьмущая, сладу с ними никакого не будет. Посему двинулся на Персию.

Ну и молодец, потому как, двинувшись на север, замерз бы, подхватил бы насморк и в таком виде — с носом, забитым перьями, — предстал бы перед греками, а те бы его на смех подняли да Александром Сопливым прозвали, а вовсе никаким не Великим.

Дворяне на курганах

Литвины страсть как любили курганы сыпать; столько их насыпали, что и ста экскаваторам до Судного дня не разворо-

тить, и каждый дворянин со своей дворней, воздвигнув курган, залезал на него да вдаль глядел с тоскою, потому как, по сути, не знал, что еще с этим курганом делать.

Вечерами любо-дорого поглядеть: взгромоздится на каждый курган по дворянину — вдаль глядят, судачат, табачком, топорами делятся.

Как вдруг — ну в бородах чесать, только пыль летит да дохлые пчелы!

Чешут, чешут, глазами сверкают — все одновременно!

Контрадикции с северными народами

Литвины и вообще были народом, склонным к меланхолии, а вдобавок еще, стоя на курганах, стали они замечать всякие такие тени, снующие мимо них туда-сюда. Поначалу литвины думали, что это всего лишь особо шустрые бабай или бабайка, но через десяток с лишним лет, поймав на опушке в силки одного такого господинчика, выяснили, что это датчанин (дан), спешащий из Ютландии в Византию, еще же сильнее удивились они, когда дан этот им поведал, будто даны, по собственному своему мнению, владеют Литвой и Куршем.

Даны эти так быстро всё делали, а самих их было так немного, что литвины только моргать успевали, не понимая, что же это такое творится. Как-то один дан сказал, пробегая мимо, что датский король построил церковь неподалеку, но, пока литвины прочухали что к чему, пока собрались поглядеть, пока доковыляли, датская церковка эта уже совсем в землю ушла, заросла плющом, а сами даны дали деру то ли в Византию, то ли еще куда-то.

Отношение литвинов к огню

Литвины огонь очень уважали, византийцы даже прозвали их за это пирсолатрами, или огнепоклонниками. Едва завидев где-нибудь в лесу огонек, литвин тут же, сломя голову, мчится туда и глядит, глядит на пламя.

И так у него тепло, так хорошо на душе становится.

Коварные тевтонцы этой склонностью не преминули воспользоваться: по вечерам разводили у Рагайне костерок и прятались в засаде. За ночь им пять-шесть литовцев, приплывших на веслах из-за Мемеля, попадалось, а то и все восемь.

Первый памятник литовского языка

Когда литвины на рождество 1207 года ворвались в земли Торейды, то заодно они ворвались и в нас. пункт Куббезэлэ, где как раз в церкви справляли рождественскую литургию. Прихожане разбежались, иных из них перерезали около церкви, а священники, по милости божьей закончив мессу, сняли все покровы и одежды с алтаря, сложили их в углу ризницы, в том же углу сели сами и спрятались. Тут как раз заходит один литвин, и, как позже писал в "Хронике Ливонии" Генрих Латвийский: "...едва они это сделали, как уже в церковь явился один из врагов, обежал все кругом, был уже почти в ризнице, но, увидев обнаженный алтарь и не найдя ничего, что можно присвоить, сказал 'Ба!' и пошел к своим".

Право, без шуток – это первый словесный звуковой памятник литовского языка, записанный очевидцами.

Ба!

Прочувствуем – какая глубина, хоть и не совсем литвинская...

Даже по этому ничтожному фрагменту можно судить, что у литвинов в XIII веке была теперь уже, увы, исчезнувшая форма разочаровательно-восторгоизъявительных междометий в звательном падеже, выражавшая всю тщету бытия.

Юозас Эрлицкас

Из книги "Выхожу из берегов"

Перевод Томаса Чепайтиса

Позиции

ОДНИ меня считают мягкосердечным, другие, наоборот, жестоковыйным, третьи — вообще бесчувственным... Потому, решив себя проверить, я понял, что могу доверять только себе.

Лег я на письменный стол. В правой руке держу бутылку, а левой черчу линию на листе бумаги. Под вечер, после пятой стограммовки кардиограмма стала особенно извилиста.

Значит, с сердцем все в порядке. Это удручало. Люди с хорошим сердцем плохо живут.

Может, проверить умишко? Тут тоже непонятно, чему радоваться. Кто лучше живет — дураки или умные? Наблюдения привели к некоторым выводам.

Тех, кто постоянно мелькал в телевизоре, наш дворник Баранаускас называл дурнями. Но жили они хорошо, а Баранаускас — плохо. Я же Баранаускаса считал очень умным мужчиной, ведь он отлично умел считать чужие деньги, а сам умудрился много лет жить на минимальную зарплату и даже скопить на новую метлу.

— Ублюдки! — вечно грозил кому-то Баранаускас, потрясая кулаком. — Только о себе заботятся!

Услышав его, я вздрагивал, ведь я тоже заботился о себе. Не соседское сердце проверяю же.

— О человеке не заботятся! Расстрелять всех разом! — кричал он.

О человеке не заботился и я, но согласно кивал — боялся, что пристрелит. Слышал и я, что о человеке надо заботиться. Любить человека... Делать ему добро...

Да вот никак не мог себя заставить. Да и как выбрать, кого любить? Неужели этого крикуна Баранаускаса?

— Начхать им на простого человека. Дела им нет до проблем народа!

© Juozas Erlickas, 2013
© Томас Чепайтис. Перевод, 2015

Я киваю, как нанятый, даже шея ноет. Но если подумать, почему человек из Турнишек должен интересоваться моим соседом из Шнипишек? Если бы этот тип так не вопил, я тоже бы на него начхал.

Простые люди нисколько не интересуются простыми. Кто же, раскрыв журнал, ищет снимки бедняка, описание его жизни? Кто обернется, увидев такого на улице? Простые интересуются лишь непростыми, неординарными, освещенными светом софитов.

Но вы, непростые люди, сделайте одолжение, взгляните на нас!

Хорошо ли требовать от других того, чего сам не любишь и не хочешь делать?

Древние литовцы (Новое мышление)

РАБОТАЛ я как-то делопроизводителем... Как вдруг вбегает мэр и кричит:

– Там все уже взятки берут!

– Мы же на завтра планировали! – отвечаю. – Обойдемся без самодеятельности.

– Сегодня акция: берешь одну – получаешь две.

– Видно, у них срок годности закончился.

Я вызываю комиссара, спрашиваю, в чем дело.

– Ищи под пробкой, – дает он наводку.

Содрав форменную фуражку, нахожу на лысине рекламу шампуня от перхоти. Без труда разгадываю шифр. Перхотью мы называем пенсионеров, журналистов и других активистов. Сорт шампуня указывает позицию, оберегающую от злой силы, а сбалансированный pH – согласованную деятельность всех звеньев.

– Все в порядке, – вздыхаю с облегчением, – просто службисты задумали нас поощрить

– В правильном направлении мыслишь, – скалится мэр. – Мы ведь этой взятки можем вообще не брать. Такой пункт даже на повестке дня не стоит.

– Так, может, не брать? – улыбаюсь и я.

У него губа дрожит, вот-вот заплачет... Обнимаю его, хлопаю по плечу.

– Я пошутил.

– Так не шутят, – сурово чеканит руководитель.

На дворе – вместительный грузовик бизнес-класса, все клерки выстроились в ряд под надзором полиции – никакой тебе толкотни. Мы, знамо дело, берем без очереди. Мэр обе

взятки рассовывает по карманам, я же оставляю себе лишь полторы, а остальные распределяю между специалистами, ответственными за прием, расход и отдачу.

Тогда часов семь отдыхаю, так как неизбежны не слишком сильные, но все же ощутимые реакции отброса. Аграрная ментальность не поспевает за современными технологиями.

Вечером, взяв рябиновый посох, я сгоняю со ступенек ратуши оборотней. Им бы только нашей крови насосаться. Как же! Насосавшись, сами бы властелинами стали. Этих, порезвей, убиваю серебряными пулями, а их политические трупы складываю под забором — куда ни прячь, все равно ж воскреснут.

Ночью сверху начинают давить высшие силы. Я залезаю в сейф и запираюсь на ключ изнутри. Нет, я не нервничаю, ибо знаю, что иначе эти силы вести себя не умеют. Я и сам порой оборачиваюсь невидимкой и давай давить на других. Для того, кто не умеет себя защитить, нынче окаянные дни...

Разочарованные силы, воя, вылетают в трубу...

Ровно в полночь влетает знакомый упырь — это смотрящий одного ООО. Он хочет строить небоскреб, который теоретически стоял бы в Смердулишкисе, а практически — на берегу Куршского залива.

— Это не в нашей компетенции, — выкручиваюсь я.

— Кто правит Вильнюсом, тому Литва подвластна, — напоминает он.

А то нет. Но культурный клиент сначала открывает кошелек и лишь затем — варежку, или, простите, рот. Схватив серебряные ножницы, я отстригаю ему голову.

Конечно, это лишь временные средства — завтра ночью он приползет опять, обернувшись ужом. Но будет уже гибче и сговорчивей.

Внутренние хитрости

ПОМНИТСЯ, работал я как-то министром внутренних дел, так никого внутрь не пускал.

Прихожу к себе, выхожу вон и указываю:

— Ждите за дверью.

Но самому мне тоже внутри не сиделось. Вырою, бывает, под полом тоннель и вылезу наружу.

— Скажите, министр внутренних дел там, внутри?

— Внутри, внутри, — кивают посетители.

Я ну в дверь колотить:

— Вылезай, выродок!

Народ дивится моей смелости.

Лишь я один знаю, что внутри меня нет.
Подобные вещи и помогли выжить. А так — пропал бы зазря.

Лицом на Восток

КУПИВ Коран, я подумал: "Лишь бы не сжечь! Лишь бы не..."

Бросил курить, пищу разогревать, печку топить...

Вечерком, бывало, заходят арабы и спрашивают:

— Ну как, не сжег еще, иншалла, свой Коран?

— Нет еще, — показываю.

И ну все смеяться, радоваться.

Трудно вместе ужиться, но возможно.

Евромышление

В общем и целом я толерантен. Я могу полюбить даже мужчину. Но лишь такого, у которого голос не низок, не высок, приятная фигура, который на кухне как дома, умеет стирать и гладить. Мой любимый мужчина обязан быть ничем не хуже женщины. А иначе — на кой он мне.

Я толерантен и ко всем чужеземцам, пока они там у себя, на чужой земле.

Я даже другие культуры могу уважать. Хотя какая там у них культура — топотать, лопотать и филином ухать... Однако, глядя на их топот, я понимаю, насколько культурен я сам.

Я толерантен и к инакомыслящим, хотя и не верю, что можно мыслить иначе. Когда я вижу избу, то я и мыслю: изба.

Может, вы иначе мыслите, потому что сидите в теплой избе, а я стою на дворе. Босой. Под ливнем.

Весело вам? Вы там вдвоем? Один белый, другой цветной. Белый на гармошке пилит, цветной топочет.

Конечно, я толерантен к чужому мнению, хотя мне ясно: если вы иного мнения, то на мое мнение вам наплевать. Вы думаете, я ничего не понимаю?

Но вот подожгу я вашу избу — тогда до вас дойдет, что я все понял.

Страна моя, моя чужбина

МОЛОДЕЖЬ бежит в заграницы. Ну и отлично! Скатертью дорожка! Зачем нам тут молодежь? Меньше молодежи — меньше шуму.

Вместе с молодежью сгинет в лондонах с парижами и среднее поколение. Эти еще назойливее. И останутся в Литве одни старички да старушки.

А старушечья Литва ничуть не похожа на постаревшую Европу, где большинство на ладан дышит. В Литве дышать на ладан будет не большинство. А все!

Вы скажете, это гибнущее государство. Ничуть! Каждый литовец, достигнув определенного возраста, станет гражданином старческой Литвы и получит право на постоянное там проживание. Число жителей, таким образом, всегда будет около миллиона, а для нашей территории это оптимально. Юные родственники смогут навещать предков только в визовом режиме, а гражданства им не видать как своих ушей.

Кто станет зарабатывать пенсии? Да полно вам! Старички свои пенсии давно уж заработали. Вы только покажите, где они их прячут.

Чем прославится старушечья Литва? Наверняка не преступностью и не проституцией. Это будет страна высоких технологий. Старичкам, особенно совсем древним, трудно двигаться, и современные технологии будут тут на каждом шагу. За столом роботы поднесут дедушке ложку ко рту, рот ему откроют, а в постели и перевернут, и согреют, и под ним вытрут и за ним подотрут.

На какие средства все это устроится?

Государство старичков будет единственным в мире — сколько ж понаедет туристов поглазеть на такое диво! Сколько денег оставят!

Нет сомнений, поддержит и Европа. Государство старичков — интересное образование. Европа тем и хороша, что поддерживает редкие по глупости проекты.

Нет сомнений, что поддержат и пришельцы, без устали шныряющие около Земли, и не высаживающиеся лишь потому, что не находят приличного государства.

Много ли старику надо?

Много. Очень много.

И он все это получит, потому что средства не будут растрачены на образование (молодежь-то ту-ту, на чужбине!), на оборону края (кто посмеет напасть на государство старичков?), на культуру (старички и так народ культурный), науку (она уже не лезет в голову), полицию (дедушки и бабушки крайне редко занимаются разбоем), охрану окружающей среды (больше нет сил эту среду разорять). Не будет расходов на спорт и другие глупые забавы.

Конечно, пройдут выборы самых красивых старушек. Неужели искусственное бедро старицы хуже силиконовой груди какой-то юницы?

Будет избран и мистер Альцгеймер.

А может, старички даже примут участие в Олимпийских играх. Узнать, какую высоту взял столетний дедушка, — значит определить подлинные границы человеческих возможностей.

Слепые с глухими устроят плодотворные дискуссии о том, что слыхать о Литве и как эта Литва смотрится. Ну а глухой, слепой и тронутый коллега обобщит: Литвы вообще не существует. Она лишь образ, да и тот далече.

Хорошо будет, спокойно.

Венок мечтаний

КОГДА всю землю в Литве скупят иностранцы, мы и очутимся за границей.

Не надо будет скитаться, счастья добиваться.
Зарабатывать будем вволю, состаримся достойно.
В озарении привольном Литву узрим свободной.

Среди книг

с Марией Чепайтите и Рутой Мелинскайте

The Dedalus Book of Lithuanian Literature. — UK: Dedalus Books, 2013. — 215 с.

Антология литовской прозы начинается объемным вступлением профессора А. Самалавичюса "Могущество и немощь времени", которое знакомит западного читателя с историей литовской литературы XX века в контексте исторических и политических перемен. В книге представлена малая проза — рассказы и эссе, но есть и главы из двух романов, документальная проза. Издатель книги Эрик Лейн замечает, что литература аграрной Литвы, еще только переселяющейся в города, пронизана магией и суевериями, сложными социальными отношениями, и на все это ложится тень России, ощутимая и в трагических послевоенных сюжетах, и в произведениях советского времени.

Томас Венцлова *Пограничье.* — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 640 с.

Сборник публицистики разных лет. Т. Венцлова: "Глобальный опыт — сплошное пограничье: жизнь на этом пограничье заставляет постоянно пересекать рубежи, не покладая рук бороться с изоляцией. Это не обязательно сделает мир однообразным: границы останутся, чтобы сохранять индивидуальную красоту, но они никогда, надеюсь, уже не будут непреодолимыми. Мы знаем, что пограничные ситуации могут быть плодотворными, но в них же могут возникать и споры, и даже непримиримая ненависть, и стремление укреплять старые стены или возводить новые. Увы, тому много примеров: возможно, в нашей части глобального мира, в Центральной Европе, — больше, чем где-нибудь еще. Но этому можно противостоять".

Barbora Didžiokienė: *mažosios dailininkės prisiminimai. I knyga.* — Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras, 2011. — 615 с.[1]

Написанные по-русски воспоминания художницы и сценографа Барборы Диджекене (1896–1976), в девичестве Варвары Гороховой, хранятся в

1. Барбора Диджекене: *воспоминания маленькой художницы. Книга первая* / Составитель Р. Рахлявичюте, перевод с русского на литовский И. Мишкинене.

Национальном музее М. К. Чюрлениса (Каунас). Жена литовского художника Владаса Диджекаса живо и непосредственно описывает детство в Санкт-Петербурге, юность в годы Первой мировой войны, замужество в довоенной Литве и старость в Литве советской. Первое издание воспоминаний в переводе на литовский язык сделано Центром гендерных исследований Вильнюсского университета, щедро иллюстрировано рисунками, фотографиями.

Литовские народные сказки / Сборник подготовила и сказки перевела Бронислава Кербелите; редактор перевода Юрий Новиков. — М.: Форум-Неолит, 2014. — 415 с.

Первый научный сборник литовского фольклора на русском языке, составленный профессором Б. Кербелите, посвятившей большую часть жизни исследованию сказок. Публикуются произведения двух самых архаичных жанров: сказки о животных и волшебные сказки. В сборнике представлены варианты из всех этнографических регионов Литвы, подбор текстов отражает историю собирания и публикации литовских сказок: от первых записей в середине XIX века до текстов из рукописных источников, которые собирала сама Б. Кербелите. Благодаря замечательному переводу, книга может заинтересовать не только фольклористов, но и лингвистов, и всех любителей сказок.

Ruta Sepetys *Between Shades of Gray*. — USA: Penguin Group, 2011. — 352 с.

"Меж серыми облаками" — первый роман американки литовского происхождения Руты Шяпятис, признанный "Нью-Йорк таймс" бестселлером, получивший ряд наград как лучший роман для юношества во Франции, Бельгии, Италии и других странах. Написан на английском языке, за 4 года переведен на более 30 языков, издан в 48 странах мира. Сюжет книги частично основан на исторических событиях, повествование ведется от лица пятнадцатилетней девочки, которая рассказывает о ссылке в Сибирь в 1941 году семьи каунасских интеллигентов. Переживания девочки переданы настолько эмоционально и правдоподобно, что многие читатели принимают книгу за документальное свидетельство.

Рута Мелинскайте
Rūta Mėlinskaitė
Филолог, переводчик с русского и английского языков на литовский.

Переводит киносценарии, редактирует научную и художественную литературу. Координатор литературных проектов в Институте культуры Литвы. В *ИЛ* публикуется впервые.

Мария Чепайтите
Marija Čepaitytė
Переводчик с литовского. Живет в Москве.

В ее переводах напечатана книга Т. Венцловы *Вильнюс – город в Европе* [2012], проповеди о. Станисловаса Добровольскиса в книге *Из богословия скверико́в и деревушек* [2013] и др. Составитель книг о Н. Трауберг *Дар и крест* [2010, совместно с Е. Рабинович] и *Домашние тетради* [2013].

Юрате Сприндите
Jūratė Sprindytė
Литературовед, критик. С 1974 г. работает в Институте литовской литературы и фольклора. Член редколлегий четырех журналов, главный редактор одного из них. Доктор гуманитарных наук, действительный член Академии наук Литвы.

Пишет статьи и рецензии о прозе XX–XXI вв. Автор книг *Акварели критики* [*Kritikos akvarelės*, 1980], *Лиризм в современной литовской прозе: аспект стиля* [*Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje: stiliaus aspektas*, 1989], *Литовская повесть* [*Lietuvių apysaka*, 1996], *Состояния прозы. 1988–2005* [*Prozos būsenos*, 1988–2005, 2006].
Очерк написан специально для *ИЛ*.

Марюс Ивашкявичюс
Marius Ivaškevičius
[р. 1973]. Драматург, прозаик, журналист, сценарист, режиссер. Лауреат нескольких литовских премий за лучшую национальную драматургию и международных премий за лучшие сценарии и постановку фильмов. В 2014 г. награжден медалью *За заслуги перед Литвой*.

В 25 лет дебютировал как драматург, спектакли по его пьесам поставлены в Литве, России, Италии и др. странах. Автор сборников рассказов *Кому детей* [*Kam vaikų*, 1996], *История от облака* [*Istorija nuo debesies*, 1998], романов *Поход викингов в Ануоле* [*Vikingų žygis į Apuolę*, 1998] и *Зеленые* [*Žali*, 2002; рус. перев. 2006], издано несколько сборников пьес. Сценарист и режиссер-постановщик фильмов *Мой отец* [*Mano tėvas*, 2006], *Отче наш* [*Tėve mūsų*, 2010] и *Санта* [*Santa*, 2014]. Спектакль по пьесе *Мадагаскар* [реж. Р. Туминас] поставлен в Москве в 2006 г., пьеса *Малыш* – в 2010 г. хабаровским ТЮЗом [реж. А. Даряла] и в 2011 г. красноярским драматическим театром им. А. С. Пушкина [реж. К. Кучикин], спектакль по пьесе *Кант* [реж. М. Карбаускис] – в 2013 г. в московском театре имени Вл. Маяковского.
Его произведения переведены на английский, итальянский, польский, французский, немецкий и др. языки. На русском языке публиковался в журналах *Дружба народов*, *Вышгород* и *Современная драматургия*.

Пьеса *Мистр* [*Mistras*, 2010] была поставлена в 2010 г. реж. Римасом Туминасом в Малом театре Вильнюса, спектакль стал лауреатом Фестиваля театров Балтики.
Перевод выполнен по изданию *Мистр* [*Mistras*. Vilnius: Tyto Alba, 2010].

Юдита Вайчюнайте
Judita Vaičiūnaitė [1937–2001]. Поэт, переводчик, драматург. Лауреат Государственной премии Литвы, премии Балтийской ассамблеи и др. В 1997 г. награждена орденом Гедимина 4 степени. В районе Панеряй под Вильнюсом ее именем названа улица.

Переводила А. Ахматову, О. Берггольц и др. поэтов, стихи для литовского издания *Алисы в Стране чудес* Л. Кэрролла. Опубликовала более 20 сборников поэзии, среди них – *Солнце-кочевник* [*Klajoklė saulė*, 1974], *Змей бессонницы* [*Nemigos aitvaras*, 1985], *Венки Жямины* [*Žemynos vainikai*, 1995], *Арка небес* [*Debesų arka*, 2000]. Стихи переведены на английский, норвежский, латышский и др. языки. Среди множества опубликованных при жизни книг – сборники одноактных пьесказок и стихов для детей, мемуарная проза *В зеркале детства* [*Vaikystės veidrody*, 1996]. После смерти издано собрание сочинений в 3-х тт. На русском языке вышли два сборника поэзии: *Стихи* [1960] и *В месяц незабудок* [1987], стихи также публиковались в *Литературной газете*, *Комсомольской правде*, *Литературной России* и др. На английском языке вышла антология поэзии *Selected Poems of Judita Vaiciunaite: Fire Put out by Fire* [1996].
Главы из книги *Гостиница Мабре* публикуются по изданию *Mabre viešbutis* [Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009].

Ричардас Гавялис
Ričardas Gavelis [1950–2002]. Прозаик, драматург, публицист. Окончил факультет физики Вильнюсского университета, работал в Институте физики АН Литвы, в журналах и газетах. В 2000 г. награжден литературной премией Вильнюсского клуба и телевидения Вильнюса.

Автор пяти сборников рассказов, восьми романов, в том числе *Вильнюсский покер* [*Vilniaus pokeris*, 1989, 2000], *Вильнюсский джаз* [*Vilniaus džiazas*, 1993], *Жизнь Сунь-Цзы в священном городе Вильнюсе* [*Sun – Tzu gyvenimas šventame Viniaus mieste*, 2002] и др., нескольких пьес. Книги переведены на английский, польский, финский, немецкий и др. языки.
Новелла *Безрукий* [*Berankis*] публикуется по изданию *Ангел тишины* [*Tylos angelas: apysakos ir apsakymai*. Vilnius: Tyto Alba, 2006].

Ромуальдас Гранаускас
Romualdas Granauskas [1939–2014].
Прозаик, эссеист, драматург, сценарист. Работал строителем, слесарем, радиокорреспондентом, учителем, ре-

Автор 24-х книг, в том числе повести *Жизнь под кленом* [*Gyvenimas po klevu*, 1988], пьесы *Цветение розы в темноте* [*Rožės žydėjimas tamsoj*, 1978], романов *Омут* [*Duburys*, 2003], *Туман над долинами* [*Rūkas virš slėnių*, 2007], *Три одиночества* [*Trys vienatvės*, 2011], киносценариев *Лето кончается осенью* [*Vasara baigiasi rudenį*, 1982], *Уроки ненависти* [*Neapykantos pamokos*, 1983] и др. На русском языке изданы книги *Едоки хлеба* [1980, 1990], *Белый венок для черного паровоза* [1987], *Жизнь под кленом*

дактором. Заслуженный деятель культуры Литовской ССР [1990], лауреат Национальной премии в области культуры и искусства [2000], награжден орденом Гедимина 4 степени [1999].

[1989, 1990]; рассказы публиковались в журналах *Дружба народов* и *Вокруг света*. Две новеллы публикуются по изданию *Жития святых* [*Šventųjų gyvenimai*. VILNIUS: LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA, 2013]. Приз лучшей книги на Вильнюсской книжной ярмарке 2014 г.

САУЛЮС ТОМАС КОНДРОТАС
SAULIUS TOMAS KONDROTAS

[р. 1953]. Прозаик, сценарист, фотограф. Эмигрировал из Литовской ССР в 1986 г., с 2004 г. живет в США. В 1989–2004 гг. работал на радио *Свобода*. Награжден орденом Гедимина за литературные достижения и распространение свободной мысли [2002].

Автор сборников рассказов *Мир без границ* [*Pasaulis be ribų*, 1977], *Истории разных времен* [*Įvairių laikų istorijos*, 1982], *Род герба Кентавра* [*Kentauro herbo giminė*, 1989], *Любовь по Иосифу* [*Meilė pagal Juozapą*, 2004] и двух романов – *И омрачатся глядящие в окно* [*Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą*, 1985] и *Взгляд змия* [*Žalčio žvilgsnis*, 1981]. Последний переведен на немецкий, португальский, итальянский, французский и др. языки, экранизирован в нескольких странах. Новеллы переводились на итальянский, эстонский, английский, латышский, немецкий, французский, сербский и др. языки.
Рассказ *Рождение нации* [*Tautos gimimas*] публикуется по изданию *Любовь по Иосифу* [*Meilė pagal Juozapą*. VILNIUS: LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA, 2004].

АЛЬВИДАС ШЛЯПИКАС
ALVYDAS ŠLEPIKAS

[р. 1966]. Поэт, прозаик, актер, режиссер, сценарист. Работает в еженедельнике *Литература ир мянас* [*Литература и искусство*]. Награжден литературными премиями Литвы за поэзию.

Дебютировал как поэт в 1994 г., автор поэтических сборников *Мир крови твоей* [*Taika tavo kraujui*, 1997] и *Близящаяся тишина* [*Tylos artėjantis*, 2003], сборника новелл *Бог дождя* [*Lietaus dievas*, 2005], романа *Мое имя – Марите* [*Mano vardas – Marytė*, 2011; признан лучшей книгой 2012 г.].
Новелла *Выпускной вальс* [*Išleistuvių valsas*] взята из еженедельника *Literatūra ir menas* [2013, № 2].

ДАНУТЕ КАЛИНАУСКАЙТЕ
DANUTĖ KALINAUSKAITĖ

[р. 1959]. Прозаик. Работала в журналах, издательствах и в Институте литовской литературы и фольклора. Лауреат премий Союза писателей Литвы и Института литовской литературы и фольклора.

Автор сборников рассказов *Ушедший свет* [*Išėjusi šviesa*, 1987] и *Никогда не знаешь* [*Niekada nežinai*, 2008]. Ее рассказ вошел в антологию женской литовской прозы на английском языке *No Men, No Cry* [2011].
Новелла *Выселить призрака* [*Išregistruoti vaiduoklį*] взята из сборника *Никогда не знаешь* [*Niekada nežinai*. VILNIUS: BALTOS LANKOS, 2008].

Антанас А. Йонинас
Antanas A. Jonynas
[р. 1953]. Поэт, переводчик. С 2011 г. — председатель Союза писателей Литвы. Лауреат Национальной премии в области культуры и искусства [2003] и премии *Весна поэзии*.

Автор 16-ти сборников поэзии, среди них: *Год как дрозд* [*Metai kaip strazdas*, 1977], *Корабль памяти* [*Atminties laivas*, 1980], *Ночной поезд* [*Nakties traukinys*, 1990], *Водопад подо льдом* [*Krioklys po ledu*, 1997], *Рецидив ноября* [*Lapkričio atkrytis*, 2003], *Комната* [*Kambarys*, 2011]. Переводил И. Нолль, Х. Эккерта и др. немецких писателей, стихи с разных языков, *Фауста* Гёте. Его стихи переведены на английский, немецкий, испанский, польский, шведский и др. языки. На русском языке публиковался в журнале *Северная Аврора*, в издательстве ОГИ вышел двуязычный сборник поэзии *Сонеты и другие стихотворения* [2014].
Публикуемые стихи взяты из сборников *Ночной поезд* [*Nakties traukinys*. Vilnius: Vaga, 1991], *Рецидив ноября* [*Lapkričio atkrytis*. Vilnius: Tyto Alba, 2003], *Комната* [*Kambarys*. Vilnius: Tyto Alba, 2011].

Гитис Норвилас
Gytis Norvilas
[р. 1976]. Поэт, переводчик, эссеист, художник, фотограф. Главный редактор еженедельника *Литература ир мянас*.

Автор трех поэтических книг *Камне-ломка* [*Akmen-skeltes*, 2002], *Завтрак саранчи* [*Skėrių pusryčiai*, 2008], *Зоны разрядов* [*Išlydžių zonos*, 2012]. Переводил древнеиндейский и тувинский фольклор, переводит современную немецкую [Хуго Балл, Курт Швиттерс, Освальд Винер] поэзию. Автор рисунков и художественных фотографий.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Гинтарас Патацкас
Gintaras Patackas
[р. 1973]. Поэт, прозаик, переводчик. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии *Весна поэзии* [1998].

Автор более 20-ти сборников поэзии: *Изгнание из рая* [*Išvarymas iš rojaus*, 1981], *Двуликий Янус* [*Dviveidis Janas*, 2002], *Избранные стихотворения* [*Rinktiniai eilėraščiai*, 2012] и др., двух книг прозы. Перевел на литовский язык И. Бунина, Н. Гумилева, Д. Самойлова, И. Бродского, и др. Его стихи переведены на латышский, грузинский, венгерский и другие языки. На русском языке вышел сборник *Изгнание из рая* [1991] и двуязычные сборники поэзии *Очная ставка с самим собой* [2014] и *Малая Божественная Ко* [2014].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Томас Венцлова
Tomas Venclova
[р. 1937]. Поэт, переводчик, литературовед, эссеист, правозащитник. Один из основателей Литовской Хельсинской группы. В 1977-м эмигрировал, был лишен советского гражданства. Живет в США, профессор Йельского университета. Лауреат многочисленных лите-

Первая книга стихов — *Pontos Axenos* [1958, выпущена в самиздате]. Автор поэтических сборников *Знак речи* [*Kalbos ženklas*, 1972], *98 стихотворений* [*98 eilėraščiai*, 1977], *Сгущающийся свет* [*Tankėjanti šviesa*, 1990], *Разговор зимой* [*Pašnekesys žiemą*, 1991], *Вид из аллеи* [*Reginys iš alėjos*, 1998], *Избранное* [*Rinktinė*, 1999], сборников публицистики, литературно-критических и историко-литературных работ, сборника переводов, а также трех книг о Вильнюсе.
Переводил на литовский язык стихотворения А. Ахматовой, Б. Пастернака, И. Бродского, О. Мандельштама, В. Хлебникова, Т. С. Элиота, Ш. Бодлера, Ф. Г. Лорки, У. Х. Одена, Э. Паунда, З. Херберта, Ч. Милоша, В. Шимборской и др.

ратурных премий Литвы и международных премий, в том числе Национальной премии в области культуры и искусства [2000], *Балтийская звезда* [2008, Россия], *Золотая антилопа Тибета* [2011, Китай], поэтической премии Петрарки [2014, Мюнхен]. Награжден правительственными наградами, среди которых Большой крест ордена Заслуг перед Республикой Польша [2013]. Доктор honoris causa университетов: Марии Кюри-Склодовской [Люблин, 1991], Ягеллонского [Краков, 2000], Николая Коперника [Торунь, 2005], Витовта Великого [Каунас, 2010], Клайпедского [2012]. Почетный гражданин Вильнюса.

Его книги переведены на английский, венгерский, немецкий, польский, португальский, словенский, чешский, шведский, французский, итальянский, китайский языки. На русском языке вышли сборники поэзии *Гранёный воздух* [2002], *Негатив белизны* [2008], книги *Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов* [1986], *Собеседники на пиру* [1997], *Свобода и правда* [1999], *Статьи о Бродском* [2005], *Вильнюс: город в Европе* [2012], *Пограничье* [2015].

Публикуемые стихи взяты из сборника *Все стихи. 1956–2010.* [*Visi eilėraščiai. 1956–2010.* Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011] и публикаций в еженедельнике *Metai* [2013 №1, 2014 №10].

Перевод отрывка из книги интервью *Magnetic North*, которая готовится к печати, публикуется по рукописи.

Йонас Айстис
Jonas Aistis
[Йонас Александравичюс] [Jonas Aleksandravičius]
[1904–1973]. Поэт, эссеист. Закончил каунасский университет Витовта Великого, учился в Гренобльском университете. В 1944 г. защитил диссертацию о лингвистических аспектах переводов евангельских текстов на провансальский язык. В 1944–1945 гг. работал в архиве Ниццы и в Парижской национальной библиотеке. В 1946 г. переехал в США. Сотрудничал на радио *Свободная Европа*, работал в библиотеке Конгресса США. Лауреат Государственной премии Литвы [1937].

Автор восьми сборников поэзии, среди них: *Воображение мертво* [*Imago mortis*, 1934], *Погасшие очи химеры* [*Užgesę chimeros akys*, 1937], *Сестра обыденщина* [*Sesuo buitis*, 1951], *В хрустальном гробу* [*Kristaliniam karste*, 1957] и др., трех сборников рассказов и мемуарной прозы. Его стихи переведены на английский язык. В 2004 г. в г. Кайшядорис учреждена литературная премия им. Йонаса Айстиса.

Публикуемые стихи взяты из сборников: *Стихи* [*Eilėraščiai*. Kaunas, 1932], *Сокровенные песни* [*Intymios giesmės*. Kaunas, 1935], *В хрустальном гробу* [*Kristaliniam Karste*. Brooklyn, 1957].

Генрикас Радаускас
Henrikas Radauskas
[1910–1970]. Поэт, переводчик. Учился в учительской семинарии в Паневежисе, в каунасском университете Витовта Великого. Работал в Министерстве просвещения, в 1944 г. бежал на Запад. В 1949-м поселился в США, работал разнорабочим, с 1959-го – в библиотеке Конгресса США.

Автор десяти сборников поэзии, в том числе *Фонтан* [*Fontanas*, 1935], *Стрела в небе* [*Strėlė danguje*, 1950], *Зимняя песня* [*Žiemos daina*, 1955], *Стихи* [*Eilėraščiai*, 1965]. Переводил на литовский язык Т. Манна, С. Цвейга, Г. Гейне, И. В. Гёте, А. Ахматову, Б. Пастернака.
Публикуемые стихи взяты из сборников *Стрела в небе* [*Strėlė danguje*. Chicago, 1950] и *Зимняя песня* [*Žiemos daina*. Chicago, 1955].

Альфонсас Ника-Нилюнас
Alfonsas Nyka-Niliūnas
[Альфонсас Чипкус]
[Alfonsas Čipkus]
[1919–2015]. Поэт, переводчик, литературный критик. Учился в каунасском университете Витовта Великого, в 1944 г. бежал на Запад. Учился в Германии, в 1949-м переехал в США, работал в библиотеке Конгресса. Лауреат Национальной премии в области культуры и искусства [1997].
Почетный профессор университета Витовта Великого [Каунас, 1997].

Первые стихи опубликованы в студенческой газете в 1937 г. Автор 7-ми сборников стихов, в том числе *Древо Орфея* [*Orfėjaus medis*, 1953], *Богословие зимы* [*Žiemos teologija*, 1985], *Эрозия бытия* [*Būties erozija*, 1989], сборника критических статей *Темы и вариации* [*Temos ir variacijos*, 1996], сборника переводов *Чужая поэзия* [*Poezija iš svetur*, 2010], трех томов дневников. Переводил с французского [Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Клодель и др.], английского [У. Шекспир, Т. С. Эллиот и др.], итальянского [Дж. Леопарди и др.] и других языков.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Земля* [*Žemė*. Vilnius: Vyturys, 1991].
Отрывки из дневника публикуются по изданию *Фрагменты дневника 1938–1975*. [*Dienoraščio fragmentai 1938–1975*. Vilnius: Baltos lankos, 2002].

Миронас Гинкас
Mironas Ginkas
[Мирон Абрамович Гинкас]
[1912–1983]. Врач. Во время войны вместе с семьей был в Каунасском гетто, бежал. Был начальником Горздравотдела Каунаса, руководил станцией Скорой

Книга воспоминаний *Через колючую проволоку* была написана автором по-литовски, первый раз издана в Израиле на иврите [1990].
Глава из книги печатается по изданию *Через колючую проволоку* [*Per spygliuotą vielą*. Vilnius: Žydų kultūros ir informacijos centras, 2009].

помощи в Вильнюсе. Сын — московский режиссер Кама Гинкас.

Лионгинас Балюкявичюс
Lionginas Baliukevičius
[1925—1950]. Партизан, журналист, издатель. Учился на медицинском факультете, в 1944-м записался в немецкие войска, попал в плен. В 1946-м вернулся в Литву и стал участником сопротивления. Был принят бойцом в отряд партизан Дайнавского округа, выпускал газету, в 1949-м возглавил отряд. Награжден Крестом Битвы за Свободу II степени [1949], посмертно — Крестом Битвы за Свободу I степени [1950].

Дневник 1948–1949 гг. найден в архиве КГБ после восстановления независимости Литвы, в 1993 г. опубликован в периодике, переиздан в сборнике *Архив борьбы за свободу* [*Laisvės kovų archyvas.* Kaunas, 1993, Nr. 6]. В 2002 дополнен биографией и фотоматериалами, издан отдельной книгой.
Отрывки из дневника печатаются по изданию *Дневник партизана Дзукаса* [*Partizano Dzūko dienoraštis.* Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002].

Витаутас Кубилюс
Vytautas Kubilius
[1926—2004]. Литературный критик, литературовед. В 1955—2001 гг. работал в Институте литовской литературы и фольклора, заведовал отделом современной литературы. Преподавал в Вильнюсском университете, заведовал кафедрой литовской литературы, участвовал в восстановлении каунасского университета Витовта Великого. Один из создателей Хартии граждан Литвы [1991].
В 2012 г. Институт литовской литературы и фольклора учредил литературоведческую премию имени Витаутаса Кубилюса.

Автор 16-ти монографий, книг и сборников статей о литовской литературе XX века, в том числе *Литовская литература и процесс мировой литературы* [*Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas*, 1983], *Литература XX века* [*XX amžiaus literatūra*, 1995]. Составитель трех антологий литовской литературы, в том числе *Литовская поэзия двух веков* [*Litauische Poesie aus zwei Jahrhunderten* 1983]. Посмертно изданы письма, сборник воспоминаний о нем, два тома дневников. Его статьи печатались в научных изданиях Латвии, Эстонии, Венгрии, Польши, Германии и др. На русском языке издана книга *Современная литовская поэзия* [1969].
Тексты публикуются по изданиям *Дневники 1945–1977* [*Dienoraščiai, 1945–1977.* Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006] и *Дневники 1978–2004* [*Dienoraščiai, 1978–2004.* Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007].

Миндаугас Карбаускис
Mindaugas Karbauskis
[р. 1972]. Театральный режиссер.
Работал в театре-студии О. Табакова, в РАМТе, с 2011 г. художественный руководитель московского театра имени Вл. Маяковского. Лауреат многих театральных премий, в том числе К. С. Станиславского [2004, 2011], *Хрустальная Турандот* [2004, 2006], *Золотая маска* [2008].

В его постановке отмечены премиями спектакли: *Когда я умирала, Рассказ о семи повешенных, Рассказ о счастливой Москве, Ничья длится мгновенье, Будденброки, Таланты и поклонники* и др. Спектакль *Кант* по пьесе М. Ивашкявичюса стал лауреатом премии *Гвоздь сезона* [Москва, 2015].
Интервью Г. Ефремова с М. Карбаускисом взято специально для *ИЛ*.

Гедра Радвилавичюте
Giedra Radvilavičiūtė
Прозаик, эссеист. Училась в Вильнюсском университете, работала учителем, редактором. В 1994–1997 гг. жила в США. Лауреат премии Европейского Союза [2010].

Выпустила вместе с мужем каталог литовских и прусских книг до 1882 г. Автор двух сборников эссе *Спланированные мгновения* [*Suplanuotos akimirkos*, 2004] и *Сегодня у стенки буду спать я* [2010]. На английском языке издана книга эссе *Those Whom I Would Like to Meet Again*, ее эссе вошли в сборники литовской прозы *No Men, No Cry* [2011] и *The Dedalus Book of Lithuanian Literature* [2013].
Эссе *Притяжение текста* [*Teksto trauka*] печатается по изданию *Сегодня у стенки буду спать я* [*Šiąnakt aš miegosiu prie sienos*. Baltos lankos, 2010].

Сигитас Парульскис
Sigitas Parulskis
[р. 1965]. Поэт, прозаик, драматург, эссеист, критик. Закончил Вильнюсский университет, работал в газете. Лауреат литературных премий, в том числе Национальной премии в области культуры и искусства [2004] и премии Союза писателей [2004].

Автор семи сборников стихов, четырех сборников пьес, семи сборников короткой прозы и эссе, романов – *Три секунды неба* [*Trys sekundės dangaus*, 2004], *Дорифора* [*Doriforė*, 2004], *Бормочущая стена* [*Murmanti siena*, 2008], *Тьма и партнеры* [*Tamsa ir partneriai*, 2012] и др. Его стихи и эссе переведены на греческий, английский, латышский и др. языки, роман *Три секунды неба* – на шведский и итальянский языки. Глава из романа *Бормочущая стена* вошла в сборник литовской прозы *The Dedalus Book of Lithuanian Literature* [2013].
Эссе *Жертвоприношение* [*Aukojimas*] печатается по изданию *Голые одежды* [*Nuogi drabužiai*. Vilnius: Baltų lankų leidykla, 2002].

Юлюс Саснаускас
Julius Sasnauskas
[р. 1959]. Священник, эссеист. Диссидент, 1979–1986 гг. провел в ссылке в Томской об-

Автор сборников эссе *И вновь – Сын Человеческий* [*Dar kartą – Žmogaus Sūnus*, 1999], *Дневники бернардинцев* [*Bernardinų dienoraščiai*, 2002], *Акробатика Благодати* [*Malonės akrobatika*, 2006], *Post illa* [*Postilė*, 2009], *Уловимое и неуловимое* [*Pagaunama ir nepagaunama*, 2013]. На русском языке печатался в журналах *Истина и жизнь*, *Пермь*, его ессе изданы

ласти. Монах францисканского ордена, служит в вильнюсском костеле св. Франциска и Бернардина. Главный редактор радиостанции *Mažoji studija.* Обладатель статуэтки св. Кристофора *За любовь к Вильнюсу и вильнюсцам* [2012] и ряда правительственных наград за участие в сопротивлении.

вместе с проповедями о. С. Добровольскиса в книге *Из богословия скверvoв и деревушек* [2013].
Эссе *Вкус мацы* [*Macos skonis*] печатается по изданию *Акробатика Благодати* [*Malonės akrobatika.* Vilnius: Alma Littera, 2006].

Даля Стапонкуте
Dalia Staponkutė
Эссеист, переводчик, преподаватель. Закончила философский факультет ЛГУ, преподавала философию в Шяуляйском университете. Уехала из Литвы в 1989 г., живет на Кипре. Доктор философских наук [Кипрский университет].

Автор сборников эссе *Дождем против солнца* [*Lietumi prieš saulę*, 2007], *Из двух выбираю третье* [2014], монографии об американском философе Альфонсе Лингисе *Exultant Forces of Translation and the Philosophy of Travel of Alphonso Lingis* [2014]. Перевела на литовский язык произведения Н. Казандзакиса, Я. Кампанеллиса и др. Ее эссе переводились на английский, греческий и другие языки.
Фрагмент романа-эссе *Из двух выбираю третье* печатается по изданию *Iš dviejų renkuosi trečią* [Vilnius: Apostrofa, 2014. Приз лучшей книги на Вильнюсской книжной ярмарке 2015 г.].

Юргис Балтрушайтис
Jurgis Baltrušaitis
[1873–1944]. Поэт, переводчик, дипломат. Закончил Московский университет. Один из самых видных представителей символистской школы, сооснователь главных органов русского символизма – издательства "Скорпион" и журнала "Весы". С 1920 г. по 1939 г. представитель Литовской республики в Москве. Умер в Париже. Почетный доктор Каунасского университета Витовта Великого [1932].

Писал стихи на русском и литовском языках. Автор сборников стихов *Земные ступени* [1911], *Горная тропа* [1912], *Венок слез* [*Ašarų vainikas*, 1942], поэмы *Новоселье* [*Įkurtuvės*, 1941]. Тесно сотрудничал с Московским Художественным и Камерным театрами. Близкий друг К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, Вяч. Иванова, Дж. Папини, Дж. Амендолы, Г. Крэга, А. Коонен. На русский язык перевел произведения Дж. Байрона, Г. Ибсена, Г. Гауптмана, Г. Д'Аннунцио, К. Гамсуна, А. Стриндберга и других европейских писателей. Его стихи переведены на английский, армянский, болгарский, венгерский, немецкий, польский, французский и другие языки.
Перевод выполнен по фотокопиям с автографов Ю. Балтрушайтиса, хранящихся в архиве *Джованни Папини* [Fondazione e Museo Primo Conti (Fiesole, Firenze). FC/AP VII. C. 172].

Ундине Радзявичюте
Undinė Radzevičiūtė

Автор трех книг: мини-романов *Strekaza* [2003; рус. перев. 2005] и *Франкбург* [*Frankburgas*, 2010; рус. перев. 2012] и сборника коротких историй *Баден-Бадена не будет* [*Baden Badeno nebus*, 2011]. Ее

Закончила Вильнюсскую художественную академию. Работала креативным директором в международных рекламных агентствах.

произведения переведены на английский и итальянский языки.
Рассказ *Вальтер Шульц* [*Valteris Šulcas*] печатается по изданию *Баден-Бадена не будет* [*Baden Badeno nebus*. Vilnius: Baltos lankos, 2011].

Гинтарас Бярснявичюс
Gintaras Beresnevičius
[1961–2006]. Писатель, филолог, историк, преподаватель. Изучал историю в Вильнюсском университете. Преподавал в каунасском университете Витовта Великого, читал курсы истории религии, литовской мифологии. Доктор гуманитарных наук. Лауреат литературных премий, премии Министерства культуры Литвы [2001] и Президента Литвы [2002].

Автор 12-ти словарей и учебников по истории религии и литовской мифологии, сборников эссе: *На лезвии времен* [*Ant laiko ašmenų*, 2002], *Солнышко волчат* [*Vilkų saulutė*, 2003], *Сбежавшее поместье* [*Pabėgęs dvaras*, 2003], романа *Парузия* [*Paruzija*, 2005], литературных сказок. На русском языке вышли книги для детей *Волчок, Юла и Медный Веприь* [2010] и *Семейство кауков* [2011].
Миниатюры публикуются по изданию *Сбежавшее поместье* [*Pabėgęs dvaras*. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005].

Юозас Эрлицкас
Juozas Erlickas
[р. 1953]. Поэт, прозаик, драматург. Учился в Вильнюсском университете, работал инструктором по охране природы, рабочим сцены, редактором. Лауреат Национальной премии в области культуры и искусства [1997].

Автор 15-ти сборников поэзии, юморесок, рецензий и пьес, в том числе *Бабуся из Парижа, или Соловей в Зарасай* [*Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose*, 1995], *History of Lithuania* [2000], *Троллейбусные новеллы; Путешествие в поезде* [*Troleibusinės novelės; Kelionė traukiniu*, 2008], *Выхожу из берегов* [*Išeinu iš krašto*, 2013] и др.
Юморески печатаются по изданию *Выхожу из берегов* [*Išeinu iš krašto*. Vilnius: Tyto Alba, 2013].

Переводчики

Георгий Исаакович Ефремов
[р. 1952]. Поэт, переводчик, прозаик, драматург, публицист. Лауреат премий журнала *Дружба народов*

Переводил стихи *Майрониса, Р. Киплинга, Юст. Марцинкявичюса, Д. Ийеша, М. Мартинайтиса, Ч. Милоша, А. Бярнотаса, К. К. Бачинского, Й. Стрелкунаса, М. Маркарян, С. Гяды, А. Мачадо, С. Йонаускаса, Б. Дилана, А. Марченаса и др.*, а также прозу *А. Бучиса, Ю. Кунчинаса, М. Ивашкявичюса*.

[1999], им. Ю. Балтрушайтиса [2006], им. св. Иеронима [2012].	В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи молодых турецких поэтов [1978, № 12].
Далия Эпштейн [Далия Эпштейнайте-Кыйв] Эссеист, переводчик с литовского.	В ее переводе печатались произведения литовских писателей-классиков [К. Борута, Шатриёс Рагана] и современных авторов [Ю. Кунчинаса, И. Мераса, В. Даутартаса и др.]. Автор эссе и статей по вопросам истории и культуры литовских евреев. В *ИЛ* публикуется впервые.
Татьяна Корнеева-Мацейнене Писательница, переводчик с литовского.	В ее переводе печатались произведения известного литовского философа и богослова Антанаса Мацейны: *Великий инквизитор, Драма Иова, Тайна беззакония, Агнец Божий, Бог и свобода*, а также — Л. Карсавина и др. В *ИЛ* публикуется впервые.
Томас Чепайтис [р. 1959]. Переводчик с литовского, английского, польского на русский и с русского, белорусского, английского на литовский язык.	В его переводах печатались романы и повести С. Т. Кондротаса, В. Креве, Д. Томаса, пьесы У. Сарояна и Т. Уайлдера, эссе Г. К. Честертона, Ю. Саснаускаса, стихи английских поэтов. В *ИЛ* публикуется впервые.
Тамара Николаевна Перунова [Ефремова] Переводчик с литовского.	В ее переводах опубликованы повесть М. Карчяускаса *Всё было свято* [1988], фрагменты мемуаров К. Прунскене *Янтарная леди* [1992], эссе *Литовский деревянный эпос* и главы романа *Мы жили* [2013] М. Мартинайтиса, *Via Baltica* Ю. Кунчинаса [2006]. В *ИЛ* публикуется впервые.
Анна Герасимова Поэт, рок-музыкант, переводчица с литовского и английского языков.	В ее переводе печатались романы Дж. Керуака *Бродяги Дхармы* и *Биг Сур*, биография Игги Попа, стихи Г. Радаускаса, Г. Патацкаса, А. А. Йонинаса. Составитель сборников Д. Хармса, Н. Введенского, К. Вагинова. В *ИЛ* публикуется впервые.
Владимир Аркадьевич Гандельсман [1948]. Поэт и переводчик. Лауреат премии *Московский счет* [2011].	Автор 17 книг стихов; многочисленных публикаций в журналах *Октябрь, Огонек, Знамя, Новый мир, Новая юность, Звезда, Урал, Волга* и др.; переводов из Шекспира [сонеты и *Макбет*], Л. Кэрролла, У. Стивенса, Дж. Меррилла, Р. Уилбера, И. Греннана, Э. Хекта, книги *Граненый воздух* Томаса Венцловы [2002] и др. В *ИЛ* были опубликованы его ответы на анкету *В поисках утраченной поэзии* [2005, № 1] и статья *Поэзия как религия. Рильке* [2006, № 2].
Александра Николаевна Василькова Переводчик с французского и литовского языков, искусствовед.	В ее переводе выходили романы *Дама в синем* и *Последний урок* Н. Шатле, *Маленький трактат о дурном поведении* К Барош, *Пьющий время* Ф. Делерма и его сборник рассказов *Загубленная сиеста*, сборник рассказов А. Пьейра де Мандьярга *Огонь под пеплом*, книги литовских авторов для детей и подростков и др. В *ИЛ* опублико-

ваны ее переводы рассказов *Неровное дыхание* Э. Брюн и *Моя мама* Д. Жанен [2012, № 7].

Ольга Лемперт
Переводчик с иврита, английского и литовского языков.

В ее переводе на литовский с иврита опубликован сборник рассказов Э. Керета, в переводе с английского на литовский (в соавторстве) — графический роман А. Шпигельмана *Маус*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языков. Обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2009].

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы из книги *Западный канон* Х. Блума [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12], английские эссе *Национальные предрассудки* [2007, № 8], повесть *Горькая правда* [2009, № 4] и главы из книги *Автора на сцену!* [2011, № 1] Д. Лоджа, фрагмент книги Г. К Честертона *Джордж Бернард Шоу* [2010, № 8], миниатюра *О сиротах* М. Этвуд [2011, № 5], роман А. Беннетта *Голы и босы* [2012, № 4], фрагменты книг *Свобода Шекспира* С. Гринблатта и *Последние пьесы Шекспира* Л. Стрэчи [2014, № 5] и др.

Николай Всеволодович Котрелев
[р. 1941]. — историк русской и итальянской литератур, переводит с итальянского и португальского языков. Лауреат премии имени Александра Веселовского Президиума РАН [за подготовку книги *Вяч. Иванов, И. М. Гревс. История и поэзия*].

Автор работ по истории русской культуры конца XIX — начала XX вв. [Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, А. Блок, А. Белый и др.]. В *ИЛ* опубликовано послесловие к переводу Н. Кончаловской повести Жозефа д'Арбо *Чудище из Ваккареса* [1976, № 6] и статья *Русские символисты по-итальянски* [1991, № 8].

Анна Глухова
Переводчик с литовского.

В ее переводе в журнале *Дружба народов* были напечатаны романы У. Радзявичюте *Strekaza* [2005, № 12] и *Франкбург* [2012, № 7]. В *ИЛ* публикуется впервые.

[4] 2015

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР
“МОСКВА — БЕРЛИН: ИСТОРИЯ ПО ПАМЯТИ”

В оформлении обложки использован фрагмент картины художника С. Эйдригявичюса [р. 1949] *Братья литовцы* [1990] из коллекции Центра современного искусства, Вильнюс.

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. “Третьяковская”, “Новокузнецкая”);
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске “Экспресс-хроника” (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске “Лингвистика” (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине “Фаланстер” (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине “В переплете” (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 26.2.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 8086.
Тираж 3200 экз.

Отпечатано в ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

а в Москве мы видим на афишах литовские фамилии режиссеров – одни из них, как Гинкас, Някрошюс, Туминас или Коршуновас, были режиссерами и в Литве, другие – как Карбаускис, стали ими в Москве. Литовская литература начала распространяться в мире вне зависимости от того, где живет автор: имя драматурга Марюса Ивашкявичюса стало широко известно за пределами Литвы, которую он не покидает; известный поэт и публицист Томас Венцлова, эмигрировавший из Советской Литвы в 1977 году, пишет стихи и в США, и в Польше, и в Литве, и в Черногории, и эмигрантом себя давно не считает; литовка Рута Шяпятис вообще не знает литовского и прославилась книгой на английском. Но все-таки чаще всего литовских писателей знает только своя небольшая аудитория, хотя пишут они о проблемах общечеловеческих, знакомых любому.

Осмысление опыта рассеяния и воссоединения уже принесло плоды, которые не созрели бы раньше. Только в сегодняшней Литве могли возникнуть пьеса о литовском мистификаторе, который едет за Адамом Мицкевичем в Париж, вызывая недоумение у Оноре Бальзака и Жорж Санд, или рассказ о том, как два "ветерана", в свое время боровшихся с "лесными братьями", ищут денег на выпивку в День святого Станислава, или эссе вильнюсского францисканца о вине литовцев перед евреями. И только сейчас могут стоять рядом на книжной полке дневники "лесного брата" Ленгинаса Балюкявичюса по кличке Дзукас, поэта-эмигранта Альфонсаса Ники-Нилюнаса, советского литературоведа Витаутаса Кубилюса и роман-эссе Дали Стапонкуте, живущей на Кипре. Все это лишь малая часть литовской литературы – ее драматургии, малой прозы, поэзии и документалистики, – которую мы подбирали, стараясь держаться в рамках заданной темы. Надеемся, что и эта малая часть поможет приблизить и понять прошлое и настоящее Литвы.

Мы посвящаем номер памяти двух авторов – Ромуальдаса Гранаускаса, умершего в октябре 2014 года в Вильнюсе, и Альфонсаса Ника-Нилюнаса, умершего в январе 2015 года в Балтиморе (США).

Рута Мелинскайте, Мария Чепайтите,
составители номера

Благодарим за помощь в составлении номера отдел современной литературы Института литовской литературы и фольклора (Вильнюс), г-на Пранаса Моркуса и всех переводчиков номера.

Номер издан при поддержке Института культуры Литвы

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России, подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА" 2015 №3 1-288

ИНДЕКС 70394

9 770130 654770 15003